



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ПОДЪЁМ

Директор-главный редактор
государственного
учреждения культуры
«Журнал «Подъём»
Иван ЩЁЛОКОВ

ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ 1931 ГОДА

Редколлегия:

АКАТКИН В.М.
АРШАНСКИЙ В.С.
БОНДАРЕВ Ю.В.
ГОЛУБЕВ А.А.
ГОНЧАРОВ Ю.Д.
ГУСЕВ В.И.
ЖИХАРЕВ В.И.
ИВАНОВ Г.В.
ИСАЕВ Е.А.
ЛЮТЫЙ В.Д.
МОЛЧАНОВ В.Е.
НЕСТРУГИН А.Г.
НИКИТИН В.Н.
НОВИЧИХИН Е.Г.
ОБРАЗЦОВ И.Д.
ПОПОВ Г.А.
САТАРОВА Л.Г.
СЫЧЁВА Л.А.
ТИХОНОВ В.А.

Воронеж ■ 2011

9

ВОРОНЕЖУ 425 ЛЕТ	Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области. Во имя города, на благо людей 3
ПРОЗА	Иван БУНИН. Косцы. Антоновские яблоки. Рассказы .. 6 Андрей ПЛАТОНОВ. В прекрасном и яростном мире. Рассказы 19 Евгений ЛЮФАНОВ. Великое сидение. Глава из романа 42 Владимир КОРАБЛИНОВ. Зимний день. Рассказ 64 Гавриил ТРОПОЛЬСКИЙ. У Крутого яра. Рассказ .. 81 Юрий ГОНЧАРОВ. Война. Рассказ 106
ПОЭЗИЯ	Олег ШЕВЧЕНКО. Воронеж. Стихи 5 Иль у сокола крылья связаны... Стихи 33 Былинный страж. Стихи 132 Слова терпения и веры. Стихи 213
ИМЕНА ВОРОНЕЖА	Святитель МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ. Митрополит ЕВГЕНИЙ (БОЛХОВИТИНОВ) 29 Андрей КИСЕЛЁВ. Николай БАСОВ 77 Павел ЧЕРЕНКОВ. Виталий ВОРОТНИКОВ 102 Николай ТРОИЦКИЙ. Семен КОСБЕРГ 173 Вячеслав ОВЧИННИКОВ. Мария МОРДАСОВА 189 Александр КОНОПАТОВ. Константин ФЕОКТИСТОВ .. 209
ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСТОРИИ	Виктор ШАМРАЙ. Воронеж военный. (Очерк истории города: 1941—1945 гг.) 143 Валерий КОНОНОВ. Свидетели событий и имен ... 156
ИСТОКИ	Владимир ГЛАЗЬЕВ. Не хотел «сидеть в избе». (Основатель Воронежа воевода Семен Сабуров) .. 177 Александр АКИНЬШИН. «Обязываюсь долгом справедливости...». (Дмитрий Бегичев — губернатор и писатель) 182
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ	Николай ЗАДОНСКИЙ. Донские вечера. Этюды ... 193



Алексей Гордеев,
*губернатор
Воронежской области*

ВО ИМЯ ГОРОДА, НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Уважаемые читатели журнала «Подъём»!

Примите мои искренние поздравления с 425-летием города Воронежа.

Эта дата значима как для жителей нашей области, так и для всей страны. Не случайно Организационный комитет подготовки к юбилею возглавил заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Козак.

Намечая программу юбилейных мероприятий, мы стремились решить две главные задачи.

Во-первых, заявить о городе воинской славы Воронеже как о крупнейшем историческом, промышленном и культурном центре Центрального Черноземья России.

Это нам удалось.

Фестиваль «Старая, старая сказка», конкурс «Тэффи — регион», межрегиональная научно-практическая конференция по проблемам толерантности, Второй Всероссийский форум студентов «Мы — за здоровый образ жизни!» — дали возможность познакомиться с Воронежем многим жителям страны. Но, несомненно, главным событием года стал первый Международный Платоновский фестиваль. Его представляли великие имена музыкантов, известные в России, Европе и мире; полотна художников-мастеров из собрания Третьяковской галереи; широко известные театральные коллективы. В рамках фестиваля впервые была вручена Платоновская премия в области литературы и искусства, лауреатом которой стал известный российский писатель, постоянный автор журнала «Подъём» Борис Екимов. Все это, как драгоценное ожерелье, украсило наш Воронеж в год его 425-летия.

Одновременно решалась и вторая задача — с максимальной пользой для города использовать финансовые средства, выделенные Правительством РФ на юбилейные мероприятия. И хотя этим летом жителям Воронежа пришлось испытать ряд неудобств, я думаю, что, в конечном счете, все мы выиграли. Введен в эксплуатацию современный перинатальный Центр, реставрировано старое здание театра имени Кольцова, несколько снизилась транспортная напряженность на магистралях Воронежа, заиграли новыми красками фасады зданий, наполнились детскими голосами заброшенные некогда парки и скверы.

Работы в этом направлении будут продолжены и в этом, и в будущем году.

Еще раз поздравляю авторов, издателей и читателей журнала «Подъём» с юбилеем Воронежа, желаю вам всего самого доброго.

А еще я желаю, чтобы ко всем нам пришло понимание того, что юбилейный день рождения Воронежа должен стать не просто очередной вехой на пути из XVI века в будущее, а новой точкой отсчета социально-экономических преобразований области, повышения качества жизни людей.





Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) родился в Воронеже. Прозаик, поэт, переводчик, мемуарист. В 1920 году эмигрировал из России, жил в Париже и Грассе. Лауреат Пушкинской премии Российской академии наук в 1903 и 1909 годах, Нобелевской премии по литературе. Первая книга — сборник стихотворений — вышла в Орле в 1891 году. Похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа, близ Парижа.

Иван Бунин

КОСЦЫ

Рассказы

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее — и пели. Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки.

Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня... Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — Богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И бе-

резовой лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в поведке, в языке, — опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

— Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

— Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись:

— Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» — подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни.

Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно

только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполнили его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонухой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,
И, родимая, ах да прощай, сторонушка! —

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! —

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

Коль не любишь, не мил — бог с тобою,
Коли лучше найдешь — позабудешь!

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдешь — позабудешь,
Коли хуже найдешь — пожалеешь!

В чем еще было очарование этой песни, ее неизбежная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» — говорил человек — и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все птички приумолкли, все садились по местам!» Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная ночь с ее глушью обступает меня, — и все-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преис-

полненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитяtko!» — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба Яга, жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные тони болотные, носки летучие — и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие...

Еще одно, говоря я, было в этой песне — это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие — и невозвратимые. Ибо всему свой срок, — миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рысучие звери, разлетелись вещице птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению.

Париж, 1921

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого

мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-одноворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а понева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головой. — Переводятся теперь и такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чачоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад.

Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле, дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают

шумный такт колеса: гроыхая и стуча, несетя поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, гложнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мечанин. — Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, — первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лушь. Только и слышишь, бывало: «Да, — вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка, — явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыль-

це, согнувшись, трясая головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает. «О добре своем небось», — говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, — «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полшубки, наборная сбруя, меры, окованые медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем обедняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выгля-

дывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил фореитором, а теперь возит ее к обедне, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горlinkками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой.

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно свер-

кал между листвою, между ветвями, которые живую сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно от-

ветила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилося куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, — по зеленым, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадить вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднее и темнеет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле занает ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми эти образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то моленной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой моленной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже позимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие.

Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад изданием какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на просторном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестом-надесят столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятой); вы же приказываете мне превознести пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мрак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастнаго!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости молодых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами: Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства!.. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отраднo, когда замелькают огоньки

Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнувшей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синевя, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло илюдно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверь в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво дотягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахам озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахоженные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разматают ток, бегают с носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист по-

гонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

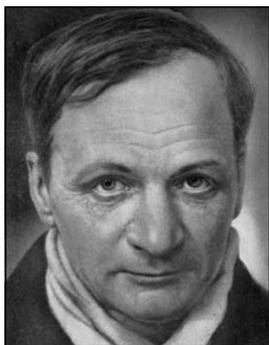
На сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял, —

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900





Андрей Платонович Платонов (1899—1951) родился в пригороде Воронежа Ямской слободе. Окончил в Воронеже электротехническое отделение железнодорожного техникума, в 1918-1919 гг. учился на историко-филологическом факультете Воронежского государственного университета. В 1922 году в Краснодаре вышел сборник стихов «Голубая глубина». В годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда». Автор многих рассказов, повестей «Котлован», «Ювенильное море», романов «Чевенгур», «Счастливая Москва», нескольких пьес.

Андрей Платонов

В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

Рассказы

МАТЬ

Мать вернулась в свой дом. Она скиталась, убежав от немцев, но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой. Она два раза прошла мимо немецких укреплений, потому что фронт здесь был неровный, а она шла прямой ближней дорогой. Она шла по полям, тоскующая, простоволосая, со смутным, точно ослепшим, лицом. Горе ее было великим и печаль неутолимой — мать потеряла всех своих детей.

Она была теперь столь слаба, что казалось — ее влечет вперед лишь ветер, уныло бредущий по дороге ей вослед. Ей было необходимо увидеть свой дом, где она прожила жизнь, и место, где в битве и казни скончались ее дети.

Старая мать вернулась домой. Но родное место ее теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно семейство, обмазанный глиной, выкрашенный желтой краской, с кирпичною печной трубой, давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже порастающие травой. И все соседние жилые места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг тихо и жутко, и видно далеко окрест по умолкнувшей земле.

Мать села посреди остывшего пожарища и стала перебирать руками прах своего жилища. К ней подошла соседка, Евдокия Петровна, молодая женщина, миловидная и полная прежде, а теперь ослабевшая и тихая. Двоих малолетних детей ее убило бомбой, когда она уходила с ними из города, а муж пропал без вести.

— Здравствуйте, Мария Васильевна, — произнесла Евдокия Петровна.

— Это ты, Дуня? — сказала ей Мария Васильевна. — Садись, давай с тобой разговор разговаривать.

Дуня села рядом.

— Твои-то все померли? — спросила Мария Васильевна.

— Все! — ответила Дуня. — И твои все?

— Все, никого нету, — сказала Мария Васильевна. — Двое-то моих сыновей здесь у посада легли. Они в рабочий батальон поступили, когда немцы из Петропавловки на Митрофановский тракт вышли... А дочка моя повела меня отсюда куда глаза глядят. А потом немцы и ее тоже убили, убили сверху, с аэроплана... А я вернулась.

— А что ж тебе делать-то! Я тоже так живу, — сказала Дуня. — Мои лежат, и твои легли... Я-то знаю, где лежат, — они там, куда всех сволокли и схоронили, я тут была, я-то глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников сосчитали, бумагу составили, своих отдельно положили, а наших прочь отволокли подальше. Потом наших всех раздели наголо и в бумагу весь прибыток от вещей записали.

— А могилу-то кто вырыл? — обеспокоилась Мария Васильевна. — Глубоко отрыли-то?

— Нет, какое там глубоко! — сообщила Дуня. — Яма от снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда дополна, а иным места не хватило. Тогда они танком проехали через могилу по мертвым, и еще туда положили, кто остался. Им копать желания нету, они силу свою берегут. А сверху забросали чуть-чуть землей.

— А моих-то тоже танком увечили или их сверху цельными положили? — спросила Мария Васильевна.

— Твоих-то? — отозвалась Дуня. — Да я того не углядела... Там, за посадом, у самой дороги все лежат, пойдешь — увидишь. Я им крест из двух веток связала и поставила.

Когда свечерело, Мария Васильевна поднялась, попрощалась с Дуней и пошла в сумрак, где лежали ее два сына.

Мария Васильевна вышла к посаду, что прилегал к городу. В посаде жили раньше в деревянных домиках садоводы и огородники; они кормились с угодий, прилегающих к их жилищам. Нынче тут ничего уже не осталось, и земля поверху спеклась от огня.

Из посада уходил в равнину Митрофановский тракт. По обочине тракта в прежнее время росли ветлы, теперь их война обглодала до самых пней, и скучна была сейчас безлюдная дорога, словно уже близко находился конец света.

Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек дрожащих ветвей. Мать села у этого креста; под ним лежали ее нагие дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками.

Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе, точно, выплакавшись, там открылись удивительные и добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, горестную и влекущую к себе.

— Были бы вы живы, — прошептала мать в землю, своим мертвым сыновьям, — были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали! А теперь, что ж, теперь вы умерли, — где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас? Матвею-то сколько ж было? Двадцать третий шел, а Василию двадцать восьмой. А дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый шел бы, вчера она именинница была...

Она потрогала могильную землю и прилегла к ней лицом. В земле было тихо, ничего не слышно.

— Спят, — прошептала мать, — никто и не пошевелится.

Мария Васильевна отняла лицо от земли: ей послышалось, что ее позвала дочь Наташа; она позвала ее, не промолвив слова, будто произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, желая увидеть, откуда зовет к ней дочь, откуда прозвучал ее кроткий голос — с тихого поля, из земной глубины или с высоты неба, с той ясной звезды. Где она сейчас, ее погибшая дочь, — или нет ее больше нигде, и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит воспоминанием в ее собственном сердце?

Потом мать задремала и уснула на могиле.

Полночная заря войны взошла вдалеке, и гул пушек раздался отсюда; там началась битва. Мария Васильевна проснулась и посмотрела в сторону огня на небе и прислушалась к частому дыханию пушек. «Это наши идут, — подумала она. — Пусть скорее приходят».

Мать снова припала к могильной мягкой земле, чтобы ближе быть к своим умолкшим сыновьям. И молчание их было осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запах их детского тела и цвет их живых глаз...

К полудню русские танки вышли на Митрофановскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и заправку.

Один красноармеец с танка отошел от машины и пошел походить по земле, над которой сейчас светило мирное солнце.

Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, прикинувшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание, а потом повернул тело женщины навзничь и для правильности приложился еще ухом к ее груди. «Ее сердце ушло», — понял красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой.

— Спи с миром, — сказал красноармеец на прощанье. — Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой.

1943

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОРОБЬЯ

(Сказочное происшествие)

Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину. Этот памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нем написаны стихи, и со всех четырех сторон к нему поднимаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням к самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, к дальним Никитским воротам, и трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из местного киоска, — и все они

умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипки музыкант клал на землю против памятника, он был закрыт, и в нем лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется.

Обыкновенно старик выходил играть под вечер, по первому сумраку. Для его музыки было полезней, чтоб в мире стало тише и темней. Беды от своей старости он не знал, потому что получал от государства пенсию и кормился достаточно. Но старик скучал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Там звуки его скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глубины человеческого сердца, трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей жить высшей, прекрасной жизнью. Некоторые слушатели музыки вынимали деньги, чтобы подарить их старику, но не знали, куда их положить: футляр от скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножии памятника, почти рядом с Пушкиным. Тогда люди клали гривенники и копейки на крышку футляра. Однако старик не хотел прикрывать свою нужду за счет искусства музыки; пряча скрипку обратно в футляр, он осыпал с него деньги на землю, не обращая внимания на их ценность. Уходил домой он поздно, иногда уже в полночь, когда народ становился редким, и лишь какой-нибудь случайный одинокий человек слушал его музыку. Но старик мог играть и для одного человека и доигрывал произведение до конца, пока слушатель не уходил, заплакав во тьме про себя. Может быть, у него было свое горе, встревоженное теперь песнью искусства, а может быть, ему стало совестно, что он живет неправильно, или просто он выпил вина...

В позднюю осень старик заметил, что на футляр, лежавший, как обычно, поодаль на земле, сел воробей. Музыкант удивился, что эта птичка еще не спит и даже в темноте вечера занята работой на свое пропитание. Правда, за день сейчас трудно накормиться: все деревья уже уснули на зиму, насекомые умерли, земля в городе гола и голодна, потому что лошади ходят редко и дворники враз убирают за ними навоз. Где, на самом деле, питаться в осень и в зиму воробью? Ведь и ветер в городе слаб и скуден меж домами, — он не держит воробья, когда тот простирает утомленные крылья, так что воробью приходится все время ими махать и трудиться.

Воробей, обследовав всю крышку футляра, ничего полезного на ней для себя не нашел. Тогда он пошевелил ножками денежные монеты, взял из них клювом самую мелкую бронзовую копейку и улетел с ней неизвестно куда. Значит, он недаром прилетал — хоть что-нибудь, а взял! Пусть живет и заботится, ему тоже надо существовать.

На другой вечер старый скрипач открыл футляр — на тот случай, что если прилетит вчерашний воробей, так он может покормиться мякотью хлеба, который лежал на дне футляра. Однако воробей не явился, наверно, он наелся где-нибудь в другом месте, а копейка ему не годилась никуда.

Старик все же терпеливо ожидал воробья, и на четвертые сутки он опять увидел его. Воробей без помехи сел на хлеб в футляре и по-деловому начал клевать готовую пищу. Музыкант сошел с памятника, приблизился к футляру и тихо рассмотрел небольшую птичку. Воробей был взлохмаченный, головастый, и многие перья его поседел; время от времени он бдительно поглядывал по сторонам, чтобы с точностью видеть врага и друга, и музыкант удивился его спокойным, разумным глазам.

Должно быть, этот воробей был очень стар или несчастен, потому что он успел уже нажать себе большой ум от горя, беды и долголетия.

Несколько дней воробей не появлялся на бульваре; тем временем выпал чистый снег и подморозило. Старик, перед тем как идти на бульвар, ежедневно крошил в футляр скрипки мягкий теплый хлеб. Стоя на высоте подножия памятника, играя нежную мелодию, старик постоянно следил взором за своим открытым футляром, за ближними дорожками и умершими кустами цветов на летней клумбе. Музыкант ожидал воробья и тосковал по нем: где он теперь сидит и согревается, что он ест на холодном снегу? Тихо и светло горели фонари вокруг памятника Пушкину, красивые чистые люди, освещенные электричеством и снегом, мягко проходили мимо памятника, удаляясь по своим важным и счастливым делам. Старик играл дальше, скрывая в себе жалкое чувство печали по небольшой усердной птичке, которая жила сейчас где-то и изнемогала.

Но прошло еще пять дней, а воробей все не прилетал гостить к памятнику Пушкину. Старый скрипач по-прежнему оставлял для него открытый футляр с крошеным хлебом, однако чувство музыканта уже затуманилось от ожидания, и он стал забывать воробья. Старик много пришлось забыть в своей жизни безвозвратно. И скрипач перестал крошить хлеб, он теперь лежал в футляре целым куском, и только крышку музыкант оставлял открытой.

* * *

В глубине зимы, близ полуночи, началась однажды поземка. Старик играл последней вещью «Зимнюю дорогу» Шуберта и собирался затем уходить на покой. В тот час из середины ветра и снега появился знакомый седой воробей. Он сел тонкими, ничтожными лапками на морозный снег; потом походил немного вокруг футляра, задуваемый по всему телу вихрями, но равнодушный к ним и безбоязненный, — и перелетел внутрь футляра. Там воробей начал клевать хлеб, почти зарывшись в его теплую мякоть. Он ел долго, наверно целых полчаса времени; уже метель почти полностью засыпала помещение футляра, а воробей все еще шевелился внутри снега, работая над своей пищей. Значит, он умел наедаться надолго. Старик подошел к футляру со скрипкой и смычком и долго ожидал среди вихря, когда воробей освободит футляр. Наконец воробей выбрался наружу, почистился в маленьком снежном сугробе, кратко проговорил что-то и убежал пешком к себе на ночлег, не захотев лететь по холодному ветру, чтобы не тратить напрасно свою силу.

На следующий вечер тот же воробей опять прибыл к памятнику Пушкину; он сразу же опустился в футляр и стал клевать готовый хлеб. Старик глядел на него с высоты подножия памятника, играл оттуда музыку на скрипке и чувствовал добро в своем сердце. В этот вечер погода стояла тихая, словно усталая после вчерашней едкой поземки. Наевшись, воробей высоко взлетел из футляра и пробормотал в воздухе небольшую песню...

Утром долго не светало. Проснувшись в своей комнате, музыкант-пенсиянер услышал пение вьюги за окном. Морозный, жесткий снег несся по переулку и застил дневной свет. На оконное стекло еще ночью, во тьме, легли замороженные леса и цветы неизвестной волшебной страны. Старик стал любоваться этой воодушевленной игрою природы, точно природа тоже томилась по лучшему счастью, подобно человеку и музыке.

Идти играть на Тверской бульвар сегодня уже не придется. Сегодня поет буря, и звуки скрипки будут слишком слабы. Все же старик под вечер оделся в пальто, обвязал себе голову и шею шалью, накрошил хлеба в карман и вышел наружу. С трудом, задыхаясь от затвердевшего холода и ветра, музыкант пошел по своему переулку к Тверскому бульвару. Безлюдно скрежетали обледенелые ветви деревьев на бульваре, и сам памятник уныло шелестел от трущегося по нем летящего снега. Старик хотел положить хлебные комки на ступеньку памятника, но увидел, что это бесполезно: буря тотчас же унесет хлеб, и снег засыплет его. Все равно музыкант оставил на ступени свой хлеб и видел, как он исчез в сумраке бури.

Вечером музыкант сидел дома один; он играл на своей скрипке, но некому было его слушать, и мелодия звучала плохо в пустоте комнаты, она трогала лишь одну-единственную душу скрипача, а этого было мало, или душа его стала бедной от старости лет. Он перестал играть. На улице шел поток урагана, — худо, наверно, теперь воробьям. Старик подошел к окну и послушал силу бури сквозь замороженное стекло. Неужели седой воробей и сейчас не побоится прилететь к памятнику Пушкину, чтобы поесть хлеба из футляра?

* * *

Седой воробей не испугался снежного урагана. Только он не полетел на Тверской бульвар, а пошел пешком, потому что внизу было немного тише и можно укрываться за местными сугробами снега и разными попутными предметами.

Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника Пушкину и даже порылся ножками в снегу, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Несколько раз он пытался взлететь с подветренной стороны на голые, обдутые ступени памятника, чтобы поглядеть, не принес ли туда ураган каких-нибудь крошек или старых зерен; их можно было бы поймать и проглотить. Однако буря сразу брала воробья, как только он отрывался от снега, и несла его прочь, пока он не ударялся о ствол дерева или трамвайную мачту, и тогда воробей поскорее падал и зарывался в снег, чтобы согреться и отдохнуть. Вскоре воробей перестал надеяться на пищу. Он разгреб поглубже ямку в снегу, сжался в ней и задремал: лишь бы ему не замерзнуть и не умереть, а буря когда-нибудь кончится. Все-таки спал воробей осторожно, чутко, следя во сне за действием урагана. Среди сна и ночи воробей заметил, что снежный бугор, в котором он спал, пополз вместе с ним, а затем весь снег вокруг него обвалился, рассеялся, и воробей остался один в урагане.

Воробья понесло вдаль, на большой пустой высоте. Здесь даже снега не было, а только голый чистый ветер, твердый от собственной сжатой силы. Воробей подумал, свернулся потеснее своим телом и заснул в этом урагане.

Выспавшись, он проснулся, но буря по-прежнему несла его. Воробей уже немного освоился жить в урагане, ему было даже легче сейчас существовать, потому что он не чувствовал тяжести своего тела и не нужно было ни ходить, ни летать, ни заботиться о чем-либо. Воробей огляделся в сумраке бури, — ему хотелось понять, какое сейчас время: день или ночь. Но увидеть свет или тьму сквозь сумрак он не сумел и опять съжился и уснул, стараясь сберечь тепло хотя бы внутри себя, а перья и кожа пусть остывают.

Когда воробей проснулся во второй раз, его все еще несла буря. Он стал теперь уже привыкать к ней, только его брала забота о пище. Холода воробей сейчас не чувствовал, зато тепла не было, — он лишь дрожал в этом сумраке и потоке пустого воздуха. Воробей снова сжался, стараясь не сознавать ничего, пока ураган не обойдется.

Проснулся воробей на земле, в чистой и теплой тишине. Он лежал на листьях большой зеленой травы. Неизвестные и невидимые птицы пели долгие, музыкальные песни, так что воробей удивился и послушал их некоторое время. Затем он убрал и почистил свои перья после вьюги и пошел кормиться.

Здесь, наверно, шло вечное лето, и пищи поэтому было много. Почти каждая трава имела на себе плоды. На стеблях меж листьями висели либо колосья с зернами, либо мягкие стручки с мелкими пряными лепешками, либо открыто росла крупная сытная ягода. Воробей клевал весь день, пока ему не стало стыдно и отвратительно, он опомнился и перестал есть, хотя мог бы покушать еще немного.

Проспав ночь на травяном стебле, воробей с утра опять начал питаться. Однако он съел теперь немного. Вчера от сильного голода он не заметил вкуса пищи, а сегодня почувствовал, что все плоды трав и кустарников были слишком сладкими либо, наоборот, горькими. Но зато в плодах содержалась большая питательность, в виде густого, почти опьяняющего жира, и воробей на второй же день слегка пополнел и залоснился. А ночью его стала мучить изжога, и тогда воробей затосковал по привычной кислоте простого черного хлеба; его мелкие кишки и желудок заскулили от ощущения теплой, темной мякоти в футляре музыканта у памятника Пушкину.

Вскоре воробей стал вовсе печальным на этой летней, мирной земле. Сладость и обилие пищи, свет воздуха и благоухание растений не привлекали его. Бродя в тени зарослей, воробей нигде не встретил ни знакомого, ни родственника: тут воробьи не жили. Местные, тучные птицы имели разноцветные, красивые перья; они обыкновенно высоко сидели на древесных ветвях и пели оттуда прекрасные песни, словно из их горла происходил свет. Ели эти птицы редко, потому что достаточно было склевать одну жирную ягоду в траве, чтобы насытиться на весь день и на всю ночь.

Воробей стал жить в одиночестве. Он постепенно облетал всю здешнюю страну, поднимаясь от земли чуть выше кустарника, и повсюду наблюдал густые рощи трав и цветов, толстые низкие деревья, поющих, гордых птиц и синее, безветренное небо. Даже дожди здесь шли только по ночам, когда все спали, чтобы ненастье не портило никому настроения.

Спустя время воробей нашел себе постоянное место для жизни. Это был берег ручья, покрытый мелкими камнями, где ничего не росло, где земля лежала более скудной и неудобной.

В береговой расщелине там еще жила одна змея, но у нее не было яда и зубов, она питалась тем, что глотала влажную почву, как червь, — и мелкие земляные животные оставались у нее внутри, а сжеванная земля исходила обратно прочь. Воробей подружился с этой змеей. Он часто являлся к ней и смотрел в ее темные, приветливые глаза, и змея тоже глядела на воробья. Затем воробей уходил, и ему становилось легче жить в одиночестве после свидания со змеей.

Вниз по течению ручья воробей увидел однажды довольно высокую, голую скалу. Он взлетел на нее и решил ночевать здесь, на возвышенном

камне, каждую ночь. Воробей надеялся, что когда-нибудь настанет буря и она сорвет его, спящего, с камня и унесет обратно домой, на Тверской бульвар. Первую ночь спать на прохладной скале было неудобно, однако на вторую ночь воробей уже привык и спал на камне, глубоко, как в гнезде, согреваемый надеждой на бурю.

* * *

Старый музыкант понял, что седой, знакомый воробей погиб навсегда в зимнем урагане. Снегопад, холодные дни и вьюги часто не позволяли старику выходить на Тверской бульвар для игры на скрипке.

В такие дни музыкант сидел дома, и его единственным утешением было смотреть на замороженное оконное стекло, где складывалась и разрушалась в тишине картина заросшей, волшебной страны, населенной, вероятно, одними поющими птицами. Старый человек не мог предположить, что его воробей живет сейчас в теплом, цветущем краю и спит по ночам на высоком камне, подставив себя под ветер... В феврале месяце музыкант купил себе в зоологическом магазине на Арбате маленькую черепаху. Он читал когда-то, что черепахи живут долго, а старик не хотел, чтобы то существо, к которому привыкнет его сердце, погибло раньше его. В старости душа не заживает, она долго мучается памятью, поэтому пусть черепаха переживет его смерть.

Живя вместе с черепахой, музыкант стал ходить к памятнику Пушкину совсем редко. Теперь он каждый вечер играл дома на скрипке, а черепаха медленно выходила на середину комнаты, вытягивала худую, длинную шею и слушала музыку. Она поворачивала голову немного в сторону от человека, точно для того, чтобы лучше было слышать, и один ее черный глаз с кротким выражением смотрел на музыканта. Черепаха, наверно, боялась, что старик перестанет играть и ей опять станет скучно жить одной на голом полу. Но музыкант играл для черепахи до поздней ночи, пока черепаха не клала свою маленькую голову на пол в усталости и во сне. Дождавшись, когда у черепахи закроются глаза морщинами век, старик прятал скрипку в футляр и сам тоже ложился на покой. Но музыкант спал худо. В теле его то постреливало где-нибудь, то щемило, то заходило сердце, и он часто вдруг просыпался в страхе, что умирает. Обыкновенно оказывалось, что он еще живой и за окном, в московском переулке, продолжалась спокойная ночь. В марте месяце, проснувшись от замирания сердца, старик услышал могучий ветер; стекло в окне оттаяло: ветер, наверно, дул с юга, с весенней стороны. И старый человек вспомнил про воробья и пожалел его, что он умер: скоро будет лето, на Тверском бульваре снова воскреснут деревья и воробей пожил бы еще на свете. А на зиму музыкант взял бы его к себе в комнату, воробей подружился бы с черепахой и свободно перенес зиму в тепле, как на пенсии... Старик опять уснул, успокоившись тем, что у него есть живая черепаха и этого достаточно.

Воробей тоже спал в эту ночь, хотя и летел в ураганном южном ветре. Он проснулся только на одно мгновение, когда удар урагана сорвал его с возвышенного камня, но, обрадовавшись, сейчас же уснул вновь, сжавшись потеплее своим телом. Проснулся воробей уже засветло; ветер нес его могучей силой в далекую сторону. Воробей не боялся полета и высоты; он пошевелился внутри урагана, как в тяжелом, вязком тесте, проговорил сам для себя кое-что и почувствовал, что хочет есть. Воробей огля-

делся с осторожностью и заметил вокруг себя посторонние предметы. Он их тщательно рассмотрел и узнал: то были отдельные тучные ягодки из теплой страны, зерна, стручки и целые колосья, а немного подалее от воробья летели даже целые кусты и древесные ветви. Значит, ветер взял с собою не одного его, воробья. Маленькое зерно мчалось совсем рядом с воробьем, но схватить его было трудно, благодаря тягости ветра: воробей несколько раз высовывал клюв, а достать зерна не мог, потому что клюв упирался в бурю, как в камень. Тогда воробей начал вращаться вокруг самого себя: он перевернулся ножками кверху, выпустил одно крыло, и ветер сразу снес его в сторону — сначала к близкому зерну, и воробей враз склевал его, а потом воробей пробрался и к более дальним ягодам и колосьям. Он накормил себя досыта и, кроме того, научился, как нужно передвигаться почти поперек бури. Покушав, воробей решил заснуть. Ему сейчас было хорошо: обильная пища летела рядом с ним, а холода или тепла среди урагана он не чувствовал. Воробей спал и просыпался, а проснувшись, опять ложился по ветру ножками кверху, чтобы дремать на покое. В промежутках меж одним сном и другим он сытно кормился из окружающего воздуха; иногда какая-либо ягода или стручок со сладкой начинкой вплотную прибивались к телу воробья, и тогда ему оставалось только склевать и проглотить эту пищу. Однако воробей побаивался, что ветер когда-нибудь перестанет дуть, а он уже привык жить в буре и обильно питаться из нее. Ему не хотелось больше добывать себе корм на бульварах постоянным хищничеством, зябнуть по зимам и бродить пешком по пустому асфальту, чтобы не тратить сил на полет против ветра. Он жалел только, что нет среди всего этого могучего ветра крошек кислого черного хлеба, — летит одна лишь сладость или горечь. К счастью для воробья, буря шла долго, и, просыпаясь, он снова чувствовал себя невесомым и пробовал напевать сам себе песню от удовлетворения жизнью.

* * *

В весенние вечера старый скрипач выходил играть к памятнику Пушкину почти ежедневно. Он брал с собою черепаху и ставил ее на лапки возле себя. Во все время музыки черепаха неподвижно слушала скрипку и в перерывы игры терпеливо ждала продолжения. Футляр от скрипки по-прежнему лежал на земле против памятника, но крышка футляра была теперь постоянно закрыта, потому что старик уже не ожидал к себе в гости седого воробья.

В один из погожих вечеров начался ветер со снегом. Музыкант спрятал черепаху за пазуху, сложил скрипку в футляр и пошел на квартиру. Дома он, по обыкновению, накормил черепаху, а затем поместил ее на покой в коробку с ватой. После того старик хотел взяться за чай, чтобы погреть желудок и продлить время вечера. Однако в примусе не оказалось керосина и бутылка тоже была пустая. Музыкант пошел покупать керосин на Бронную улицу. Ветер уже прекратился; падал слабый, влажный снег. На Бронной продажу керосина закрыли на переучет товара, поэтому старику пришлось идти к Никитским воротам.

Закупив керосин, скрипач направился обратно домой по свежему, тающему снегу. Два мальчика стояли в воротах старого жилого дома, и один из них сказал музыканту:

— Дядя, купи у нас птицу... Нам на кино не хватает!

Скрипач остановился.

— Давай, — сказал он. — А где вы ее взяли?

— Она сама с неба на камни упала, — ответил мальчик и подал птицу музыканту в двух сложенных горстях.

Птица, наверно, была мертвая. Старик положил ее в карман, уплатил мальчику двадцать копеек и пошел дальше.

Дома музыкант вынул птичку из кармана на свет. Седой воробей лежал у него в руке; глаза его были закрыты, ножки беспомощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху под ночную рубашку — к утру он либо отогреется, либо никогда более не проснется.

Напившись чаю, музыкант бережно лег спать на бок, не желая повредить воробья.

Вскоре старик задремал, но сразу же проснулся: воробей пошевелился у него под рубашкой и клевнул его в тело. «Живой! — подумал старый человек. — Значит, сердце его отошло от смерти!» — и он вынул воробья из теплоты под своею рубашкой.

Музыкант положил ожившую птичку на ночлег к черепахе. Она спала в коробке, — там лежала вата, там воробью будет мягко.

На рассвете старик окончательно проснулся и посмотрел, что делает воробей у черепахи.

Воробей лежал на вате тонкими ножками кверху, а черепаха, вытянув шею, смотрела на него добрыми, терпеливыми глазами. Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете.

Вечером старый музыкант не пошел на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из футляра и начал играть нежную, счастливую музыку. Черепаха вышла на середину комнаты и стала кротко слушать его одна. Но в музыке недоставало чего-то для полного утешения горюющего сердца старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал.





Святитель Митрофан (1623—1703) родился во Владимирской губернии. Первый Воронежский епископ, причислен к лику святых Русской Православной Церкви. На воронежской кафедре трудился в течение двадцати лет. За это время в епархии было построено около 50 новых храмов. Стремился к упорядочению монастырской жизни, вел борьбу с нравственным нестроением. Один из немногих священнослужителей, поддержавших деяния Петра I, оказывал существенную помощь в рождении российского флота.

**Святитель
Митрофан Воронежский**

**ПОКАЗЫВАЙТЕ
ПРИМЕР
ДОБРОЙ ЖИЗНИ**

Честные иереи Бога Вышнего, вожди словесного стада Христова! Вы должны иметь светлые очи ума, просвещенные светом разума, чтобы вести других по правому пути; по слову Господа, вы должны быть самим светом: вы есте свет мира (Мф. 5,14). Вы, пастыри, должны преподавать овцам словесным приготовленную манну слова Божия, подобно тому, как Ангелы приготовляли чувственную манну в пустыне. Вы, как ходоатаи, должны в молитвах ваших подражать Моисею и Павлу, которые с такою ревностю молились Богу за людеи своих! Моисей говорил Богу: и ныне, аще оставиши им грех их, остави: аще же ни, изгнани мя из книги Твоя, в нюже вписал еси (Исх. 32,32). Павел говорит: молил бых ся бо сам аз отлучен бытии от Христа по братии моеи, сродницех моих по плоти: иже суть иسرائите (Рим. 9,3). Так и вам подобает ревновать о спасении людеи Божиих. Добрые пастыри таковы, что готовы были души свои положить за овцы (Ин. 10-15). Так и вы устройте себя. Пасите еже в вас, стадо Божие, посещающе не нуждею, но волею, и по Бозе: ниже неправедными прибытки, но усердно (1 Пет. 5,2). Христос Спаситель, когда вручал святому апосто-

пу Петру пасение овец своих, трижды говорил ему: паси (Ин. 21,15-17). Это, очевидно, для того, что пастыри трояко пасут врученное им стадо: словом учения, молитвою и силою святых таинств, наконец образом жизни. Эти три пасения и вы усердно выполняйте: преподайте людем слово учения, показывайте на себе пример доброй жизни, усердно вознесите молитвы к Богу о врученной вам пастве, старайтесь преподавать им святые таинства, то есть просвещайте неверующих святым крещением, согрешихших после крещения старайтесь приводить к покаянию и исправлению жизни, достойных сподобляйте пречистых Таин Тела и Крови Христовых, заботьтесь о больных, особенно чтобы не отходили из этой жизни без святых Таин и не лишались последнего епосвящения. Вместе с Божественным Павлом засвидетельствую убо аз пред Богом и Господом Иисусом Христом, хотящим судити живым и мертвым в явлении Его и царствии Его: проповедуйте слово, настойте благовременнее и безвременне, обличайте, запрещайте, умоляйте со всяким долготерпением и учением (2 Тим. 4,1-2). И молю вы, братие, вразумляйте безчинных, утешайте малодушных, заступайте немощных, долготерпите ко сем: непрестанно молитесь. О всем благодарите: сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас (1 Сол. 5,14,17-18). Образ судите верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою (1 Тим. 4,12): ни едино ни в чем же дающее претыкание, да служение безпорочно будет: но во всем представляйте себе, яко Божия спуги (2 Кор. 6,3-4). Если все это соблюдете, то воистину являющуся Пастыреначальнику примите неувядаемый славы венец (1 Пет.5, 4). О! Если бы получить всем нам сию славу, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Которому подобает слава и держава со Отцем и Святым духом во веки веков! Благословение Господне на вас, благодатию Его, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

*Обращение святителя Митрофана
к священникам Воронежской епархии, 1682 год.*

Приходит праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, а на Воронеже соборный храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Пожалуй, Федор Иванович, к такому честному празднику и ради пришествия великого государя, прикажи помыслить свеженького осетрика да белужины свежей или хотя новосольной. А у нас на Воронеже взять и сомины негде.

*Из письма святителя Митрофана острогожскому полковнику
Федору Ивановичу Куколю.*





Митрополит Евгений (1767—1837), в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов, родился в Воронеже. Обучался в Воронежской духовной семинарии, выпускник Московской Духовной академии, ее вице-префект и заведующий библиотекой. Впоследствии протоиерей города Павловска Воронежской губернии, Новгородский викарий, митрополит Киевский и Галицкий. Церковный историк, археограф, археолог, библиограф, собиратель и исследователь русских древностей, «отец» воронежского краеведения. Автор многочисленных работ исторического, литературного и духовного содержания.

Митрополит Евгений (Болховитинов)

ДОСТОИН ЛЮБОПЫТСТВА РОССИЯН

Гораздо знаменитейшая эпоха города сего начинается со времени царствования государя, преобразователя России, Петра I...

...Сей мудрый и деятельнейший государь, приехавши в Воронеж в 1694 году и усмотрев, что река Воронеж по причине близкого своего втечения в Дон, впадающий в Азовское море, способна к судоходству, и что много было притом окопо Воронежа годных для кораблестроения лесов, взял случай к проекту, сообразному давним уже видам своим на завоевание Азова и всего Крыма; и на том конец решился завести в Воронеже корабельную верфь для Азовского моря. А как во всех предприятиях государь сей был скор и нетерпелив, то в том же году приспал он на Воронеж корабельных мастеров и плотников с потребными наставлениями и повелениями.

...Во время последнего пребывания великого монарха, то есть 1709 года, в Воронеже, Г. Голиков, ссылаясь на журнал барона Гизена, описывает состояние города Воронежа следующим образом: «Находись в сем городе сверх корабельных верфей питейный завод для питья пушек, мортир, якорей и всего ко флоту и артиллерии потребного; канатные и смольные дво-

ры, разные фабрики; на берегу реки Воронежа построена была Немецкая слобода, в которой поселены были разного рода мастеровые из немцев, голландцев, англичан и италянцев, а также морские офицеры, корабельные мастера, подмастерья, плотники и матросы; в нем две лютеранские церкви. В некотором от оной расстоянии находилось адмиралтейство, обнесенное крепостью; разные каменные магазины; в верфи машина для чистения рек, с помощью которой могли по реке Воронежу ходить самые большие корабли. Город украшен был сверху сего царским дворцом и домами князя Меньшикова, адмирала и многих знатных господ. При выезде монарха из Воронежа находилось там военных (кроме проведенных в Азов и другие приморские города) 12 кораблей от 40 до 80 пушек, и больше тысячи разного звания морских судов и проч.

...По описанию состояния города Воронежа в 1725 году явствует, что тогда город разделялся на три части: на верхнюю, нижнюю и на предместье. В первой на горе пребывание имел епископ Воронежский и Елецкий при соборе и нескольких церквях приходских. Во второй части, то есть по-над рекою Воронежем, внизу на набережной близ нынешней Успенской церкви находился построенный его величеством дворец, верфь корабельная, цейхгауз каменный о трех этажах, стоящий и доныне за рекою, судейные места и дома начальников, служителей адмиралтейских и разных художников. В третьей части города, называвшейся и тогда Акатовою, жили наипаче купцы, число которых было 1656, и отправляли знатную торговлю. Ярмарок в Воронеже тогда было две, одна в городе на десятую пятницу после Пасхи, а другая в пригородней слободе Чижовке в день усекновения головы Прегтечи. Предместие Акатово от города отстояло почти на полверсты. Ибо от нынешней Покровской церкви до Тихвино-Онуфриевской не было никакого селения, кроме только гумен по холмам с остатками древнего леса. Пригородные слободы, существовавшие и тогда, были: 1) Чижовка, 2) Гусиная слободка под Чижовскими горами, 3) Стрелецкий посек, 4) Чернавский балк или Балчуг и Беломестная, 5) Нищенская слободка около нынешнего Девичьего монастыря, 6) слобода Придача и 7) Клементьевка или Монастырщинка деревня; две последние за рекою Воронежем. Начальствующие в Воронеже тогда были: губернатор генерал-майор Петр Измайлов. Вице-губернаторская ваканция. Комендант бригадир Иван Стрешнев. Для суда и расправы нагворный суд, в коем президентом был означенный губернатор; вице-президент полковник Василий Стремоухов и 4 ассессора. Кроме того магистрат. Провинциал-фискал Петр Баскаков. В гарнизоне 5 полков: Коротоякский, Елецкий, Танбовский, Павловский и драгунский Воронежский. В них штаб — и обер-офицеров 128, унтер-офицеров, рядовых и неспущающих 7594. Все они расположены были содержанием на души Воронежской и Елецкой провинций и городов, приписанных к Пипецким железным заводам. Морских и адмиралтейских 2 офицера, 1 подмастерье и 2 мастеровых и канонера. Для охранения песов в губернии вальдмейстерская контора. Фабрика волосяная и кожевенная.

Непосредственно к Воронежскому ведомству принадлежали крепости: 1) Тавровская земляная, 2) Хоперская, 3) Павловская, 4) Траншамент на берегу Дона ниже Черкаска, что после переименован крепостью Св. Анны.

Из книги Е.А. Болховитинова «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии, собранное из истории, архивных записок и сказаний.



ИЛЬ У СОКОЛА КРЫЛЬЯ СВЯЗАНЫ...

Алексей Кольцов

ДУМА СОКОЛА

В.П. Боткину

Долго ль буду я
Сиднем дома жить,
Мою молодость
Ни за что губить?

Долго ль буду я
Под окном сидеть,
По дорожке вдаль
День и ночь глядеть?

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

Иль боится он
В чужих людях быть,
С судьбой-мачехой
Сам-собою жить?

Для чего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Иль зачем она,
Моя милая,

Здесь сидит со мной,
Слезы льет рекой;

От меня летит,
Песню мне поет,
Все рукой манит!
Все с собой зовет?

Нет, уж полно мне
Дома век сидеть,
По дорожке вдаль
День и ночь глядеть!

Со двора пойду,
Куда путь лежит,
А жить стану там,
Где уж бог велит!

15 января 1840 г.

РАЗЛУКА

На заре туманной юности
Всей душой любил я милую;
Был у ней в глазах небесный свет,
На лице горел любви огонь.

Что пред ней ты, утро майское,
Ты, дубрава-мать зеленая,
Степь-трава — парча шелковая,
Заря-вечер, ночь-волшебница!

Хороши вы — когда нет ее,
Когда с вами делишь грусть свою,
А при ней вас — хоть бы не было;
С ней зима — весна, ночь — ясный день!

Не забыть мне, как в последний раз
Я сказал ей: «Прости, милая!
Так, знать, бог велел — расстанемся,
Но когда-нибудь увидимся...»

Вмиг огнем лицо все вспыхнуло,
Белым снегом перекрылося, —
И, рыдая, как безумная,
На груди моей повиснула.

«Не ходи, постой! дай время мне
Задушить грусть, печаль выплакать,
На тебя, на ясна сокола...»
Занялся дух — слово замерло...

21 мая 1840 г.

Иван Никитин

ЮГ И СЕВЕР

Есть сторона, где все благоухает;
Где ночь, как день безоблачный, сияет
Над зыбью вод и моря вечный шум
Таинственно оковывает ум;
Где в сумраке садов уединенных,
Сияющей луной осеребренных,
Подъемлетя алмазною дугой
Фонтанный дождь над сочною травой;
Где статуи безмолвствуют угрюмо,
Объятые невыразимой думой;
Где говорят так много о былом
Развалины, покрытые плющом;
Где на коврах долины живописной
Ложится тень от рощи кипарисной,
Где все быстрее и зреет и цветет;
Где жизни пир беспечнее идет.

Но мне милей роскошной жизни Юга
Седой зимы полуночная вьюга,
Мороз, и ветер, и грозный шум лесов,
Дремучий бор по скату берегов,
Простор степей и небо над степями
С громадой туч и яркими звездами.
Глядишь кругом — все сердцу говорит:
И деревень однообразный вид,
И городов обширные картины,
И снежные безлюдные равнины,
И удали размашистый разгул,
И русский дух, и русской песни гул,
То глубоко беспечной, то унылой,
Проникнутой невыразимой силой...
Глядишь вокруг — и на душе легко,
И зреет мысль так вольно, широко,
И сладко песнь в честь родины поется,
И кровь кипит, и сердце гордо бьется,
И с радостью внимаешь звуку слов:
«Я Руси сын! здесь край моих отцов!»

1851

УТРО

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.
Потянул ветерок, воду морщит-рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылись.
Далеко-далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалаше пробудились,
Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут...
А восток все горит-разгорается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается.
Вот и солнце встает, из-за пашен блестит,
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки раки
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет;
По плечу молодцу все тяжелое...
Не боли ты, душа! отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!

16 ноября 1854 г., январь 1855 г.

Иван Бунин

ПОСЛЕДНЯЯ ГРОЗА

Не прохладой, не покоем,
А истомою и зноем
Ночь с горячих пашен веет:
Хлеб во мраке ночи зреет.

Обступают осторожно
Небо тучи, и тревожно,
Точно жар и бред недуга,
Набегает ветер с юга.
Шелестя и торопливо
Волны ветра ловит нива,
Страстным шепотом привета
Провожает их, — и мнится:
Ночь прощается тоскливо
С лаской пламенного лета,
Разметалась и томится...

Блеск зарниц ей точно снится.
Мрак растет над ней кошмаром,
И когда всю степь пожаром
Красный сполох озаряет, —
В поле чей-то призрак темный,
Величавый и огромный,
На мгновенье вырастает,

Чьи-то очи ярко блещут,
Содрогаясь от усилья,
И раскинутые крылья
За плечом его трепещут.

Как тот блеск ее пугает!
Точно в страхе пробегает
Знойный шелест по бурьяну...
Быть большому урагану!
Уж над этим смутным шумом
Все слышней, как за горою
Дальний гром ворчит порою,
Как в величии угрюмом.
Потрясая своды неба,
Он проходит тяжким гулом
Над шумящим морем хлеба...

Скоро бешеным разгулом
В поле ветер понесется.
Скоро гром смелее грянет,
Жутким блеском даль зажжется,
Ночь испуганно воспрянет,
Ночь порывисто очнется —
И обильными слезами
Вся тоска ее прольется!
А наутро над полями
Солнце грустно улыбнется —
Озарит их на прощанье,
И на нивы, на селенья
Ляжет кроткое смиренье
Тишины и увяданья.

1900

Андрей Платонов

СТРАННИК

В мире дороги далекие,
Поле и тихая мать,
Темные ночи глубокие,
Вместе мы, некого ждать.

Страннику в полночь откроешь,
Друг позабытый войдет —
Тайную думу не скроешь,
Странник увидит, поймет.

Небо высоко и тихо,
Звезды веками светлы.
В поле ни ветра, ни крика,
Ни одинокой ветлы.

Выйдем с последней звездой
Дедову правду искать...
Уходят века чередою,
А нам и травы не понять.

1920

СТЕПЬ

В слиянии неба с землею
Волнистая синяя цепь.
Мутнеет пред ней пеленою
Покойная ровная степь.

Бесшумные ветры грядую
Волну за волною катят,
Под ними пески чередою
Бегут — и по травам свистят.

Не дрогнет поблеклой листвою
Кустарник у склона холма —
С обдутой вверху чистотою,
Где ночью не держится тьма.

Скрывается с злобой глухою
В колючках шершавый зверок,
Он спинкой поводит сухою
И потом от страха обмок.

Уж вечер... И, будто сохою,
Гремит у телеги мужик...
Восток позадернулся мглою,
А запад — как пламенный крик.

Свежеет. Над тишь степною
В безветрии тлеет звезда,
И светится ею одною
Холодная неба вода.

1918—1919

Осип Мандельштам

ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа —

Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И, все-таки, земля — проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай:
Гниющей флейтой настораживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

1935

* * *

Я около Кольцова
Как сокол закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки,
И все идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки —
Как бы слепых везут.

1937

Анна Ахматова

ВОРОНЕЖ

О.М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.

А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны

Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,

Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликование наше

На брачном пире тысячи гостей.
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

1936

Анатолий Жигулин

ПОЛЕ БОЯ

О поле боя, поле боя!..
Воронеж. Мне двенадцать лет.
И солнце светится рябое
На змейках пулеметных лент.

Нам повезло невероятно.
Растаял снег, ушла зима.
Винтовочных и автоматных
Патронов всюду
Просто тьма.

Наверно, в тех кустах полынных
По комьям плачущей земли
Меж черных проволочек минных
Нас Божьи ангелы вели.

Там был один окоп оплывший,
И в нем, откинувшись назад,
Стоял, как памятник,
Застывший,
Погибший осенью солдат.

Худой, стриженный, белесый...
И прямо в середину лба
Осколком черного железа
Его отметила судьба.

Песок по брустверу ссыпался.
Былинки ежились, шурша.
Сжимали скрюченные пальцы
Чуть поржавевший ППШ...

Немая горечь той картины
Из детской памяти ушла,
Но, словно взрывом старой мины,
Сегодня сердце обожгла.

...Я вижу вновь перед собою,
Уже не в детстве — наяву,
То роковое поле боя,
Сухую ржавую траву.

Путем извилистым и длинным —
Уже который год подряд! —
Я вновь и вновь иду по минам
Моих печалей и утрат.

И понимается до боли,
До горьких дум в конце пути,
Что жизнь —
Она как это поле,
И надо поле перейти.

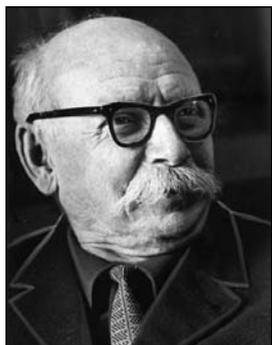
* * *

Воронеж!.. Родина. Любовь.
Все это здесь соединилось.
В мой краткий век,
Что так суров,
Я принимаю, словно милость,
Твоей листвы звенящий кров.

Согрей меня скупой лаской,
Загладь печальные следы.
И приведи на мост Чернавский,
К раскатам солнечной воды.

И как навязчивая морочь,
Как синих чаек дальний плач,
Растает вдруг пустая горечь
Московских бед и неудач.

И что ты там, судьба, городишь?!
Тебе вовек не сдамся я,
Пока на свете
Есть Воронеж —
Любовь и родина моя.



Евгений Дмитриевич Люфанов (1908—1989) родился в городе Моршанске Тамбовской губернии. Прозаик, драматург. Участник Великой Отечественной войны. В течение ряда лет руководил Воронежской писательской организацией. Автор более 15 книг, в том числе популярного исторического романа о петровском времени «Великое сидение».

Евгений Люфанов

ВЕЛИКОЕ СИДЕНИЕ

Глава из романа

**Книга первая
ЗЕМЛЯ ОТЦОВ
ГЛАВА ПЕРВАЯ**

I

Среди ночи неистово взъярились собаки. Старый огромный вислоухий кобель по былой кличке Полкан, а по теперешней — Юпитер, захлебываясь в неумном лае, от злости сигал на цепи взад-вперед, и мелкорослые шавки брехали с сердцем, люто скаля зубастые пасти.

Всполошился притихший в ночи многолюдный царицын двор. Засветились фонари, заколыхались огни по лестницам, клетям, брусным переходам; заскрипели двери покоев, бесчисленных боковушек, чуланчиков, — почуя нечто недоброе, отовсюду высовывался испуганный люд.

Ночь была темная, теплая, накрытая низко нависшими облаками; вторые петухи только-только пропели, — в такую пору спать бы да спать, а тут этот гость — неладный, нежданный, негаданный. До утра дожждаться не мог, среди ночи явился...

Шел он, поспешный петербургский гонец, а за ним, тоже поспешая, но страшась обогнать его, двигались старые верховые боярыни, комнатные бабы, мамки и

девки, иные — выпучив изумленные глаза, иные — не в силах справиться с одолевшей их трясовицей.

Разбуженная, раскосматившаяся со сна царица Прасковья при свете лампадки кое-как прибирала волосы, накручивая их жгутом; оторопевшей ногой совалась в неподатливую туфлю, обшитую куньим мехом, окликала дочерей:

— Катерина... Анна... Парашка!..

Царевны, Катерина и Анна, в исподних рубахах сидели на примятых постелях, до подбородка натягивая на себя одеяла, и хихикали по своей девичьей дурости. Мать кинула на них гневный взгляд, строго цыкнула. А младшенькая, царевна Парашенька, сразу и про боль позабыла, а то с самого вечера ныла-скулила, скорбя зубами. Слабая, золотушная, с обязанной теплой шалью щекой, зажалась она в подушки и, боясь рот раскрыть, сидела, притаившись как мышь и выкатив любопытные глаза.

Отвесив поясной поклон, осмелев коснуться обветренными сухими губами пухлой царицыной руки, весь по виду покорный, прибывший гонец вытянулся во фронт и громовым голосом объявил это самое, даже в дурном сне не снившееся никогда... Сбиться бы тебе с пути-дороги в какую-нибудь грозу-непогоду, постылый ты гость! Зачем пришел, зачем многолетний покой возмутил, разрушил сердцу приятную и привычную тишину. Зачем, зачем?..

Но не спросила царица Прасковья об этом гонца. Дослушала его молча, не ахнула и не охнула, а, слегка наклонив голову, дала понять, что уразумела услышанное, и отпустила его.

Едва угомонившиеся во дворе собаки снова злобно залаяли, загремели цепями, и когда чужой ночной человек, опасливо озираясь на страховидного кобеля, вышел вон со двора, великое смятение, людской вой и крик поднялся по всему царицыну подворью. Из пропахших деревянным маслом, мышами и пылью чуланчиков, тайничков и подклетей с истощенными, как по покойнику, воплями кинулись в царицыны покои придворные челядицы, обслонявали царицыны руки, причитая и плача, своим усердным стенанием наводя смутный страх на царицыну душу.

— Владычица милосердная, заступись! — взывали не то к озаренному лампадным сиянием старинному образу в изукрашенном дорогими камнями кивоте, не то к самой государыне.

Пришел легкий рассвет со звонким стрекотанием и щебетом безумных птиц, а новый этот день должно было теперь провести в душевном трепете и в безысходной печали.

— Охти...

Из всех щелей повыползли юродивые, нищие, странницы, дурки и дураки, плакальщицы и потешники, богомольцы и игрецы-домрачеи судить да рядить, дивиться негаданному.

На солнечном пригреве, на веревках сушилось вынутое из укладок, молью траченное царское добро. Пламенели огнецветные лисьи шубы, пестрели горностайкины хвостики на слежавшейся сряде упокойного царя Ивана. Дряхлый старик слуга в мухояровом полинялом кафтане выколачивал пыль из богатой одежды. Шел отбор — чему тут оставаться и что везти с собой.

В кузнице перетягивали ободья колес, подковывали лошадей, приготавливали в дальний путь застоявшиеся кареты. Словно в пруд, затянутый ряскою тишины, бросили камень, и пошли круги по воде, всколыхнули ее поднявшейся рябью, и теперь потеряян покой.

И прощай, Измайловское, исхоженные, приглядные глазу места.

И что будет теперь впереди? Томит истома раздумий натруженную голову царицы Прасковьи, томит. Жили-жили, сидели-сидели... И как это ехать в неведомый чужедальний край? И зачем это все?..

И себя-то жалко, а что с дочерьми там будет?.. Вон как Парашенька пригорюнилась. Говорит, что все зубки болят, а может, и не зубки одни, — может, вдобавку к ним и само дитячье сердечушко от печали заходится. Парашенька, утешеньице, ласковое, покорное дитятко... И Анна вон брови насупила, должно, тоже оторопь взяла, а у Катерины вовсе не от испуга губы дрожат, — опять ей не к месту и не ко времени посмеяться охота. Как была она вертопрашной, такой, видно, ей, разума не набравшись, и век коротать. Ну, чему, какой такой радости усмехается? Так бы за косу и дернула, да некогда рук от неотложных дел отнимать.

И что с собой брать, что тут в сундуках оставлять — ум за разум заходится.

— Охти-и...

II

Прощаясь с былой, привычной, хорошо сложившейся жизнью, окидывала царица Прасковья мысленным взором минувшее, вспоминала, какая доля ей в Москве выпала.

Покойный муж ее, царь Иван, был сложения хилого, слаб здоровьем, тускл очами, косноязычен, скорбен главой, к правлению неспособный, и прожил он недолгую свою жизнь получеловеком-полугосударем, разделяя в продолжение нескольких лет царский трон со своим младшим братом Петром. В Голландии им серебряный трон — на два сиденья — специально заказан был. А великая государыня царевна Софья сидела на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом, и в те дни на ней был венец, низанный жемчугом с алмазными запонами, шуба аксамитная, золотистая, опушенная соболями, а подле соболей все обложено кружевом. И при ней, государыне, стояли как небесные ангелы, четыре отрока-рынды, а по обеим сторонам — по две вдовы боярыни в убрусах и телогрейках да по две карлы-девицы в шубах на соболях. Да в той же палате при государыне царевне были комнатные ближние бояре, да еще по сторонам стояли бояре же — князь Василий Васильевич Голицын и Иван Михайлович Милославский. И бывало все это многоторжественно, в золоте да в серебре.

А царь Иван посидит-посидит на великом своем тронном месте, да вдруг и захнычет:

— Поить хочу.

Поведут его завтракать или обедать, смотря по времени, и захочет он, бывало, мосолик, добытый из щей, поглотать, а зубы вихляются у него. Лекарь говорил, что такая зубная слабость цингой прозывалась. Постоянно набухавшие веки слипались у Ивана-царя, застили ему взор, — пальцами нужно было их разнимать, а они снова потом смыкались. Так все дни свои он в полутьме и провел.

Сыновья царя Алексея Михайловича, Федор и Иван, имели в жилах своих дурную кровь. Федор, старший сын, став преемником царства после смерти отца, потомства своего не оставил. Таким же бесплодным привелось бы стать и Ивану, но в народной молве он свое отцовство сумел обозначить, хотя все это было так, да не так...

Можно ей, царице Прасковье, добрым и благодарным словом помя-

нуть опальную монастырскую затворницу, мятежную царевну Софью Алексеевну, ставшую во иночестве Сусанною и навсегда улегшуюся спать вековечным сном на погосте Новодевичьего монастыря.

Это в ту давнюю давность с ее легкого царственного слова свершилась такая потаенная явь, что царь Иван многодетством прославился.

— О-охти-и... Один бог без греха... Чего только в жизни не случается, не бывает...

А было, случилось так.

У царевны Софьи имелось немало сторонников, недовольных Петром, этим «вторым» царем, сидевшим на великом тронном сидении рядом с Иваном-царем. Не только одни стрельцы — на ее стороне были все, кто держался за старые обычаи и у кого мутило душу при виде «второго» царя, смолоду курившего поганую трубку да как на бесовском игрище пляшущего с бесстыжими немками и пьющего вместе с ними. Нешто это царь? Подобаает такое ему? Ведь он, уподобляясь простому смерду, готов не расставаться с мужицким плотницким топором. Такой царь весь державный род свой позорил. Да при случае еще и бахвалился: я-де царь, а с мозолями на руках и в стоптанных башмаках хожу!

Известно, каков у него по матери род, как в Смоленске Наталья Нарышкина в лаптях хаживала, вот и сынок ее по такому же простолюдству пошел.

Задумалась тогда правительница царевна Софья, как ей с царями-царятами быть, и сердечный друг Василий Васильевич Голицын надоумил ее, подсказал:

— Женить надо царя Ивана.

— Женить? — удивилась Софья. — Какой же из него будет муж?

— Про то узнаем потом, — ухмыльнулся Голицын, — а невесту ему надо выбрать такую, чтобы к супружеству вельми поспелой была. И ежели царь Иван оплошает, то шепнуть его молодухе, чтобы не высыхала, не томила себя, а...

— Васенька! — воскликнула Софья, сразу поняв его замысел. — Да какой же разумник ты!

И он вразумляюще продолжал:

— Опростается его молодуха чьим-нибудь сыном — вот и законный наследник престола. А царя Петра... — коротко задумался он и досказал со всей ясностью: — Коли еще живым уцелеет быть, то келейником его в монастырь. Ты же, за малолетством наследника, так и будешь правительницей.

— И правда, Васенька, хорошо будет. Всех недругов от Москвы отдадим, а то уж житья нам не стало от Борьки Голицына да от Левки Нарышкина. Брата Ивана ни во что ставят, покои его дровами завалили; меня называют девкою, будто я не царская дочь, — возмущалась Софья.

Дальше она сама все продумала. Как жених царь Иван, конечно, из рук вон плохой, но, приученный к послушанию, не станет вельным сестры противиться. Пускай к брачной жизни окажется неспособным, можно будет принудить невестку на тайную любовную связь с кем-нибудь, чтобы дите родила. И, понятно, чтоб мальчика. А когда появится у царя Ивана такой наследник, можно будет без промедления устранить Петра от престола. Мнился Софье образ византийской царевны Пульхерии, которая, взявши власть из слабых рук своего болезненного брата Феодосия, долго и достопадно управляла Византией. Вот так же и здесь, когда ос-

танется единственным царем немощный и слабоумный Иван, она, сестра его, станет российской Пульхерией.

Если же по прошествии скольких-то лет новоявленный царский наследник захочет сам властвовать именем венценосного своего отца, то можно будет доказать супружескую неверность царицы, заточить ее в монастырь, а наследника объявить незаконным. И опять тогда ей же, Софье, продолжать быть правительницей России.

Жених был на месте, да и за невестой далеко не ходить: стоило только клич подать, как знатнейшие бояре целый табун наилучших девиц пригнали. Ни один купец с таким рвением не расхваливал самый красивый товар, как честолюбивые родители своих дочерей. О каких царевых немощах печалиться да сокрушаться боярину, ежели его единокровная Парашка, либо Агашка, либо Малашка может царицей стать?.. Выбирай, государь, люблю.

Всех мастей собрали девиц — и белых, и чернявых, и которые с рыжиндой, строжайше наказав перед этим, чтобы ни одна из них ни румянами, ни белилами, ни чернью у глаз не была насурмленной, а явилась бы в подлинной своей натуралии, не то — мигом от ворот поворот, да еще следом и огласка пойдет, что поддельной красотой хотела царя прельстить, — вовек стыда-сраму не оберешься.

Сидя за большим общим столом и угощаясь сладостями, иные из явившихся на смотр девиц не только неприязненно, а и злобно косились на своих соперниц: ужель ту вон, чернявую, выберет государь? Или вон ту, белобрысую?.. Ух, какая завидная доля в руки дается и как бы ее ухватить?.. А другие сидели, как обомлевшие, в страхе, что выпадет такая судьба — хилого, косноязычного, малоумного мужа собой ублажать, — никакие царственные почести не манили, только бы подневольный смотр этот отбыть да домой скорей воротиться.

А потом, вечером, когда по отдельным покоям их развели, чтобы им спать-почивать, от каждой сон прочь бежал. Одна от страха ни жива ни мертва, чуть ли не бездыханной лежала; другая боялась на самом деле заснуть-задремать да мимо глаз и ушей пропустить, как станет ее оглядывать да слушивать царь: не брыкается ли во сне, не бормочет ли, не склонявится ли? — и от чрезмерного волнения дышала как запаленная лошадь; на третью отчаянная икота напала и ничем ее не унять; на четвертую... пятую... Можно со счета сбиться, сколько по опочивальням невест, и всех их надобно жениху-царю осмотреть, чтобы не ошибиться в выборе.

Царевна Софья сама водила его по опочивальням и никак не могла понять, какая бы невеста пришлась ему по душе, по сердцу, по нраву, а какую бы он отвергал. Похоже, что такое его безразличие было потому, что и лампы-то в опочивальнях слабо светились, и глаза-то у царя Ивана подслеповаты, и не понять ему было своей скорбной главой, зачем его водят тут и чего от него хотят.

Привела его Софья к одной невесте, к другой, никакого любопытства к девицам не проявил царь Иван. Подвела его к третьей, а в том теремном покое на мягкой постели, якобы в сладкой дреме, лежала девица Прасковья Салтыкова.

— Ну-ка, голубушка, поднимись, покажись, — тронула ее за плечо царевна Софья.

— Ой, никак заспалась я, — улыбочато, с легким смущением проговорила Прасковья, будто в самом деле только что очнулась от забытья, и послушно поднялась.

Рослая, стройная, полнотелая — кровь с молоком; темные волосы русыми косами ниспадали с округлых плеч на высокую грудь; заметила царевна Софья даже ямочки у нее на щеках, — милостива, хороша Праскуня Салтыкова и по годам в самой поре: двадцать лет ей сравнялось. Ну, а жениху — восемнадцать. Вот и пара они. Нечего долго раздумывать, по другим покоям ходить, время тратить, и царевна Софья от имени царя Ивана отдала Прасковье Федоровне Салтыковой платок и перстень — знак расположения жениха и сделанного им выбора.

Об отказе от такого замужества Прасковья и помыслить не могла. Этот брак сразу возвышал ее родителей и всех родичей из рядового, мало чем прославленного боярства, а у нее самой ажно дух захватывало от столь счастливой перемены судьбы, и губы сами собой восторженно шептали: «Царица... Царица... Великая государыня!..»

Все царедворцы по достоинству оценили выбор царя Ивана. Судить-рядить о каком-то воспитании Прасковьи Федоровны не приходилось, — главное, что она была родителями питана хорошо, что заботливо сумели они вскормить ее такой пышно-статной, с высокой грудью, приятным лицом и приветливым взором. Плохо ли, хорошо ли, а и грамотой малопомалу владела Прасковья, что являлось отменным дополнением к ее природному уму и способностям.

Выросла она, как и самые лучшие по богатству и знати боярышни, безоговорочно веря чудесам, вещунам, колдунам, неукоснительно соблюдая обряды, опасаясь дурных примет и радуясь приметам хорошим, и только одно оставалось необъяснимым и вызывало у нее недоумения: как это при всех способах самых вернейших гаданий ни одна ворожея не на-пророчила ей царицей быть?

Никакого трепета не вызывали у Прасковьи Федоровны напутственные слова венчавшего ее с царем Иваном патриарха Иоакима: «У мужа будь в послушании, покорно выноси гнев супруга, если он за какую-нибудь вину поучит тебя слегка жезлом; помятуй всегда, что он глава в доме и в царстве».

Знала Прасковья, в каком состоянии эта глава, насколько она могла думать, не говоря уж об управлении чем и кем-либо, и не страшилась, что он будет жезлом ее поучать.

Жили молодые венценосные супруги, по обычаю, в разных покоях дворца. Прасковья не видела и не знала, что поделывает у себя царь Иван, а он, наверно, и не помнил, что у него есть жена. Царица занималась своим женским делом: пересматривала полотна, скатерти, салфетки и другие изделия, доставляемые из слобод, работавших на дворец, по-хозяйски приглядывала за рукодельями мастериц, с утра до потемок сидевших в дворцовых светлицах за пядями да коклюшками. Случалось, что, скуки ради, присаживалась порукодельничать и сама, вышивая золотом и шелками какие-нибудь подарки, предназначенные в церкви и монастыри.

В годовые праздники или по случаю особых семейных событий бывали в царицыных покоях приемы, когда приезжали во дворец гости-родственники и ближние боярыни, учтиво справлялись о здоровье, желали дальнейшего благоденствия и, откланявшись, возвращались восвояси. Жизнь царицы Прасковьи ничем не отличалась от жизни вдовствующей царицы Марфы, схоронившей своего суженого, царя Федора, а Прасковья и при живом муже будто вдовой была.

Год, другой царевна Софья терпеливо ждала: вот-вот объявится, что царица Прасковья очреватела. Как ни болезнен, ни хил царь Иван, но все

же когда-нибудь либо сам к жене на ее дворцовую половину наведается, либо ее к себе призовет. Без этих, пусть хотя бы и редких, свиданий с супругой не проживет, потому как становится он все взрослей. Но миновала и третья, и четвертая годовщина их свадьбы, а царица Прасковья все бездетной ходила. И тогда Софья забеспокоилась: чего же она медлит? Выбрав время для задушевного разговора, посетовала на ее безотрадную жизнь, подсказав, как в утеху себе ребеночка понести. Прасковья совестливо зарделась от этих слов, а царевна Софья знай понукала ее, чтоб смелей была, и призналась со всей доверительностью, что у самой у нее так называемый талант, мил-дружочек есть, Василий Васильевич Голицын, и что без этого жизнь не в жизнь.

Будто бы и вполне откровенничала с ней царевна Софья, а кое о чем все же умалчивала. Несмотря на проявляемые ею, царевной-правительницей, знаки внимания к Василию Голицыну, а неудачный военный поход для добычи Крыма дорогим стал князю. Звезда его уже меркла. Царевна для своих плезиров завела новых талантов из певчих, поляков и черкес, также, как и сестры ее, царевны Катерина, Мария и Федосья, которые из певчих же избрали себе кавалеров. Известно еще было и то, что во время отбытия Василия Голицына с полками в Крым Федор Шакловитов в ночных плезирах оказался в конфиденции при царевне Софье и что Голицыну было от нее невозвратное падение, а содержан он за первого правителя лишь как бы для фигуры.

О том, кем являлись для царевны Софьи Василий Голицын и Федор Шакловитов, царица Прасковья давно уже доподлинно знала, а что касалось совета любезной золовки, то и без ее забот царица Прасковья догадывалась, как ей дальше быть, приглядываясь к постельничему Василию Юшкову — рослому, богатырского вида, чернющему и веселого нрава придворному.

После этого года времени не прошло, как стало известно, что царица Прасковья очреватела. Софья была очень довольна: наконец-то! Первая радостно поздравила немощного братца с предстоящим отцовством, и счастливым выказывал себя царь Иван. Негодовали только мать «второго» царя и ее близкие родственники, видя в беременности царицы Прасковьи хитроумные козни правительницы Софьи. Ее сторонники хотели женить Петра на княжне Трубецкой, но этого не допустили Нарышкины и Стрешневы, опасаясь, что через тот марьяж Голицын-князь с Трубецким и другими высокородными свойственниками всех других затеснят. Тихон Никитич Стрешнев стал искать невесту царю Петру из малого шляхетства и сыскал девицу из семейства Лопухиных, которые вели свой род от Василия Варфоломеевича Лаптева, прозвищем Лопух, потомка косоожского князя Редеди.

Зять Лопухиных князь Борис Иванович Куракин отзывался о невесте так:

— Она, Евдокия, лицом изрядна, токмо ума посреднего. Род же их, Лопухиных, — весьма знающий в приказных делах, или просто сказать — ябедники. Род многолюдный, мужского и женского полу более тридцати персон, и от всех они возненавидимы, люди злые, скупые, сплетники, умов самых низких.

Борис Куракин женат был на Ксении Лопухиной, сестре Евдокии, и Стрешневу думалось, что это он по своей злобе на тестя — так на всех Лопухиных наговаривает. Не каждому его слову верь.

Была у царицы Натальи Кирилловны надежда, что, женившись и

остепеневшись, ее Петруша почаще станет присаживаться на свой трон и вникать в умные речи ближних бояр.

— Женись, милый. Невеста — девица пригожая, из других выбирать не надо.

Петр согласился. Жениться так жениться, лишь бы женитьба не мешала ему продолжать заниматься потешными войсками да корабельными делами, и 27 января 1689 года в маленькой дворцовой церкви протопоп Меркурий обвенчал царя Петра с Евдокией Лопухиной. И в том же году, к огорчению царевны Софьи, но к радости Натальи Кирилловны жена царя Ивана царица Прасковья родила дочь. Благовест колоколов Успенского собора возвестил об этом Москву.

— Слава Богу, что не наследника родила, — благодарно крестилась Наталья Кирилловна.

С того времени и пошло: что ни год, то снова и снова принимал царь Иван поздравления с рождением очередной дочери. К полнейшему негодованию царевны Софьи, царица Прасковья родила пять дочерей. Но напрасно так уж Софья негодовала, сама она понимала, что была не права. Разве виновата роженица, что ей бог только дочерей посылал, не перемежая их сыновьями? На то его божья воля. Правда, случались и утраты: первые две дочки, Мария и Федосья, каждая только по годочку сумели прожить, а три остальные, Катерина, Анна и Прасковья, продолжали здравствовать.

Царь Иван был вполне доволен приращением семейства; довольствовался он и тем великим почетом, который оказывал ему брат Петр. Ни в какие государственные дела царь Иван не вмешивался, против брата козней не заводил, и Петр был внимателен к нему, к его супруге и дочкам, не оставлял их своей милостью и после скоропостижной смерти царя Ивана, внезапно наступившей его в тридцатилетнем возрасте.

Катерина хотя и старше на год была, но не помнила ничего в отличие от трехлетней Анны, на виду у которой происходила в те дни во дворце похоронная суматоха. Под унывный перезвон церковных колоколов мать, царица Прасковья, украдкой слюнула глаза, чтобы они были как бы заплаканные, и старалась как можно громче и протяжней вздыхать. Диковинное это событие, случившееся в покоях их тихого дворца, очень нравилось Анне. Нравилось играть тяжелыми золотыми кистями парчового покрова, свисавшего до самого пола, и она, Анна, садясь прямо на пол, подкидывала эти кисти вверх. И еще нравился запах кадильного дыма: уж она нюхала-нюхала и нанюхаться не могла пахучего ладанного духа и от приятности звонко взвизгивала.

А может, и не помнила ничего; рассказали, может, обо всем таком придворные бабки да мамки, и она уверилась, что было все именно так, — уже много времени тому минуло. И после того, провела Анна все свои годы в подмосковном селе Измайлово, где жила вместе с матерью и сестрами неотлучно. Зимой на санках каталась, снеговых баб лепила, дралась и водилась с придворными одногодками, настороженно и пугливо слушала, как долгими зимними вечерами в печных трубах завывают ветры, а за окнами беснуется на просторе пурга да морозы трещат.

Летом с девками по ягоды и грибы в Измайловский лес ходила; помнится, лису чуть-чуть не словили, а в малинике медведя видали. А может, и не медведя; может, забрел туда какой смерд, а им с девичьего перепуга невесть что показалось. Бывает и так ведь.

Бывало, на солнечном пригреве царица-мать посадит дочку Аннушку рядом с собой, начнет перебирать ее густые черные волосы — не завелось ли в них грешным делом чего — и ласково приговаривает:

— Кровинка ты моя... Безотцовная ты моя...

И всплакнет.

Айна тоже, бывало, поддержит вздох матери хотя и не столь тяжким, но все же глубоким вздохом своим, понимая, что жалеет мать ее, сиротинку, вспоминая покойного царя-батюшку, и прижмется щекой к материнской руке.

У царицы Прасковьи была причина огорченно вздыхать, потому как стала она все более и более примечать нерасторопность и невнимательность к ней прежде такого услужливого и скорого на догадки постельничего Василия Алексеевича Юшкова.

Глядя на Прасковьиных дочек, дотошные люди находили в них приметное сходство с ним. Особенно Анна — что арапка, чернявая-чернявая — похожа была на него. (А может, когда она еще в материнском чреве была, примстился при бремени царице Прасковье черняющий лик Васьки Юшкова и как бы запечатлелся на еще не рожденном дитяти. Случается, например, что с красным, родимым пятном ребенок родится, если мать пожара пугалась.) А вон младшенькая Парашка ни статью, ни обликом на сестер не походит: худенькая, белобрысенькая, слабосильная. Или скажут, что и Парашка не царской крови?.. Мало ли что пустобрехи говорят, — языки не порежешь им. Да и не про Парашку речь идет, а про Анну.

Скучных минут, когда приходилось бы в Измайлове ей, Анне, уныло вздыхать, было мало и скоро они проходили. Глядишь, девки гульбу на большом дворе заведут; в придворной зверильнице на травлю зверей можно весело посмотреть, как они друг дружку кусают да рвут; говорливые странницы прибредут из далеких мест, начнут сказывать про диковины, про чужую, неизвестную жизнь, — Анна и моргать позабудет, сидит, слушает. А то сказку кто-нибудь из них заведет:

— А послушайте, царица-матушка и царевны распрекрасные, сказ про то, как из некоего царства тридесятого государства заявился одного раза молодчик, разудалый прынец-красавец...

Уж эти прынцы, красавцы разудалые! Рано начала ими бредить Анна. То будто явится к ней во сне прибывший из заморских чужих стран в богобоязненное село Измайлово в парче да в золоте, разными перьями изукрашенный молодой царевич королевич, а взглянется Анна в него — и глазам своим от удивления не поверит. Что за притча такая! У заморского пришельца лик, как у молодого Измайловского конюха Никанора. А то еще увидит кого во сне из своих же дворовых, по-чудному одетых в иноземное дорогое платье, и проснется утром сама не своя. А когда ей исполнилось пятнадцать лет, поднялась она чуть ли не до полного роста, вырастила густую черную косу, надышала грудь, туго выпиравшую под рубашкой, и полюбились ей в мыльню ходить, где мать да прислужницы-мамки вслух любовались ее нагим естеством. Худо вот только, что оспа лицо ее покорявила — шадринки одна приметней другой. Но ежели белилами да румянами они зашпаключются — можно смело сказать, что вполне пригожа царевна Аннушка. Она и глазом нисколько не косит, как ее сестра Катерина, а у той к тому же и оспенные шадрины крупнее.

Теперь многое здешнее для них будет в прошлом, позади, не только во времени, но и в длинных немереных верстах. И пусть. И не может Анна

понять, почему уж так гореванится мать. По ее разумению выходит, сиди дожидайся тут неведомо чего, нюхай Измайловский дух деревенский, скоротай век с наседками да с телушками, обитающими на их царском подворье, — скажи, какой это приятный плезир!

Анна шла от Измайловской околицы. Не манил ее к себе дроздами закликавший лес.

— Кто тут?.. Кто тут?.. — издалека спрашивала кукушка.

В тихом шелесте листьев струился по деревьям ветер.

Останутся в Измайловском лесу птицы и песни их. Много птиц в лесу, много песен у них, да только все они опостытели. Щекотало самую душу не испытываемое прежде волнение от предстоящей дальней дороги, и не хотелось Анне возвращаться домой, где шло непрерывное голошенье.

III

Хотя на дворе и погожий теплый день, но зеленая муравленая печка с узорчатыми гзымзами была все же протоплена. То ли от какой простуды, то ли от волнений брал царицу Прасковью озноб, и она куталась в kindячную телогрейку. Из-под золотого кокошника ей на лоб свешивались жемчужные рясна и поднизи. Последние дни своего пребывания в Измайлове хотела она провести в подобающем ей торжественном царском величии. Жила здесь с дочерьми, окруженная бесчисленными слугами, в неизменном почете, в довольстве, а что будет дальше — одному богу ведомо.

Придворные толпились в сенях, на лестницах, переходах, ожидая выхода к ним царицы. Вздыхали и перешептывались, сделав короткую передышку после очередного недавнего плача и готовясь к новому плачу, более громогласному.

А царица была в божьей горнице, где неяркими капельными огоньками горели лампы. Сквозь завешенные коврами оконца с улицы не проникал ни один луч. В теплом застоявшемся воздухе растворялись запахи розного ладана и гуляфной водки. Пахло куреньями, которые клали в печку для ради благовоного духа.

Царица Прасковья здесь находилась одна, но и одной ей трудно было повернуться потому, что всю горницу загромаждали теперь коробья, сундуки, поставцы, шкафы, скрины, дубовые и ореховые укладки с пересушенными на солнце мехами, шелками да бархатами и белой казною — бельем. На сундуках, шкафах, и укладках — тяжелые большие замки. Здесь же, примыкая изголовьем к кивотам, изукрашенным драгоценным камнем и расцвеченным огоньками лампад, под пологом из пунцового алтабаса возвышалось перенесенное из опочивальни царицыно ложе. Многие богатства, хранимые прежде в других покоях, царица велела перенести сюда, к неприступному для шкодливых рук, самим богом и его угодникам охраняемому месту.

Лишний раз потрогала царица Прасковья замки, огляделась, протяжно вздохнула. В горнице нарочитая сутемнь и сутемнь на душе. Долго и испытующе смотрела на лики икон византийского строгого письма, с великим усердием творила молитвы и натрудила спину в глубоких поклонах, одолевая бога просьбами не оставить милостью и своей господней протекцией перед строгим царем-деверем в заочно постылом петербургском месте.

Потом тяжело поднялась с колен, открыла дверцы длинного в полсте-

ны поставца, в котором хранилась святость. Окинула молитвенным взглядом кресты и панагии, ставики с частицами нетленных мощей, коробки со смирной и ливаном. Радея о душе, о бранных телах в предстоящем долгом пути, на кончик лжицы серебряной взяла из вощанки капельку чудотворного меда, помазала себе по губам; пригубила застоявшуюся с крещения святую воду; легкое голубиное перо окунула в свинцовый сосуд, где хранилось освященное патриархом миро, и крестообразно осенила им свое чело; подержала в перстах щепотку песку иорданского, частички купины неопалимой и дуба мамврийского; капнула на язык капельку млека пречистой богородицы присной девы Марии; камень лазоревый — небеса, где Христос стоял на воздухе, подержала с минуту в руке; отерла лицо онучкой Пафнутия Боровского, зуб Антипия Великого приложила поочередно к одной и к другой щеке, — он от зубной скорби вельми исцеляет. И вспомнила: «Парашка-то маялась!.. Из ума вон совсем. Ах ты ж, простоволосая, неурядливая!..» — поругала себя.

Но как долго ни быть тут, а все же надобно уходить. И, еще раз окинув взглядом свою моленную горницу, переступила царица Прасковья порог, выходя из нее.

Приятно было ей опять и опять слышать и видеть людскую безутешную скорбь, а потом подошла минута — и фореиторы повели ее, царицу Прасковью, под руки и бережно помогли ей втиснуться в раскрытую дверцу кареты. Там ее уже дожидались Катерина, Анна и Парашка, чтобы ехать в кремлевский Успенский собор на молебен о ниспослании благополучия в дальнем пути.

И сама царица Прасковья, и Катерина с Парашкой усердно молились, а Анне наскучило поклоны класть, шепнула матери:

— Помираю как пить хочу. К тетеньке Марфе сбегаю, напьюсь у нее, — и словно сквозным ветром вынесло ее из собора.

Нахмурила было царица Прасковья брови на своевольницу, но почувствовала, что и сама жаждой томится, — среда, постный день, соленую рыбу ели, — кваску или водицы свеженькой хорошо бы испить. И не очень-то стала на нетерпеливую Анну гневаться, только покривила губы в усмешке: «Тетеньку обрела!..» А какая Марфа родня?! Случайно без году неделю посчастливилось ей царицей пробить, да тут же, похоже, и спохватился господь, что зазря наделил ее такой завидной судьбой, и укоротил ей царственный срок. После венчания с царем Федором только два месяца полновластной царицей значилась, да в те же семнадцать ее годов вдовкина участь к ней подоспела. Недолго поцарствовал Федор, скончавшийся на двадцать первом году от рождения. Может, как раз молодухажена и надорвала его слабосильную жизнь. Ей ведь что! Только бы он тешил ее, толстомясую.

Скончался царь Федор в 4 часа пополудни. Тремя унывными ударами в большей соборный колокол известили об этом событии московских градожителей. И не знала Марфа, как ей во вдовстве вести себя: то ли голосить по умершему, то ли, поджав губы, стойкость выдерживать? Подобаает ли ей, царице, как бабе простой, реветь?.. «Ох, грехи, грехи... Царство небесное упокойнику царю Федору Алексеевичу», — вздохнув, перекрестилась в его память царица Прасковья. Уже много лет тому миновало. И как раз тогда, близко к той поре, встала под брачный венец со своим убогим суженым, Иваном-царем, она, Прасковья Федоровна, и тоже потом овдовела. С годами пожухла ее былая свежесть и красота, но цар-

ственное величие сохранилось во всей осанке, не то что Марфуткина простоватость, у которой будто мимолетным сонным видением вся ее царственность промелькнула.

— Ох, грехи, грехи... — еще раз глубоко вздохнула царица Прасковья.

У палат царицы Марфы Анна увидела двоюродного братца царевича Алексея. Он стоял у крыльца, грыз волошские орехи и, слушая гул церковных колоколов, смотрел в замоскворецкую даль.

— Здравствуйте, братец, — подошла к нему Анна и похвалилась: — Мы в Петербург завтра едем.

Алексей недоуменно посмотрел на нее и осуждающе спросил:

— Вроде радуешься?

— А как же?! В Петербург ведь!

— Провалиться б ему в болотную трясинную топь на веки веков! — как зловещее заклинание, сквозь зубы проговорил Алексей. Он стиснул челюсти, разгрызая орех, и сморщился, заплевался: орех оказался горький, гнилой. Вытер ладонью губы и протянул Анне оставшиеся в горсти орехи. — На, грызи.

— Чать, Петербург-то столицей будет, — поддразнивая его, сказала Анна, и звонко шелкнул орех на ее зубах.

— Столицей... — скривил Алексей губы. — Да разве Москву с тем болотом сравнить?

— А мы все равно Москву редко видим. Только и приезжаем когда в Успенский собор. Как вот нынче.

— У вас и в Измайлове хорошо, — вздохнул Алексей.

— Ну уж... — оттопырила Анна губу, сдувая с нее приставшую скорлупу. — Мы вчерашним днем к Ромодановским, к тетеньке Анастасье ездили, так дяденька Федор Юрьевич говорил, какие антиресные потехи государь в Петербурге велел завести. Вроде как зверильницы, чтоб монстрам там быть. Дяденька Федор Юрьевич к ним туда шестипалого мужика об одном глазу отвезти велел. У нас в Измайлове для потехи всякие слепые, хромые, горбатые, а дяденька-государь хочет таких набрать, чтоб гораздо чуднее были.

У Алексея участилось дыхание, по лицу поползли красные пятна. Бегло оглядевшись, — не подслушает ли кто, — отчаянно осмелев, сдал он голос до злобного шепота, чтобы не сорваться на крик:

— Сам он — монстр, хоть и отец мне родной... Все люди как люди живут, цари как цари, а он... изо всех шутов шут, изо всех уродов урод. Самый первый монстр он. Монстр, монстр! — озлобленно повторял Алексей. — Новости все выдумывает, чтоб еще невиданней было...

Анна вобрала голову в плечи и, надув щеки, фыркнула и залилась не по-девичьи басистым смехом. А Алексей продолжал:

— Он, Аннушка, самодержец, всю Россию в кулак зажал, заставляет всех трепетать, а сам пауков да тараканов боится. Ты ему там, в Петербурге, невзначай когда-нибудь подпусти их, увидишь, как он задрожит.

— Ой, братец... Уморили... — смеялась, хохотала Анна.

— Написал мне, чтоб опять учиться ехал. Либо к немцам, либо к голландцам, — сообщал Алексей. — Помру я со скуки там. Москва постоянно снится мне будет... Аннушка! — схватил ее за руку. — Благодать-то какая у нас! А там ведь и колоколов не услышишь. Как подумаю об отъезде, так сердце заходится, — откровенничал с ней Алексей и вдруг спох-

ватился: крепко, до боли, — аж поморщилась Анна, — сжал ее руку и угрожающе предостерег: — Смотри, не сболтни когда, про что говорил. Я ведь все равно отопрюсь, а тебе лихо будет. — И пристально, испытующе посмотрел на нее. — Слышь?

— Слышу, — отвела она глаза в сторону.

— Смотри, говорю! — еще раз пригрозил он.

— Сумятиливый вы, братец, какой, — неодобрительно заметила Анна и стала подниматься по ступенькам крыльца.

Было с чего Алексею стать сумятиливым в этот день. Шепнула ему утром тетка царевна Мария, чтобы он пришел к царице Марфе, где уже не раз бывали их тайные встречи. Пришел он, и Марфа передала ему письмо от матери, опальной царицы Евдокии Федоровны, во иночестве Елены, по приказу мужа, царя Петра, насильно постриженной и заключенной в суздальский Покровский девичий монастырь. Держал Алексей в дрожащих от волнения пальцах листок с криво нацарапанными строчками знакомого почерка, и сумятило его душу. Мать писала ему:

«Царевич Алексей Петрович, здравствуй! А я, бедная, в печалях своих еле жива, что ты, мой батюшка, меня покинул, что в печалях таких оставил, что забыл рождение мое. А я за тобой ходила рабски. А ты меня скоро забыл. А я тебя ради по сие число жива. А если бы не ради тебя, то бы на свете не было меня в таких напастях и в бедах, и в нищете. Горькое, горькое мое житие! Лучше бы я на свет не родилась. Не ведаю, за что мучаюсь. А я же тебя не забыла, везде молюсь за здоровье твое пресвятой богородице, чтобы она сохранила тебя и во всякой бы чистоте соблюла... А ты, радость моя, чадо мое, имей страх божий в сердце своем. Отпиши, друг мой Олешенька, хоть едину строчку, утоли мое рыдание слезное, дай хоть мало мне отдохнуть от печали, помилуй мать свою и рабу, пожалуй, отпиши! Рабски тебе кланяюся».

Это письмо подливало масло в огонь. Все враждебнее относился Алексей к отцу, и в порыве накипавшей на него злобы за мать, за ненавистные преобразования, вводимые им в жизнь, покался однажды Алексей своему духовнику, протопопу Верхоспасского собора Якову Игнатьеву, что желает смерти отцу. «Бог тебя простит, — благосклонно положил духовник свою руку на голову Алексея. — Мы все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много... И не забывай, выюнош, невинную жертву отцава беззакония несчастную родительницу свою, и помни еще, что тебя любят в народе и молятся за тебя — надежду российскую».

Страшится отец, что шведский король на Москву пойдет. Из боязни этого велит город крепить, и ему, Алексею, приказал наблюдать за теми работами. А пускай бы швед и пришел! Не пауков с тараканами подпустить бы, а... Чтоб не проснулся и не встал никогда... Учинил бы кто-нибудь такое ему... Того же хочет и духовный отец... И пускай, пускай швед придет. Замириться с ним можно будет легко — отдать весь добытый чухонский край с морем и болотами. Не для чего на краю света России быть. С избытком и допрежнего своего государства.

После молебна Катерина с Парашкой тоже побежали к тетке Марфе, а сама царица Прасковья в сопровождении митрополита, викарного архиерея и других лиц священного чина направилась к собору Вознесенского девичьего монастыря, что стоял на Спасской улице — главной улице кремля. Тот монастырский собор служил усыпальницей великих княгинь и цариц, и чаялось царице Прасковье, что, когда придет к тому срок, и ее

место упокоения будет тоже под теми же плитами, под которыми в давние времена погребена основательница монастыря княгиня Евдокия — жена князя Дмитрия Донского, а последней из цариц — Наталья Кирилловна, мать царя Петра. Она была мачехой Ивану-царю, значит, и ей, Прасковье, приходилась родней. Вот бы, думалось, поблизости к ней и примоститься потом, после смертного часа, на свой собственный вековечный покой. Тут бы тебе и поклонение и поминовение, а ну как в заведомо постылом Петербурге придется руки сложить да и оказаться после того вчуже ото всех — вот она, беда из всех бед.

И митрополит, и викарный думали, что прошибала царицу Прасковью слеза в благоверную память о покойной государыне Наталье Кирилловне, а всплакнула Прасковья о самой себе, о своей посмертной судьбе.

Из Вознесенского собора прошла в собор Михаила Архангела, куда двенадцать лет тому назад принесен был ее супруг царь Иван и где в течение шести недель каждодневно десять царедворцев охраняли его, а потом похоронили убогого царя Ивана подле брата, тоже убогого царя Федора. В низком поясном поклоне склонилась перед их гробницами царица Прасковья, молитвенно прошептав Богу покоить помянутых царей со святыми в небесном их царстве.

Прощалась она с московским кремлем, и провожал ее перезвон церковных колоколов, словно на преждевременном отпеве: слезливо всхлипывали самые малые, тонкоголосые колокольцы; ныли, стонали другие, многопудовые, и покрывал все их подголоски и голоса своими гулкими вздохами самый большой колокол на Иване Великом, называемым Реутом.

Вот уж, поди, неисчислимо сколько небылиц на Руси наговорено было, когда его отливали, чтобы он зычным таким удался.

IV

Годы вдовства не приносили царице Прасковье печалей. Утвердившись в своем единовластии, царь Петр неизменно оказывал ей уважение и выполнял ее просьбы. Пожелала царица Прасковья после мужниной смерти покинуть кремль, и Петр отдал ей Измайловский дворец вместе с селом и со всеми прилегающими к поместью угодьями, а для управления тем обширным измайловским хозяйством и для удовлетворения других царицыных нужд закрепил за ней в ее постоянное и полное распоряжение расторопного Василия Алексеевича Юшкова, назвав его главным дворецким. К тому же Юшков не то чтобы воспитателем, а все же вроде как дядькой при малолетних царевнах стал значиться. Царица Прасковья обстоятельно рассудила: не надо ему в стороне от них быть. Вину минуту прижалееет их, по головке погладит, какой-нибудь сладостью угостит, — не чужой ведь им!

Благоволила к нему Прасковья Федоровна, одаривала за труды его, когда — деньгами, а когда — драгоценными камешками, питала с собой за одним столом.

Василий Юшков в помощь себе взял верного человека, определив его ключником, чтобы тот наблюдал за сохранностью и возвратом на свое место после стола серебряной, медной и оловянной посуды в случаях приезда каких гостей с их прислужниками; следил бы, чтобы челядь эта вела себя пристойно, и не очень-то церемонился, если следовало кого-нибудь из подозрительных обыскать. Ключник должен был также учитывать все расходы по хозяйству, заботиться, чтобы хлебники и повара были гоже

накормлены, а остатки кушаний с большого стола были бы отданы придворному люду.

Наступали новые времена. Теперь в воспитании молодых девиц требовался политес в обхождении и другие разные тонкости. И непременно учить надо было их. Из-за государственных непереводающихся дел царь Петр не мог приглядеть за обучением собственного сына, не имел он возможности вникать и в воспитание дорогих племянниц. Знал, что при них находится немец. — Ну и хорошо! И мать, царица Прасковья, тоже была довольна. Ан оказалось, что этого мало. Немец заявил, что для полного развития царевен необходим еще и француз, и царица Прасковья приказала нанять за триста рублей в год француза Стефана Рамбурха, чтобы он всех трех царевен французскому языку, танцевальному искусству и изрядному обхождению обучал.

Пять лет бился с ними француз, но науки плохо прививались царевнам. Французской грамотой ни одна из них не владела настолько, чтобы могла писать, да и изъяснялись они на чужом языке весьма плохо. Катерину одолевал неумный смех, когда требовалось французское слово произносить как бы в нос. А за Катериной фыркала Анна и смешливо повизгивала Парашка. Зачастую урок в этом смехе и проходил. Что же касалось танцев, то к ним царевны оказались положительно неспособными, а в особенности младшая царевна, слабая и болезненная: то у нее в ухе стреляло, то зубы болели, а то золотушный чирей на шее вскакивал. Анна — тяжела и неповоротлива; подвижнее была Катерина, но ей слух изменял, музыкального ритма не могла уловить.

В Измайловском дворце покои были со сводами и толстыми железными решетками на окнах. В этих покоях размещались десятки челядинцев, составлявших двор и свиту царицы. К дворцу примыкали кладовые, поварни, медоварни и винные погреба, а на южной стороне дворца надстроены были брусчатые хоромы — жилье самой царицы с царевнами и самыми приближенными боярынями. С утра до вечера дворец оглашался разноголосым пением всевозможных птиц, а когда, ближе к сумеркам, птицы умолкали, то слышалось заунывное пение нищих богомольцев или выкрики дураков и дураков, забавлявших царицу и верховых приживалок, ходивших в платьях смиренного темного цвета, в отличие от шутов и шутих, карлов и карлиц, разряженных в яркие и пестрые одеяния. На утеху царице Прасковье во дворце проживали также арапы, арапки, маленькие калмычки, горбуны, хромые, кривые калеки и едва передвигавшиеся уродцы. Наскучив забавляться ими, царица Прасковья иногда отводила душу за картами, а в послеобеденный час любила подремывать на домовых качелях с обшитыми атласом веревками и ватным сиденьем со спинкой, обтянутыми малиновым бархатом.

Множество разнообразных примет, вера в сон и чох, во всевозможные заклинания наполняли дни постоянных и кратковременных поселенцев дворца, его жизнь, предводительствуемую сухоруким Измайловским вешуном и провидцем с бельмом на глазу — Тимофеем Архипычем, считаемым чуть ли не за святого самой царицей Прасковьей.

Ну, а когда случалось, что в Измайлово к царице-невестке жаловал в гости деверь-царь Петр Алексеевич, то всю дворцовую челядь шутов и шутих, дураков и дураков словно ветром сдувало.

Как тараканы — в потаенные щели, забивались они в клетки да подклеты, под лестницы да под переходы, а то и убегая прочь со двора, страшась показаться неласковому к ним царю.

Измайлово было прежде поместьем тишайшего царя Алексея Михайловича. Каменный пятиглавый собор со слюдяными оконцами стоял на холме у дворца, являя собой как бы знак благочестия царя Алексея. Но о соборной колокольне, служившей и смотровой башней, шла недобрая слава. В средней палате той башни чинились суд и расправа над непокорными, и неподалеку от колокольни стояла виселица, на которой редко один, а то два и три осужденных удавленника друг перед дружкой покачивались.

Во дворце были покои для самого царя, для царицы, больших и малых царевичей и царевен, — у тишайшего родителя было четырнадцать человек детей. В тех покоях, сложенных из свежеструганных сосновых бревен, многие годы не выветривался стойкий смолистый дух. По всем внутренним лестницам, ходам и переходам тянулись перила с точеными балясинами, чтобы было за что вовремя ухватиться, не споткнуться и не упасть. Над крылечками — шатровые верхи, покрытые тесом «по чешуйчатому обиванию».

По приказу царя для пашен и сенокосных угодий окрест было сведено несколько сот десятин леса, и на полях в кругозоре одна от другой поставлены смотровые вышки для наблюдения за работающими крестьянами, которых в страдную пору нагоняли близко к тысяче человек. Царскому хозяйству надлежало быть в образцовом порядке, о чем усердствовали надсмотрщики, устрашая рабочих людей нещадным боем, застенком да колодками, а попутно донимали их нескончаемыми поборами для ради своей наживы. Всем окрестным крестьянам, работавшим на царя, беспрестанно приходилось быть в бедствии и унынии, а измайловским — того пуще. Жизнь на виду у царя требовала от них, несмотря на тяжелые работы и строгие взыскания, быть всегда улыбочатыми, дабы не смущать царских глаз смурным видом. Следовало и самим крестьянам, и их избам выглядеть нарядными и пригожими; когда захочется царю и его семейству, водили бы девки и парни перед дворцом хороводы и умильные пели песни. Да, гляди, не вой, а пой! За худое веселие — батоги. Тяжкий труд, поборы и всевозможные притеснения для многих измайловских крестьян выходили «из сносности человеческой» и заставляли искать спасения в бегах, потому как близко царя — близко смерти.

Наезжал царь-государь и в другие подмосковные села: Коломенское, Голенищцево, Всевидово, Воробьево, Покровское, — ездил туда с ночевками, нередко всем семейством, с боярами и всегда с бесчисленными прислужниками. Впереди двигался постельный возок, сопровождаемый постельничим, дворецким и стряпчим, за ним — триста дворцовых жильцов на нарядно украшенных лошадях, по три в ряд; за ними — триста конных стрельцов, по пяти в ряд; за стрельцами — пятьсот рейтаров в штанах с лампасами и кожаной обшивкой; за ними — двенадцать стрелков с долгими пищалями; за стрелками — конюшенного приказа дьяк, а за ним — государевы седла: жеребцы — аргамаки и иноходцы — в большом наряде, с цепями гремячими и подводными, седла на них под цветными коврами. Перед самим царем у кареты — боярин; подле кареты по правую руку — окольничий. Ехал царь в английской карете шестериком, кони в золоченой сбруе и с перьями. На ином иноходце попона аксамитная, начелки, нагривки и нахвостник расшиты шелками да многоцветным бисером. А на возницах — бархатные кафтаны и собольи шапки. Вместе с царем в его карете — четверо самых приближенных родовитых бояр. Царевичи — в изукрашенной карете-избушке, тоже запряженной шесте-

риком, а с ними — дядьки и окольных. А по бокам избушки — стрельцы, а за ними — стольники, спальники и другие служилые люди. За царевичами ехала царица в карете, запряженной двенадцатью лошадьми, в окружении боярын-мамок, за царицей — большие и малые царевны, а за ними — казначеи, постельницы и кормилицы, — всего карет близко к сотне. Главной целью загородных поездок царя была любимая им потеха — охота. Охотился он на птицу, но жаловал и на медведя ходить.

Не дай-то бог, если случалось, что царскому неоглядному обозу кошка, заяц, заблудший монах либо поп попадались навстречу или дорогу перебегаля, — не миновать неудаче и даже несчастью быть, в пору хоть назад вертаться, и тогда мигом слетало с царя все его тишайшее благодущие.

Для царской потехи и в самом Измайлове был большой зверинец. Царь и его приближенные любили тешиться травлей медведя собаками или борьбой с ними охотника, вооруженного только рогатиной.

Вместе с сельским стадом на Измайловском лугу паслись прирученные лосихи; в загонах были олени, вепри, дикобразы, ослы. На птичьем дворе ходили фазаны и пышнохвостые павлины, забиравшиеся летом спать на деревья. На протекавших в обширных царских поместьях речках было устроено много запруд и поставлены водяные мельницы, а в водоемах плавали лебеди, китайские гуси и утки; в прудах разводилась рыба, и был специальный пруд, из которого добывали для лечебных целей пиявок.

Недалеко от села Стромьнь было место, называемое «Собачья мельница». Там для царя Алексея Михайловича выстроен деревянный Преображенский дворец, в котором царь иногда тоже проживал в летнюю пору. Приманивала его охота в соседнем лесу на зайцев и лис. Особенно любил царь охоту соколиную, и дрессировщики соколов — сокольники — жили тут же, на лесной опушке.

Но как ни потешна, ни увеселительна была охота, а все же и утомляла она царя. Приятно было ему возвратиться в то же Измайлово, где с устатка хорошо поспать и поесть, а для проминки ног постоять всенощную или обедню в соборе и, после усердной молитвы, принимать у себя гостей, угощая их до отвала и до полнейшего опьянения.

Царская жизнь была сытной. Всегда имелись в изобилии мясные, мучные, крупяные и другие припасы, доставляемые из ближних и дальних вотчин. А понадобятся, к примеру, орехи — за год четвертей двести их расходуется, — стряпчие хлебного двора отправляются в Тулу, Калугу, Кашин, чтобы по торгам и малым торжкам сделать необходимые закупки. И скачут к воеводам юнцы с грамотами-указами, чтобы целовальники готовили амбары для приема орехов и дальнейшей их переправы в Москву. В Можайске и в Вязьме у посадских и иных обитателей, владевших садами и ягодниками, покупался ягодный и фруктовый припас, а в Астрахани были свои виноградники, и там выделялись на царский обиход винные пития.

Незадолго до своей смерти, словно бы чуя остатние дни пребывания на земле, царь Алексей Михайлович стал особо часто в потешных хоромах устраивать веселые вечера, на которые сзывались приближенные бояре, думные дьяки и иноземные посланники. На столах было обилие блюд с изысканными кушаньями и множество вин. Хозяин-царь и его гости наедались до тяжелой одышки и развлекались музыкальными увеселениями: немчин на органе играл, другие играцы в сурну дули да в литавры

били, а то — устраивали гости состязания в силе и ловкости, но, будучи обремененными после великой сытности и опьяненные многими винами, не могли из-за бессилия удержаться на ногах. Иноземцы оставались очень довольны такими вечерами, и так были приятны им кушанья, что просили несколько блюд отправить своим женам, а конфеты совали себе в карманы.

Веселился-веселился царь-государь, и как такое могло приключиться, что вдруг занемог, а от лекарств стало ему еще хуже, словно в них была отравка какая. Но этого быть никак не могло: всякое лекарство отведывал сперва сам лекарь, потом — приближенный боярин, воспитатель царицы Наталья Кирилловна, Артамон Матвеев, а после него — дьяки государевы да еще князь Федор Федорович Куракин, и всякое лекарство с избытком готовилось, чтобы хватило на пробу всем. А после того, как царь его принимал, оставшееся в склянице допивал на его глазах опять же Артамон Матвеев. Все живыми-невредимыми оставались, а государь всея Великие, Белые и Малые Руси скончался, сей суетный свет оставил, отдав богу царственную свою душу.

За гробом его, в Архангельский собор, несли в креслах нового государя — болезненного Федора Алексеевича, за ним в санях ехала царица-вдова Наталья Кирилловна.

После смерти царя Алексея Михайловича в Преображенском дворце стала жить его вдова, царица Наталья Кирилловна, с сыном Петром, который играл там потешными солдатами в военные игры, а потом стал плавать по речке Яузе да по ближним и отдаленным озерам.

Как ни убоги были цари Федор и Иван, а Измайлово не захирело при них. Сады и ягодники разрослись под присмотром умелых садовников, и птица в птичниках не перевелась, и рыба в прудах, и по загонам звери не передохли, — исполнялся наказ каждодневно подкармливать их. А когда поселилась в Измайловском дворце царица Прасковья, вовсе все здешние угоды и заведения становились год от года добычливее. Краше делалось и само царское подворье с расставленными на нем там и сям затейливыми беседками, изукрашенными дворцовыми изографами. Своя маслобойня, винокурня и пивоварня поставлены; нивы урожаями радовали; сколько птицы и самолучшей породы скота умножено, — и все это кинуть ради необжитого чухонского болота, где всей живности, может, только одни лягушки... Тьфу!

И не поехать царице Прасковье никак нельзя, хоть ты криком кричи. Только и надежды, что придется всем Измайловом управлять единокровному братцу Василию Федоровичу Салтыкову, а постельничего Василия Юшкова от себя никак нельзя отпускать, не то потом его не докличешься.

— О-ох-ти-и...

V

Все придворные и дворовые, со всего Измайлова собравшиеся люди пали на колени на замусоренную и пыльную землю в час отъезда царицы Прасковьи в далекий путь. Бывший подьячий, старик с бельмом на глазу и отсохшей рукой, Тимофей Архипыч, слывший за Измайловского провидца, на коленях дополз до царицыной кареты мимо потеснившегося люда, воздел остатнюю руку и, потрясая ею, хрипло провозгласил:

— Государыня-мати! Сойди во граде новом на землю, тобой не ступаемую, и поклонись там дочери своей Прасковье Ивановне, предбудущей королевне великой и всемогущей. И единожды чадо прими от нее, и паки и паки прими, окружи себя внуками многими и любимыми. И поклонись земно Анне, светлому и святому лику и сану ее. Погребви в сердце своем суетную мирскую дочь Анну, но возгласи ее во схиме Анфисою...

Царица Прасковья Федоровна вдруг испугалась: ну, как еще чего напророчит. Отмахнулась от него рукой.

— Поезжай! — крикнула фореитору. — И зашумела на дочерей: — Чего рты поразинули?.. — и торопливо перекрестила карету изнутри.

Шестерня, запряженная цугом, тронулась с места. За царицыной каретой потянулся многолошадный, многотележный обоз. Тимофей Архипыч замер на месте с полуоткрытым ртом, не успев ничего провещать Катерине.

За царицыной каретой бежали старые, молодые, ковыляли, подскакивали хромые, гурьбой двигались серые, сивые, оборванные, горбатые, многоязыко крича и взывая от неизбывной тоски. Тянула вослед отбывавшей царице Прасковье свои коростяные руки смрадная и убогая людь.

— Не забудь... Не спокнинь...

А на царицыном подворье снова и хрипло и визгливо, неумолчно ярились собаки.

Еще так недавно ей, царице Прасковье, мнилось: продли бог ее годы хоть до полного века, жила бы она и вживалась в свое Измайлово, не зная, не видя, не слыша, что делается окрест. Всем довольна была и ни на что больше не зарилась. И своим дочерям такое ж внушала — иметь меру в помыслах, как и меру в делах, не предаваясь жадным хотеньям.

Да. Уж так-то ладно и хорошо прожила она все годы в Измайлове, что при разлуке с ним можно только грустно вздыхать. Стоило, бывало, выйти ей на крыльцо своего дворца и — тут как тут — пестрой шумливой гурьбой все ее любезные сердцу придворные приживальщики: кто — в овчине навыворот, кто — под стать чистому эфиопу сажей мазанный-перемазанный; лысый ветхий старик — в цветастом девичьем сарафане, а баба — в бороде и в усах. Одни через голову кувыркаются, другие — дерутся; кто козой либо овцой заблеял, а кто по-петушину закукарекал, — и не хочешь, а развеселишься и засмеешься. Вынесут ей, дорогой царице Прасковье Федоровне, царское ее сиденье под балдахин, чтобы солнце подрумяненный лик не припекало, подоткнут под бока подушки, — отдыхай, развлекайся, матушка-государыня. А если наскучит такое веселье, можно суд-расправу чинить. Ежели в какой день и не окажется подлинно виноватого, то любого придворного как бы в назидание на предбудущие времена можно кнутом постегать. Иной так смешно по-заячьи верещит, что и сам палач рассмеется.

Дея время между такими забавами, церковными службами, гаданиями и предсказаниями юродивых, живя унаследованной дедовской стариной, царица Прасковья в то же время умело подлаживалась ко вкусам и требованиям своего царственного деверя Петра Алексеевича, применяясь к характерам и повадкам приближенных к царю влиятельных лиц, и угодливо допускала обучать своих дочерей всем тонкостям обхождения на иноземный манер, чужой грамоте, танцам и другим политесам. Это новшество отразилось прежде всего на дворцовой псарне: старый вислоухий кобель Полкан стал называться Юпитером.

Мыслила царица Прасковья о продлении налаженной жизни, а н случился вот из Петербурга гонец с властным приказом царя Петра, чтобы незамедлительно собиралась она, царица, вкупе с дочками, к нему туда, в Петербург.

Хотя и наслыхана была Прасковья о лихой славе своего деверя, все пуще ходившей среди московских бояр, знала, какие богомерзкие новшества вводил в новом приморском городе царь, но не поехать, послушаться — как посметь?

Хоть бы знать, зачем едет-то? Был слух, что чего-то набаламутила в Суздале старица Елена, бывшая царевна жена Евдокия Лопухина, — может, дознался Петр Алексеевич да желает теперь розыск вести, проведая, что великим постом присылала из своего монастыря бывшая царица Евдокия бывшей подружке царице Прасковье письмо. Правда, ничего в том письме зазорного не было, да опаски ради и сожгли его вовремя, оставив совсем без ответа, а все-таки беспокойство берет.

Больно уж ненадежное время, нет в нем никакой стойкости, а про тихость и говорить не приходится. Живи и жди — не нынче, так, может, завтра опять что-нибудь несусветное произойдет. Как вовсе недавний, ну будто бы только что минувший, летошний, памятный тот страшный девяносто восьмой год, когда с летевшими напрочь стрелецкими головами напрочь летели, рушились все былые устои и за попытку сохранить ветхозаветную старину едва-едва избежала кнутобойной расправы сама кремлевская верховодка царевна Софья вместе со своими сестрами. Хорошо, что не в пример их злокозням вела себя она, царица Прасковья, а с большой приглядкою ко всему. Почуяла, что за царем Петром сила, и с охотою принимала у себя и знатных иноземцев, и заезжих торговых людей. За это царь-деверь особо отмечал покорную невестку. А что касалось подлинно дорогой сердцу царицы Прасковьи старины с ее слезавшимися укладками, то она скрыта была в задних дворцовых покоях, и ее на глаза другим не показывали. Так миролюбиво и соблюдалось у нее стародавнее с новомодным.

Приверженцы старины седоволосые бояре брюзжали: связался, дескать, молодой наш царь с немцами-иноземцами, бражничает с ними да занимается одними ребячьими потехами. Какое будет от этого государству добро? Только разор один. И во всем виноват чужестранец Лефорт, непрестанно дававший у себя в Немецкой слободе балы да ужины с непомерным винопитием. Он, только он один — главный насадитель беспробудного пьянства, оно в его дому было столь велико, что пили по три дня сряду, и теперь такое же безудержное винопитие между знатными русскими домами в моду вошло.

Ой, словно забывали бояре, а попросту говоря, кривили душой, так уж порицая это. Ведь еще Володимир Красное Солнышко говорил, что веселие Руси — есть пити.

И еще ворчали: московские-де государи, предки царя Петра, сидели от черни далеко и высоко в своих пышных, богатых теремах, снисходя в мир подвластных им в блеске и величии, подобно богам, а Петр Алексеевич одеяние царское поскидал, в простом платье ходит. К делам царственным неприлежен, понеже забавы на уме. В его царских свойственниках значится названный князем-кесарем Федор Юрьевич Ромодановский, собою видом как монстра, превеликий нежелатель добра никому и бывает пьян во все дни.

При ней, царице Прасковье было, когда, возвратившись из своей за-

морской поездки, созвал царь Петр к себе в Преображенский дворец, вместе со знатью, людей самых простых да со смехом, с весельем обстригал ножницами бороды вельможам, начиная с Ромодановского и Шеина. Оставил с бородами только самых почетных стариков — Тихона Никитича Стрешнева да Михаила Алегуковича Черкасского.

Сваливали бояре на упокойника царя Ивана Алексеевича, будто он, жалуясь, говорил: «Брат-де мой живет не по церкви и знается с немцами». Не мог этого упокойный царь говорить потому, что неразумен был. И зря на него, мертвого, наговаривают, будто он мог понимать, что хорошо народу, что плохо. Ходил еще слух, что на кружечном дворе один потешник, будучи навеселе, расхваливал государя, какой-де он веселый у нас — часто в Немецкой слободе гуляет. А ему другой человек молвил: «Ты думаешь, что честь от этого государю? Бесчестие он себе делает». Иконописец какой-то такое решился сказать, да в Преображенский приказ и угодил. Федор Юрьевич Ромодановский об этом рассказывал, самолично хотел дознаться у него: от своего ли глупого ума бесчестье на государя возводил или кто научил?

Ой, да всякое бывает. Самому царю тетрадки подавали, в коих прописано, что его царское поведение зазорно. В народе, дескать, тужат и болезнуют о том, что на кого было надеялись и ждали, как великий государь возмужает и сочетается законным браком, тогда, оставя молодых лет забавы, все исправит на лучшее, но, возмужав и оженясь, снова уклонился в потехи, начав творить всем печальное.

Федор Юрьевич, смеха ради, недавно из одной тетрадки вычитывал непотребные слова. Писак хватали, пытали, казнили, а недовольных все не убавляется. Хорошо, что писаки эти ее, царицу Прасковью, не поклепали, как она тоже не всем довольна. А что царя Ивана впутывали — он безответный по скудости ума был и по смерти теперь. Умер — к вечному своему царствию переселился. Про то царь Петр знал и помнил, а потому злые наветы мимо прошли.

Все пока хорошо. В неизменном уважении у царя Петра она, царица Прасковья, обижаться не следует, и в большом почете родная сестра Анастасия Федоровна, жена князя-кесаря Федора Юрьевича Ромодановского, главного начальника пыточного Преображенского приказа. Надобно и дальше так жить — в государевой заботе и ласке.

А вдруг — что-нито?.. Тогда как?.. Привычное, милое сердцу Измайлово кинуто, а какая судьба впереди?..

За всю жизнь только один раз на короткий срок выезжала она в отдаленную сторону. После первого своего Азовского похода стал царь Петр строить в Воронеже корабли — додумался же до такого! Не имея моря, корабли строить! Сколько денег на это ушло у него, сколько мужиков туда понагнали, а потом и своих царственных родичей покоя лишил: строгонастрого повелел в тот Воронеж ехать на торжественный спуск самобольшего корабля. И пришлось отправляться в путь, ничего не поделаешь! В наспех построенном воронежском дворце остановилась тогда царевна Наталья Алексеевна с воспитанником своим Алешей-царевичем, ну и она, царица Прасковья, со своими чадами. Девчужки-царевны Катерина и Анна, малолетками были, а особо Паранешька: вовсе от горшка два вершка. Считаю что вповалку вселились там и приехавшие на празднество боярыни со своими боярышнями. Многолюдным и многошумным оказался тот город Воронеж, собравший к себе множество и своего люда и иноземных мастеров.

Пригнали раз мужиков, и они поставили во дворе карусель с деревянными конями и лодками. Что ребячьего шума да крика было! Больше всех царевич Алешенька озоровал: «Не хочу на лодке, на лошадке хочу!» А на лошадке-то и не удержался, упал. «Ах!.. Ох!..» — захоли мамки-няньки, царевна Наталья и приставленный к царевичу в учителя и воспитателя немец Остерман. В одном кармане кафтана у него конфеты да пряники, а из другого кармана розги торчат, — когда что потребуется. А за год до того Остерман в ее, царицы Прасковьи, измайловском дворце жил и девчушек-царевен воспитывал. «Как тебя, батюшка, звать-то?» — спросила его при первом знакомстве царица Прасковья. Он назвал себя полным именем: Генрих Иоганн Остерман. «Ой, ой... — замахала она на него руками, — мне так и не выговорить. Буду звать тебя Андреем Ивановичем, так ладнее будет». И с легкого ее слова Остерман стал для всех Андреем Ивановичем. Он и в Воронеже, как в допрежние времена, воспитателем себя проявил: Катерину, Анну, Парашку по лодочкам рассаживал, а сам потом рядом с Алешей-царевичем ехал на карусельном коне. «Нашинай!.. Пошоль!..» — кричал мужикам, крутившим карусель.

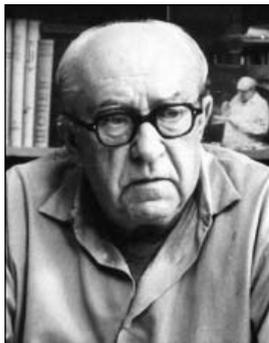
Да, помнится царице Прасковье, было на карусели так. А вот как там корабль на воду спускали — из ума вон совсем. Стояла вроде бы деревянная машина на берегу, а потом под крик да под гвалт на воде очутилась. И вовсе не стоило ради этого из Москвы туда приезжать, ничего особо потешного не было, а от пушечной пальбы всю голову разломило. Так и казалось, что из пушек прямо в уши ей, царице Прасковье, норовили попасть. Ну, понятно, много пили, шумели, плясали, огни разноцветные вверх пускали, — да ведь такое и в Москве не диковина. А пока царь Петр в Воронеже веселился, бог по-своему рассудил: в один из тех дней великий пожар на Москве сотворил. Сколько государевых домов в кремле погорело, и сгорел царский сад. И не только деревянные хоромы пожгло, а и в каменных все нутро выгорело. В церквах и соборах иконостасы и другие образа пылали; на Иване Великом самый большой колокол, допрежний Реут, подгорел, упал и разбился. А также и с Успенского собора главный колокол наземь упал, расколосся, да и другие колокола. Чуть ли не сама земля в кремле в тот пожар горела. Похоже, что бог свою отметку оставлял: «Смотри, мол, царь Петр... Не гневи меня... То-то же...» Удивительно только, и многие православные такому дивились: зачем на свои божьи храмы господь осерчал да огонь на них напустил, ведь в них его же лики горели. Как в разум такое взять?..

Вот что вспоминалось ей, царице Прасковье, выезжавшей в Петербург из своего Измайлова.

Приказала фореитору ехать кружным путем. Если уж не по всем московским улицам, то хотя бы по главным проследовать. Царица со своими царевнами отбывает, пускай видят все и как бы вся Москва ее провожает.

Кончилось ее сидение в Измайлове, а что впереди?..





Владимир Александрович Кораблинов (1906—1989) родился в селе Углянец Воронежского уезда Воронежской губернии. Прозаик, поэт, драматург, художник-график. В 1931 году был репрессирован, отбывал срок в Сибири. Автор пьес, сценариев фильмов, романов «Жизнь Кольцова», «Жизнь Никитина», цикла так называемых воронежских повестей «Козак Герасим Кривуша», «Воронежские корабли», «Горы Чижовские», «Алые всадники», «Азорские острова». В 1951 году по его сценарию снят кинофильм «Песня о Кольцове».

Владимир Кораблинов

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Рассказ

*Кто постигал его творенья,
Тот вместе с ним душой страдал.*

П.С. Мочалов

Был декабрь тысяча восемьсот сорок седьмого года. По Московскому тракту, ныряя в заледеневших ухабах, тащилась ямская рогожная кибитка, запряженная тройкой разномастных, косматых лошадей. Медленно, точно нехотя, мимо кибитки проплывали редкие деревья, покосившиеся вешки, метелки голенастого бурьяна и полосатые верстовые столбы. Шипела поземка. Кое-где дорогу пересекал свежий, еще не тронутый полозом сугроб. Направо, сквозь шевелящуюся мглу редкого снега, у самого горизонта, темнели крутые задонские холмы.

В кибитке было тесно от множества баульчиков, узлов, корзинок. Два больших дорожных сундука громоздились на запятках. Дорогие коричневой кожи, с огромными медными бляхами и, видно, очень тяжелые, они на ухабах сильно толкали в спину проезжего. При каждом новом толчке, откинув овчинную полость, проезжий высовывался из кибитки и бормотал:

— Черт бы вас побрал, окаянные! Скоро ли Воронеж-то? — кричал он ямщику.

Облепленный снегом, тот медленно поворачивался на облучке, хмуря забытые снегом густые брови, спрашивал:

— Ась? — и тыкал кнутом в сторону левой пристяжки. — Стало быть, скоро должен быть...

Наконец в белесом тумане завиднелись островерхие, с двуглавыми орлами, кирпичные столбы заставы. Ямщик остановил лошадей. Из кособокой избенки вышел будочник и стал читать подорожное свидетельство проезжего.

— Ар-тист им-пе-ра-тор-ских те-ат-ров, — медленно, по складам разбирал он бумагу, — Па-вел Сте-па-нов Мо-ча-лов...

— Не Мочалов, а Мочалов, — усмехнувшись, поправил проезжий.

Будочник молча вернул подорожную и пошел поднимать шлагбаум.

Через минуту по обе стороны кибитки замелькали убогие домишки Ямской слободы. Лохматые, с легионами репьями в хвостах собаки кидались под ноги лошадям. Возле колодезной колоды стоял чернобородый мужик в рваном полушубке и поил ребрастых, всклокоченных лошадей. Над крестом тюремной церкви, оголтело крича, черной тучей кружились галки. Обогнали с десяток промерзших, стучащих о мерзлую землю крестьянских дровнишек. С ружьем на плечо прошли четыре солдата. Закутанная в пеструю бахромчатую шаль, проплыла толстомордая купчиха. Наконец с потертым портфелем под мышкой, кутаясь в ветхую шинель, дорогу перебежал старичок-чиновник.

Это уже был город.

В гостинице Мочалова дожидался содержатель воронежского театра Микульский. Он то сидел в отведенном Мочалову номере, то выходил в коридор и, слегка прихрамывая, вышагивал из конца в конец по красной ковровой дорожке.

Когда на улице слышались бубенчики, Микульский подходил к окну и пытался сквозь морозные лилии разглядеть: не Мочалов ли? Часы в конце коридора протяжно пробили двенадцать, когда внизу зазвенела входная дверь и кто-то, обивая снег, затопал ногами. «Пожалуйста наверх!» — сказал коридорный.

Микульский побежал к лестнице. Засыпанный снегом, в огромной медвежьей шубе по красным ковровым ступенькам поднимался Мочалов.

— Батюшка Павел Степаныч! — подхватывая Мочалова под руку, воскликнул Микульский. — Слава богу-с! Ох, благодетель, и натерпелся ж я страху!

— Экой пугливый! — улыбнулся Мочалов.

— Так ведь посудите сами, родной... — Микульский припал щекой к мочаловской шубе. — Сегодня спектакль, билеты на неделю вперед проданы... Вдруг, думаю, в пути-то...

— Что в пути? — недовольно поднял бровь Мочалов.

— Ну... задержка какая... Сами знаете, ведь бывает с вами...

— Бывает, — вздохнул Мочалов. — Но вот видишь — бог миловал. Порфишка-то жив?

— Что ему делается, окаянному! И прогнать бы впору, да уж больно пример хорош... Художник!

— Так за что ж прогонять, коли хорош?

— Пьет, сударь, неделями глушит!

— Ну, брат, это не нами с тобой заведено, — серьезно сказал Мочалов.

Микульский только руками развел.

Выпроводив Микульского, Мочалов задумался.

Он был в Воронеже не в первый раз. Семь лет тому назад он так же, как и сегодня, въезжал в этот город через московскую заставу; так же, в этих же номерах встречал его встревоженный Микульский, опасавшийся, как бы Мочалов не задержался в пути, — все было так же. Разве что тогда весна была, апрель, над Воронежем стоял густой медовый запах цветущих садов. Да на душе было спокойней — черт его знает, моложе, что ли, был! — главное, несся он тогда в Воронеж, как на крыльях, от нетерпения поскорей встретиться с милым другом своим Алексеем Кольцовым...

Сколько вечеров подряд, после спектакля, ходили они вместе прямо из театра в кольцовский дом, поднимались по темной винтовой лестнице на высокий мезонин, где жил Кольцов, и за бутылкой вина и чаем засиживались до тех пор, пока голубели от утреннего света окна и плыл над полусонным городом ранний перезвон церковных колоколов.

Всю ночь напролет сидели они так, читая нараспев стихи, с задушевной доверчивостью рассказывая о себе, поверяя друг другу печали свои и радости. Радостей у обоих было маловато, а горя — хоть отбавляй. И Кольцова, и Мочалова не баловала жизнь, завистники и недоброжелатели гнусом кишели вокруг того и другого: литераторы и актеры, литературные и театральные обыватели.

Труден был путь среди беспросветного мрака, где лишь один огонь сверкал, разгоняя ночь и освещая дорогу. Этим огнем был их общий суровый и нежный друг — Виссарион Белинский.

В одну из таких незабвенных ночей Кольцов рассказал Мочалову печальную историю своей первой любви.

На заре юности, на горе себе и ей, полюбил он принадлежавшую его отцу крепостную девушку. И отец, не желая этой любви, обманом отослал Кольцова в степь, и пока тот ездил, продал девушку неизвестно куда. И как ни искал ее потом Кольцов, так и не нашел.

Тихим прерывистым голосом рассказывал Кольцов. Тишина стояла в доме. На дворе хрипло закричал петух. Проснувшийся сторож вдруг отчаянно застучал колотушкой.

С огромной, беспощадной ясностью представилась Мочалову вся горестная история его друга. Беспомощная, несчастная девушка, Алексей, с красными от слез и бессонья глазами, рыскающий верхом по степным деревням и помещичьим усадьбам в поисках проданной Дунюшки...

И — главное — отец! Отец — палач, убийца — был тем самым благообразным, с длинной, засунутой за отвороты кафтана бородой, стариком, который, встречая Мочалова во дворе и, видимо, уважая его за богатое платье, всякий раз низко кланялся и говорил:

— Дома, дома... Пожалуйте, ваше благородие!

Два дня после этой ночи Мочалов ходил как в тумане, все думал о кольцовском горе: оно легло ему на плечи. Два спектакля играл он вяло, не вдохновляясь, не зажигая зрителей. Учитель местной гимназии господин Дацков, баловавшийся сочинительством, в статейке для «Губернских ведомостей» написал:

«Он был иногда отчетлив, но такой отчетливости достигают и наши провинциальные актеры, а от Мочалова мы имеем полное право требовать гораздо большего и гораздо лучшего. Одним словом, два представления не показали нам таланта г. Мочалова в таком ярком величии, в каком мы привыкли представлять его».

Мочалов прочитал статейку, швырнул газету на пол и обозвал воронежского сочинителя ослом. Потом потребовал у коридорного бумаги, чернил и долго писал, марая, перемарывая и даже разрывая написанное на мелкие кусочки. Наконец стихи были переписаны набело.

До спектакля оставалось часа два. Наскоро одевшись, Мочалов побежал к Кольцову. Тому нездоровилось. Покашливая, закутавшись в свою ветхую шубейку, лежал он на покрытом пестрой дерюгой топчане, остановившимся взглядом уставившись на свечу.

Не снимая шубы, Мочалов прочитал свои стихи:

Полюбил я тебя, добра молодца,
Чистым сердцем, речью сладкою,
Мы ответами поменялися.
Не стаканами, не бокалами,
А сердцами крепко чокнулись,
И душа душе откликнулась...
Ну, пойдем же, друг, рука об руку
Не за радостью, небывалой здесь,
А встречать одну долю горькую...

Приподнявшись на топчане, слушал Кольцов своего друга. В широко открытых светлых глазах его сверкало вздрагивающее пламя свечи.

Мочалов кончил читать, всхлипнул и, крепко обняв и поцеловав Кольцова, опрометью кинулся вон.

Все было как прежде: застава, город, гостиница, Микульский... Только Кольцова уже не было. И не весна была, а декабрь — зима, снег.

Мочалов вышел на улицу. С тяжелым сердцем, медленно подходил он к кольцовскому дому. Тяжко ему было идти туда, где все напоминало о трудных, печальных последних днях жизни его милого друга.

Белинский рассказывал ему, какие страдания вытерпел Кольцов перед смертью, когда он жил в холодном, нетопленном мезонине (отец запретил давать ему дрова), когда сестра Анисья, считавшая своего несчастного брата помехой в делах наследования отцовского дома, в шутку заживо отпевала его со своими подружками. «Вечная память рабу божьему Алексею...» — притворно-печальными голосами пели они панихиду по нем. А он, задыхаясь от дыма благовонных свечек, должен был слушать это издевательское отпевание, потому что от слабости не мог встать с постели и уйти...

Во дворе Кольцовых работники сгружали бычьи кожи. Промерзшие, стучащие, как доски, рыжие, черные, пестрые, кожи эти уносили в распахнутую дверь сарая. Возле работников в длинной, до пят, шубе стоял старик Кольцов. Он, видно, был чем-то недоволен и кричал на работника:

— Ты что, дурья голова, ослеп?

Работник, молодой рыжеватый парень, переминаясь с ноги на ногу, что-то негромко говорил старику, но тот и слушать не хотел, а только стучал палкой по грязному, обледеневшему снегу и вот кричал, вот кричал...

Мочалов подошел и, извинившись, назвал себя.

— Дружок, что ли, Алексеев? — поглядел на него исподлобья старик. — Запамятовал, ваше благородие, не припомню-с... Так ведь и то сказать, у него, у Алексея-то, друзей этих было — и боже мой сколько! А у вас, что же, — признавая в Мочалове богатого барина, почтительно спросил старик, — дело какое ко мне или просто так?

— Дело, батюшка, — сказал Мочалов.

— Тогда покорнейше прошу в горницу, — пригласил старик и, еще прикрикнув на работников, повел Мочалова в дом.

Мочалов и прежде бывал в этих комнатах — с невысокими потолками, со множеством икон и лампадок, с дубовой, неуклюжей, самодельной мебелью и с тем тяжелым, кисловатым запахом, какой бывает в жарко натопленных и редко проветриваемых мещанских и купеческих домах.

Все тут было как и тогда: две пузатые стеклянные горки с посудой, накрытый грубой холщовой скатертью стол, засиженная мухами картина — гора Афон и пестрые, разбегающиеся по желтому крашеному полу, домотканые дорожки.

Мочалов сразу приступил к делу.

— Хотел бы я, почтеннейший, — сказал он, — купить у вас бумаги, оставшиеся после смерти Алексея Васильевича.

Разговор об этих бумагах был старику неприятен, потому что сваял он с ними в свое время такого дурака, что до сих пор простить себе не мог.

Дело в том, что после смерти сына старик решил все принадлежащее покойнику распродать. «Хоть какая-нибудь польза будет, — рассуждал он, — все с Алексея хоть копейку спибу».

Вскоре после похорон старик позвал старьевщика, которому были проданы еще новый, сшитый Алексеем в Петербурге у панаевского портного, щегольской, с бархатными отворотами сюртук, пестрый жилет, часы с бисерной цепочкой и даже та шубейка, с несколько потертым лисьим воротником, в которой его изобразил славный человек и близкий друг художник Кирюша Горбунов.

Оставался еще сундучок с бумагами и книжками. Что это были за бумаги — отец не знал, да и знать не хотел. «Все романцы какие-нибудь, — ворчал он, — баловство, прости господи...»

Однако старьевщик взять бумаги наотрез отказался.

— На что они мне? — сказал он. — Заворачивать в нашем деле нечего.

Старик огорчился.

— Возьми на пуд, дешево отдам! — навязывался он старьевщику.

Но тот так и не взял, а только пообещался прислать знакомого бакалейщика, который, пожалуй, купил бы и бумагу, и книги.

На другой день бакалейщик действительно пришел и, проторговавшись битых полчаса, купил за целковый все, вместе с сундучком.

Вот тут-то старик Кольцов и понес убыток. Не прошло и недели, как, встретившись в трактире с бакалейщиком, он узнал, что какой-то покупатель случайно заинтересовался бумагой, в которую приказчик завернул ему селедку, и спросил, много ли у хозяина такой бумаги. Приказчик позвал бакалейщика. Покупатель — не то барин, не то чиновник — предложил продать ему все кольцовские бумаги. Бакалейщик же, смекнув, что тут, пожалуй, можно поживиться, заломил за бумаги четвертной. И по тому, как, не торгуясь, тот чудак выложил деньги, купчина понял, что продешевил: спроси он полсотни, так тот и за полсотней не постоял бы.

Вот после всей этой истории разговор о бумагах сына приводил старика в дурное расположение. Он поглядел на Мочалова и, подумав, что этакой барин, пожалуй, и сотню отвалил бы, не пожалел, с досадой сказал:

— И что вам дались эти бумаги! Нету их, проданы давным-давно...

— Кому же? — спросил Мочалов.

— А прах его знает! — сердито буркнул старик. — Дело-то, сударь, когда уж было...

Тогда Мочалов спросил у него, не знает ли он, кто бы указал, где сейчас находятся эти бумаги.

Старик сказал, что нет, мол, не знает, но ежели уж его благородию такая неотложность, то шел бы он в губернскую типографию к редактору: к тому разные писаки захаживают, может, кто и знает.

У редактора сидел тот самый учитель Дацков, который писал статейки о театре. Он точил лясы о предстоящих гастролях Мочалова, уверяя редактора, что Мочалов уже не тот, что он и трезвым-то сейчас, говорят, не бывает, — какая же игра, помилуйте!

Увидев и узнав вошедшего Мочалова, Дацков вскочил, засуетился, подавая стул, и даже хотел стащить с Мочалова шубу. Однако Мочалов решительно отказался раздеться и, сказав, что он спешит, извинился и спросил, не знают ли уважаемые господа, какая судьба постигла кольцовские бумаги.

— Бумаги? — мрачно переспросил редактор. — Это какие же, сударь, бумаги?

— Ну, я не знаю, — пожал плечами Мочалов, — какие... Стихи, письма, дневники, может быть...

— Мсье Мочалов, вероятно, интересуется литературным архивом Алексея Васильевича, — пояснил редактору Дацков. — Так ведь что ж, — обращаясь к Мочалову, вздохнул он, — какой же у него архив может быть? Какие пьески мало-мальские были, так их господин Краевский у себя в «Отечественных записках» печатал... а что не печатал, — верно, несостоящая мазня, бумагомаранье, какой же в них интерес? Он, знаете, — захихикал Дацков, — в последнее-то время не приведи бог какую околесицу городил! Все господина Белинского идейки нам проповедовал... что смеху-с!

Однако, увидев, что Мочалов покраснел и нахмурился, Дацков ступешался и поспешил добавить:

— Впрочем, стороною слышали мы, будто старик их какому-то купчишке продал, а тот еще кому-то, не могу наверное вам сказать. Да вы вот что! — оживился Дацков, даже на стуле подпрыгнул. — Вы вот что, мсье Мочалов, я так вам посоветую... Была, извольте видеть, у поэта нашего эдакая одна интрижка с некоей мадам Лебедевой...

— Мадам! — презрительно усмехнулся редактор. — Хороша мадам!

— Ну, это так говорится, — заерзал на стуле Дацков, — какая там мадам — Варька Лебедева, или Лебедиха попросту... Ну, так вот-с... очень ее последние годы Алексей Васильевич обожал. Может, у ней чего и осталось — тетрадки какие, альбомы или там дневнички-с...

Мочалов записал адрес Варвары Григорьевны Лебедевой, холодно попрощался с воронежскими литераторами и пошел отыскивать Лебедиху.

Варя жила на одной из тихих, отдаленных улиц города. Войдя в эту узенькую, горбатую, расположенную по горе улочку, Мочалов в нерешительности остановился: по какой стороне ему пробираться — по правой или по левой?

Улица, видно, была совсем непроезжей, горы сугробов громоздилась на ней, и только возле заборов вились узенькие пешеходные стежки.

Из ворот вышла баба с ведром печной золы, опрокинула ведро в снег, ветер подхватил золу и черным облаком закрыл бабу.

— Послушай, голубушка! — закричал Мочалов. — Где тут госпожа Лебедева квартирует?

— Чего? — тараша на Мочалова запорошенные золой глаза, спросила баба. — Какая такая госпожа Лебедева? У нас такой нетути...

— Да как же нету? — Мочалов заглянул в бумажку. — Вот тут записано: в доме Ковырялова. Есть такой?

— Ковырялова дом — вон он, — указала баба на серый забор, из-за которого торчали снежные крыши высокого, по-видимому, полуторазтажного дома. — Энтот дом ковыряловский, — продолжала баба, — а Лебедевой госпожи нету... А! — чему-то засмеявшись, воскликнула она. — Так вам, стало быть, Лебедиху надо! Эта да, она тут квартирует, Лебедиха-то... Идите во двор, там на галдарейку взлезьте, и вот тебе — Лебедиха! А я думаю — какая ж это госпожа Лебедева? А она — Лебедиха!

Баба опять засмеялась и скрылась в воротах. А Мочалов вошел в тот двор, на который она указала, и «влез» на «галдарейку». Нагибаясь под заледеневшими рубахами и полотенцами, Мочалов добрался наконец до двери и постучался. Ответа не было. Он постучался еще раз и прислушался. Ему показалось, что где-то в глубине дома звенит гитара, чей-то хрипловатый женский голос поет разудалую цыганскую песню. Потом ясно послышался мужской смех. Мочалов забарабанил кулаком. За дверью раздались шаги.

— Кто там? — спросил старушечий голос.

— Откройте, матушка, дело есть, — сказал Мочалов.

— Да к кому дело-то? — допрашивала из-за двери старуха.

Мочалов назвал Варвару Григорьевну.

— А! Погодите! — сказала старуха и, так и не открыв дверь, ушла.

Наконец загремела щеколда, дверь распахнулась. Кутаясь в старенький серый платок, перед Мочаловым стояла довольно высокая, худощавая женщина. На сероватом, нездоровом лице резко чернели неаккуратно подведенные брови. Из-под платка выбивались, видно, еще не причесанные, черные волосы. Синяя бархотка на белой худенькой шее должна была придать женщине вид кокетливой игривости. Болезненность и страдание провели множество тонких, как надтреснутое стекло, морщинок возле рта, на щеках. Все в ней было жалко и нехорошо. Одни глаза, прекрасные, синие, необычайным огнем горели из глубоких, чуть фиолетовых впадин и точно освещали все лицо.

«Она! — подумал Мочалов. — Его последняя любовь...» Он уже не помнил, от кого слышал об этом кольцовском увлечении, чуть ли не от Васеньки Боткина. Тот еще, помнится, в этаких игривых тонах рассказывал Мочалову об этом кольцовском романе. И Мочалов тогда же, как и Боткин, думал, что это у Алеши так, от воронежской скуки, пустячок...

Сейчас он стоял пораженный. Синее пламя Вариных глаз горело ровно, не потухая. Мочалов понял, что не пустячком была она для Кольцова и ни при чем тут, конечно, воронежская скука. «За такими глазами на край света пойдешь, — подумал Мочалов, — все позабудешь...»

— Вы ко мне? — растерянно улыбнулась Варя.

Она не знала, кто этот красивый седеющий человек в очень дорогой шубе и лаковых полусапожках. Он не был похож на тех богатых господ, с какими ей приходилось встречаться в ее пестрой, беспокойной жизни.

— Что ж мы так стоим, войдите, — пригласила она Мочалова. — Только тут темно, смотрите не ушибитесь...

Через темные сенцы они вошли в маленькую, грязную комнату, по-

ловину которой занимала печь. Возле печи стояло наполненное мыльной водой корыто, на табуретке — кучей навалено мокрое белье. Один угол был отгорожен пестрой ситцевой занавеской, за которой кто-то вздыхал и ворочался. Мочалов догадался, что туда, бросив стирку, схоронилась давешняя старуха.

— Я не приглашаю вас в комнаты, — покраснев и указывая на неплотно прикрытую дверь, сказала Варя. — Там... не прибрано... Так что же вам угодно?

— Я друг был Кольцову, — сказал Мочалов.

Варя негромко вскрикнула. Ее лицо из серого стало белым. Она ухватилась за грудь.

И тут Мочалов почувствовал, что от нее пахло водкой. То, зачем он пришел к ней, — кольцовские рукописи, письма, — все это вылетело из головы. Он и хотел бы сказать что-то, да слова застряли в горле: там стояли слезы, а слов не было.

Ах, дева черноокая! —

запел за дверью кто-то густым басом, тренькнул гитарной струной и, закашлявшись, смачно произнес:

— А, ч-черт!

На Варю было жалко глядеть. Ее чудесные синие глаза заволоклись слезами. Она опустила ресницы, слезинка упала на бледную щеку и, пробежав по ней, оставила за собой темный след.

— Я... друг Кольцова, — дрогнувшим голосом повторил Мочалов. — От всего сердца... как человеку... как мужчине... позвольте мне...

Он нагнулся, поцеловал Варину руку и, давась сдерживаемыми рыданиями, выбежал из комнаты.

Спотыкаясь о заледеневшие снежные комья, Мочалов почти бежал. Узенькая горбатая улочка казалась бесконечной. Учувшие бегущего человека, за серыми глухими заборами заливались цепные собаки.

Наконец она кончилась, эта проклятая кривая улица. Мочалов выбрался на гору и остановился. Он задохнулся от быстрой ходьбы, громкими толчками стучало сердце, щеки горели. Распахнув шубу, он стоял на краю обрывистого спуска и глядел на лежащий перед ним город. Подслеповатые, со всех сторон огороженные заборами, заваленные снегом, торчали приземистые домишки. Гремела цепь, злобно брехали потревоженные собаки. Ни души не виднелось на этих прилепившихся к горе улицах. И все-таки безлюдье было кажущимся: в замерзших окошках, в заборных щелях, в приоткрытых калитках волчьими огоньками поблескивали глаза насторожившихся обывателей: кто пробежал по улице? На кого это брешут собаки?

Ощущая почти физическую боль от жалости и горя, представил себе Мочалов, как один на один стояли тут, с одной стороны — светлый, как степной полдень, Кольцов, с его открытым сердцем, с его нежной любовью к людям, и, с другой — вот этот, затаившийся за дощатыми и каменными заборами, город, с его грязными сплетнями, скверными намеками, дрязгами, плутовством и злобным лаем цепных собак...

«Так и умер в этой чертовой насторожившейся тишине! — с отчаянием пронеслось в голове Мочалова. — Один! Один, без друзей, без ласкового слова... А мы-то! — вскрикнул Мочалов. — Мы-то! Друзья! Что делали, чем занимались мы, когда он страдал, заживо погребенный в этой дыре? Когда пришло время закрыть глаза? Что?»

Вспомнились пьяные пирушки, вспомнился гремящий рукоплексаниями театр, веселые обеды в дорогих трактирах, ссоры с театральной дирекцией — все то житейское, что казалось таким значительным и важным, а на самом деле было глупо, вздорно и мелко.

Мимо Мочалова прошел краснолицый, седобородый мещанин. Закутанный в овчинную, низко подпоясанную красным кушаком шубу, с тазом под мышкой, мещанин, видно, возвращался из бани. Он сердито отвернулся от Мочалова, плюнул и, пробормотав: «Барин, а чисто мужик нализался!», вошел в одну из кривых, безлюдных, разбегающихся под гору улочек.

Мочалов проводил его взглядом, вздохнул и пошел.

Навстречу трусил извозчик. Он закричал:

— Садись, прокачу, ваше сиясво!

Мочалов сел.

— Куда прикажете? — оборачивая к нему свое круглое, добродушное, с едва пробивающейся бородкой лицо, спросил извозчик.

— На кладбище, — сказал Мочалов.

Возле кладбищенских ворот, на лавочке, сидели две нищие старухи и на разостланном между ними платке считали медяки. Они, видимо, делили выручку и, в чем-то не уступая друг другу, бранились хриплыми, простуженными голосами.

Мочалов велел извозчику дожидаться, а сам пошел к маленькой, одним оконцем выглядывавшей из сугроба избушке, где жил сторож.

Тощая, кривая, оборванная баба объявила ему, что сторожа дома нету, он на дорожках снег чистит. «Ишь, намело-то, страсть! — сказала она. — А коли он вам, батюшка, так надобен, так идите вон все по этой вале, он тама».

Мочалов пошел по аллее. Снег все валил. В верхушках черных больших деревьев жалобно посвистывал ветер. Вскоре показался сторож. Весь засыпанный снегом, он устало брел с деревянной лопатой на плече. Поравнявшись с Мочаловым, он сорвал шапку и стал как столб. Белые снежинки мягко ложились на его розовую лысину.

— Надень шапку-то, — сказал Мочалов, — не лето.

— Покорнейше благодарим! — гаркнул сторож. — Мы привычные, ничего!

Мочалов спросил, где могила Кольцова.

— Кольцова? — надевая шапку, задумчиво переспросил сторож. — Это какого же Кольцова? У нас, ваше благородие, Кольцовых этих, ну, прямо сказать, косяки цельные... Намедни только похоронили Кольцова, какой трахтир возле заставы содержал... Вам не его ли? А то вон, видите — зеленая решетка, — тоже Кольцов, энтот в полиции служил, в Дворянской части...

— Нет, — сказал Мочалов, — этих мне не нужно. Мне Кольцов Алексей Васильевич нужен, стихотворец, сочинитель, понял?

— А! — обрадовался сторож. — Вы бы так сразу и сказали! А то — Кольцов, Кольцов, а какой Кольцов, чума его знает! Пойдемте... Эх! — прибавил он, оглядев мочаловские полусапожки. — Обужа у вас не того... как бы снегу не набрали...

«Обужа» в самом деле оказалась неподходящей. Сначала шли по аллее. Справа и слева пестрели кресты, памятники, каменные черные ангелы.

— Сюда пожалуйста, — сказал сторож, — только вы за мной держитесь, а то тут снегу — беда!

Он свернул в сторону и пошел по колено в снегу, загребая валенками так, чтобы протоптать Мочалову дорожку. Однако это не помогло. Сначала Мочалов пытался идти, попадая в следы сторожа, но скоро остушился и набрал в полусапожки снегу. Тогда он махнул рукой и, не разбирая, пошел как попало.

— Пришли! — обтаптывая вокруг могилы снег, объявил сторож. — Тут самое и есть Кольцов-сочинитель.

Мочалов снял шапку и перекрестился, но, прикасаясь пальцами ко лбу, плечам и груди, совсем не думал ни о боге, ни о молитве. Одна мысль горела ярко, как факел в ночном шествии: «Как же случилось так, что мы, друзья его, в шуме столичной жизни забыли о нем, как допустили мы эту смерть?»

Между тем сторож расчистил место возле могилы. Под снегом оказалась низенькая деревянная скамейка. Полой овчинного полушубка сторож смахнул с нее снег.

— Что ж стоять-то, — сказал он, — посидите...

— Вот что, друг, — надевая шапку, обернулся к нему Мочалов, — есть у вас тут поблизости кабак?

— Как не быть! — засмеялся сторож. — Раз кладбище, то и кабак, они всегда рядом!

Мочалов протянул старику серебряный рубль.

— Понятно? — спросил он.

— Ментом, вашескорodie! — воскликнул сторож и рысью побежал с кладбища.

Оставшись один, Мочалов обошел памятник кругом. На каждой из четырех его сторон грубо и криво были высечены надписи.

«Подсим памятником погребено тело мещанина Алексея василева Колцова сочинителя и поэта воронежского, — рассказывали безграмотные кривые строки. — Просвещенной безнаук Природою награжон Монаршею Милостю скончался 33 годов и 26 дней в 12 часу брака неимел. Рожден отродителя Василия Петрова и Праскови Ивановной Кольцовой жителей воронежских. Покойся любезный сын, — заканчивалась эпитафия, — стеньящие родители преклоной старости молим всещедрова успокоить душу твою в недрах Авраамовых».

— «Стеньящие родители!» — сердито сказал Мочалов. — Низость какая!

Как на живого человека, как на врага, поглядел он на памятник: черный, нелепый, похожий на старика Кольцова в его длинной, до пят, шубе, стоял он, бормоча лживые, грубые слова своих каменных изречений.

— Заждались? — неожиданно появился из-за деревьев сторож. — А я и стаканчик захватил, вот, пожалуйста!

Он подал Мочалову граненую бутылку и толстого зеленого стекла стаканчик.

— Извозчик спрашивает, скоро ли? — извиняющимся голосом сказал сторож. — Ничего, говорю, подождешь, не видишь нешто, дурья голова, какой барин-то!

Мочалов налил в стаканчик водки.

— Ну-ка, друг, — протянул он стаканчик старику, — помяни раба божьего Алексея...

— Это можно, — согласился сторож. — А вы что же?

— Мне нельзя, — сказал Мочалов. — Такое мое, брат, нынче дело...

— Ну, царство небесное! — Привычным жестом старик опрокинул стаканчик и, крикнув, вытер ладонью усы. — Вы что ж, покойнику-то родня, что ли, будете?

— Друг он мне был. — сказал Мочалов. — Да и не только мне, — добавил он, помолчав, — всей России друг.

— Да, хорошие песни складывал, — согласился сторож, — это верно...

— Внуки и правнуки твои петь будут, — серьезно сказал Мочалов. — Ну, прощай, брат, пора мне...

— А штофчик забыли, — подавая бутылку, напомнил сторож.

— Себе возьми! — махнул рукой Мочалов. — Да поглядывай за могилкой-то!

Казалось, что в зале потолок обрушится от рукоплесканий. Вздрагивая от сквозняка, колебались холщовые декорации, шипя, чадили масляные лампы. Но никто из зрителей не замечал ни намалеванного неба, ни деревянных алебард, ни убогих, грязных декораций. Не было сцены, не было актеров: был несчастный Гамлет, бедный принц, с душой прекрасной и глубокой, была человеческая страсть, человеческое горе.

Едва ли когда Мочалов так потрясал людские сердца, как в этот ненастный декабрьский вечер, в затерянном среди снежных степей городе, на небольшой сцене провинциального театра. С первого же монолога он покориł зрителей. А когда, с горьким упреком, произнес он знаменитое:

Как? Месяц... Башмаков еще не истоптала,
В которых шла за гробом мужа... —

ему вспомнилось кладбище, снег, голые деревья и забытая, одинокая могила, над которой торчал нелепый черный камень с его кривыми строчками лживых надписей. Голос Мочалова дрогнул, он запнулся и так, сквозь слезы, закончил монолог.

Его вызывали несчетное количество раз. Зал бесновался.

Восторженные крики и аплодисменты распирали запотевшие, грязные стены зала. Бледный, без кровинки в лице, Мочалов выходил, кланялся, точно слепой, не видя публики, удалялся за кулисы, и снова выходил, и снова кланялся.

— Ловко, шельмец, представляет! — сказал важный, со звездой на фраке, чиновник. — А все-таки нету, знаете, лоску... Вот я Каратыгина глядел, у того есть...

— Низкого круга человек, ваше превосходительство, — угодливо поддакнул ему мелкий чиновник. — Какой же может быть лоск?

Мочалов уже надевал шубу, когда в уборную к нему вошел вылощенный, выхолотный, пахнущий дорогими духами незнакомый офицер. Это был адъютант воронежского генерал-губернатора. Его высокопревосходительство приглашал Мочалова и всю труппу к себе на ужин.

— Не могу-с! — довольно резко сказал Мочалов и, сославшись на усталость и нездоровье, ушел к себе в гостиницу.

Не раздеваясь, долго сидел он в кресле, глядя на злой, красноватый язычок свечи. Весь нынешний день проплыл перед его глазами: Микульский, старик Кольцов, хихикающий Дацков, бедная Варя, нищие старухи, кладбище, сторож, безобразный черный камень над заброшенной могилой...

Что-то много горечи принес ему этот день. Тот подъем и то вдохновение, что, как награда за все пережитое, принесли ему наконец настоящее счастье, вырвали из мрачной бездны его, «мочаловской», тоски, — все это вдруг уничтожилось сразу чистой, розовой, с отвратительными полубачками, физиономией раздушенного губернаторского адъютанта. И, как лжив и черен был кладбищенский камень, так лживо и черно было это приглашение важного сановника отужинать за его столом.

Вспомнилось ему, как однажды, вот за этаким ужином, в доме Аксаковых случилось ему поспорить, как сказал он старику Аксакову что-то откровенно и дерзко. «Да ты пьян! — опешил Аксаков. — А пьяных, брат, будь он хоть трижды Мочалов, я не потерплю! Эй! — крикнул он слугам. — Выведите-ка молодца!»

— Что ж, и вывели! — усмехнулся Мочалов. — Мужик... Отчего бы и не покуражиться над мужиком-то!

Это воспоминание о ссоре с Аксаковым точно прорвало плотину: накопившиеся на душе горечь и обида хлынули мутным потоком. Вспомнилась незадавшаяся любовь... полицейские чиновники, воспрепятствовавшие этой любви... государь-император, высочайше повелевший вырвать из сердца то, что было дороже жизни...

Вспомнился глухой и злой петербургский генерал Гедеонов, ставший после смерти добряка Загоскина директором императорских театров. И как этот Гедеонов приехал к нему домой, чтобы застать его пьяным, так сказать, прихватить с поличным... Ну, что ж, и застал. Мочалов тогда крепко запил и пил третий день, все думая заглушить окаянную тоску одиночества, — ан нет, хмель не брал, тоска не проходила.

Вот таким-то и застал его Гедеонов.

— Как! — негодуяще воскликнул он. — Так-то ты, сударь, болеешь? Я тебе не Загоскин, я не потерплю, чтобы мои актеры...

— Вон! — кинулся на Гедеонова взбешенный Мочалов. — Вон отсюда, гадина!

Генерал струсил и убежал. А потом уволил Мочалова из театра. Его, Мочалова, уволил из театра!

Мочалов хрипло рассмеялся. И вдруг ему показалось, что на него кто-то смотрит. Он вздрогнул и оторвал взгляд от свечи. Прямо на него, из большого зеркала, глядел его двойник. «А! — сказал Мочалов. — Вон это кто... Старый знакомый!»

Он подошел к зеркалу. На него глянуло усталое, начавшее обвисать старческими складками лицо. В черных кольцах кудрей сверкала седина: старость.

Он огляделся. Пустой, неуютный номер, голые стены, диван, кровать... Кто только не лежал на этом диване, на этой кровати!

Тишина стояла в гостинице, лишь свеча, оплывая, потрескивала. За черными запотевшими стеклами окон спал мещанский, чиновничий город с его лабазами, острогом, канцеляриями, шерстомайками, церквями, полосатыми полицейскими будками, кособокими фонарями... город, безжалостно задушивший ясноглазого, звонкоголосого русского певца!

Рядом со светлым, скорбным образом погибшего Кольцова встали другие: повешенный царем Рылеев, застреленный холодной рукой наемного чужеземца Пушкин, юный Лермонтов, убитый на дуэли, замученный солдатчиной и побоями Полежаев... боже мой! Сколько уничтожено светлого, талантливого, благородного!

А он сам? Не такой ли страшный конец готовится и ему, Мочалову,

артисту из крепостных мужиков, посмевавшему сказать в искусстве театра свое яркое, вольное слово?

Холодные, липкие лапы одиночества охватили Мочалова, ему сделалось нестерпимо страшно. «Неужто ж и мне? — с ужасом подумал он. — Что же делать? Забыться!» Скорее забыться! Черт с ними, с билетами, проданными на неделю вперед! Черт с ним, с Микульским, постоянно тревожившимся, как бы с Мочаловым «не случилось». Ан вот сейчас возьмет, да и «случится»! Вот сейчас дернет он шнуток звонка да и велит коридорному принести...

Мочалов потянулся рукой к звонку, и вдруг перед ним возникло лицо Кольцова. Бледный, исхудавший, с крепко сжатыми губами, пристально глядел он на Мочалова. «Что ж, — говорил спокойный, умный, усталый взгляд, — опять забыться, убежать хочешь? Опять духом упал? А я вот, милый друг, не искал забвенья, беде моей глядел в глаза! Я не бежал, а стоял прямо, ждал бури: сломит — упаду, выдержу — пойду вперед! Но не стану перед ней на колени, не буду слезно молить о пощаде, бабой выть... Нет, этого-то не будет! Мы — русские люди: шапку снимем перед грозой, а в сердце кровь не остановим! Еще смеем сказать невзгоде: убирайся, откуда пришла!»

Рука Мочалова, потянувшаяся было к звонку, опустилась. «Мы — русские люди! — прошептал он. — Ах, милый ты мой...»

— Ну, знал бы Микульский, на каком он сейчас волоске висел! — улыбнулся Мочалов и стал раздеваться.

1958





Андрей Петрович Киселёв (1852—1940) родился в городе Мценске Орловской губернии. Окончил Санкт-Петербургский университет, с 1876 года преподавал механику, математику и черчение в Воронежском реальном училище. В общей сложности прожил в Воронеже 45 лет. Его имя многие годы неизменно стояло на обложках школьных учебников по математике. Первый учебник Киселёва «Арифметика», вышедший в 1884 году, переиздается до сих пор.

Андрей Киселёв

МАТЕМАТИКА — РЕАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ

...Вскоре я стал помощником учителя, вроде ассистента. Зададут новый урок, надо объяснить его ученикам. Я выхожу к доске и всему классу объясняю. Скпадно выходило. А кто туго понимал, я еще на перемене объясню и дома помогу. Смотрю — мои товарищи потягиваются. В моем классе все ребята хорошо учились по математике.

Из класса в класс переходил с наградой. Окончил школу, захотел учиться дальше, но не на что было.

Вот узнал один купец из Орла, никак дальний родственник мой был, способный и мапчик и учиться очень хочу. Письмо прислал. Пусть, мол, Андрияша приедет, я его в гимназию отдам, а за это он моих сыновей будет грамоте обучать. Не от доброты купец помог мне поступить в гимназию. Сколько лет я учился в гимназии, столько лет я учил его сыновей. Много на этом купец денег сэкономил.

Учился в гимназии на «отлично». Окончил на круглые пятерки, золотую медаль в награду получил. Очень хотелось мне поступить в Петербургский университет. А денег, чтобы ехать в Петербург, не было. Подумал, подумал и продал я свою золотую медаль за 75 цепковых, золотая ведь была, и тронулся в путь.

*Из «Материалов к биографии
Андрея Петровича Киселева»*

Ваши письма заставили меня вспомнить город Воронеж, который уже давно, давно я совершенно забыла.

...Все давно забытое мною, все это встало в душе... Ваша Е. Билимович. Она же Киселева с Саговой улицы в Воронеже.

Из писем Е.А. Киселевой М.И. Пуневой

Знал я, что многие ребята недолюбливают математику. Скучный, говорят, предмет, и учиться трудно. Много я думал над тем, как сделать предмет интересным, чтобы лучше ребята усваивали математику. Начал я все наглядно объяснять. Дома приготовлю разные фигуры, разрежу их на части, а на уроках показываю опыты. Измеряем площади кубов, фигур различных. Задаю ребятам занятные задачки. А главное — стараюсь объяснять все точно, ясно. Сам придумывал новые простые доказательства для теорем и задач.

Из «Материалов к биографии Андрея Петровича Киселева».

Когда я получаю Ваше письмо, меня как-то переносит в другой мир. Воронеж, моя молодость, наша Саговая улица.

...Наша Саговая улица была такая красивая, вся действительно в садах, в зелени и чистая — тротуары были посыпаны таким приятным желтым песком и так приятно было проехать по ним на велосипеде. А на правой стороне низкий глинный наш дом с полукруглым паписадником, где были красивые деревья и кусты.

Помню нашу Саговую, помню театр, Дворянскую улицу, каток (в городском саду), где мой отец Андрей Петрович Киселев устраивал когда-то электрическое освещение, а я раскатывала на коньках по большому кругу со своими поклонниками-гимназистами... А там, где-то внизу, был знаменитый монастырь, куда я бежала во время экзаменов, чтобы помолиться за благополучное сдавание экзамена. И базар, куда я бежала после катка, чтобы купить капеленых орехов.

...А спуск вниз к реке, наш Яхт-клуб, деревянный мост к острову и там Петровский Яхт-клуб с ботиком Петра Великого. Там были купальни, там брали подки, чтобы ехать кататься на шлюз. До сих пор помню запах этой воды реки Воронеж.

Из писем Е.А. Киселевой М.И. Пуневой

Обложил я себя книгами, просмотрел все старые учебники. Три года я работал над ними. Сначала не клеилось, но потом все-таки одолел... Не было тогда, как теперь, государственных издательств, которое издает мои учебники. Тогда были частные издательства. Обратился к ним. Они и слышать не хотят: какой-то Киселев вздумал учебник выпускать. Ведь его никто не знает. Кто его покупать станет. Огни убитки.

Были у меня маленькие сбережения около двухсот рублей. Поехал в Петербург, купил бумагу, договорился с типографией, уплатил деньги за печатание, а сам уехал в Воронеж. Вот через пару месяцев в 1884 году вышла моя первая книга — «Курс арифметики» — тираж 2400 экземпляров!

...«Геометрия» тоже имела большой успех. Тогда была лишь «Геометрия» Давидова. Моя, говорят, оказалась лучшей. Один педагог мне даже писал в своем письме: «Андрей Петрович, читал вашу «Геометрию» как увлекательный роман».

Из «Материалов к биографии Андрея Петровича Киселева»



Николай Геннадьевич Басов (1922—2001) родился в селе Усмань Тамбовской губернии. С 1927 года жил в Воронеже. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Московский инженерно-физический институт. Работал в Физическом институте им. П.Н. Лебедева Академии наук СССР, с 1973 года возглавил его. Иностранный член Болгарской АН. Главный редактор журналов «Наука», «Квант», «Квантовая электроника». За фундаментальную работу в области квантовой электроники удостоен Ленинской премии (1959). Лауреат Нобелевской премии по физике (1964).

Николай Басов

ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ СТАТЬ ФИЗИКОМ

Воронеж для меня значит очень многое. С ним связано мое детство. Родился я в городе Усмани. Оттуда происходят и мои родители: и мама, и отец. Но уже с четырехлетнего возраста перебрались в Воронеж. Здесь же я окончил школу, пошел в армию: как раз в момент выпуска началась Великая Отечественная война. Сначала учился в школе номер один имени Пушкина, а с восьмого класса в тринадцатой школе. И в одной и в другой был замечательный коллектив преподавателей, дружные классы, а это очень важно: от кого больше учатся ученики — от преподавателей или от учеников — всегда ведь сказать трудно.

Мне хотелось бы вспомнить добрым словом учителя химии из первой школы Тихона Степановича Бондарева, Наталью Алексеевну Алексееву — нашего классного руководителя из тринадцатой школы, она преподавала математику. Должен сказать, что математическая подготовка в школах Воронежа была хорошо развита уже тогда, в то время. Мне это очень помогло в дальнейшем.

Говоря о Воронеже, я не могу не вспомнить об отце, который много работал на этой земле. Собственно, вся его жизнь была связана с ней. Вначале отец мой — инженер-строитель. Затем он с профессором А.А. Дубянским работает в области

геологии, гидрогеологии Воронежского края. Он участвовал в разработке проекта Курской магнитной аномалии, проекта Волго-Дона. Особенно значительным было его участие в работах по проблемам Каменной степи. Он обнаружил многие документы, материалы, исследования, начатые профессором В.В. Докучаевым в Каменной степи. Впоследствии отец разработал эти данные, и вот появились исследования о том, как влияют песчополосы на поверхностный слой, на подземные воды. Об этом его кандидатская и докторская диссертации. Отец уделял много внимания работе в Воронежском университете, а последние годы — в сельскохозяйственном институте.

Работы по исследованию природных потенциалов области он передал своим ученикам, среди которых мне хотелось бы вспомнить профессора Грищенко, специалистам он хорошо известен. Отец вместе с профессором Грищенко является автором книги, выпущенной Воронежским издательством — «О роли влияния песчаных полос на динамику подземных вод и поверхностный сток».

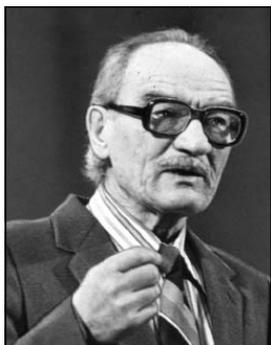
Уже в Воронеже мы с грузьями гугали о физике. С удовольствием читали популярные статьи о теории относительности, о квантовой теории. Достаточно профессионально рассуждали уже в то время о том, что наиболее важных открытий надо ждать в физике. Мне очень хотелось стать физиком. Может быть, если бы не война, я стал бы учиться в Воронежском университете. Но война изменила все наши планы. После демобилизации я поступил в Московский инженерно-физический институт. Окончил его в пятидесятом году, и вот тут у меня стало складываться твердое убеждение в том, что я должен быть физиком. Мне хотелось заниматься наукой. Академиком Пеонтовичем я был приглашен в физический институт имени профессора Лебедева. Вскоре он меня передал академику Прохорову, с которым впоследствии было связано много совместных работ.

И вот с пятидесятого года являюсь сотрудником физического института имени Лебедева, в котором и протекает моя дальнейшая жизнь.

...В 1724 году в Петербурге по указанию Петра Первого был основан физический кабинет. В нем должно было собираться все научное оборудование по физике. Для работы в этом кабинете приглашаются многие ученые, которые сыграли выдающуюся роль в развитии отечественной науки. Здесь работали Эйлер, Ломоносов, Петров, Пенц, Якоби, Голицын, Пазарев...

*Из интервью Н.Г. Басова газете «Молодой коммунар»
от 11 августа 1983 года*





Гавриил Николаевич Троепольский (1905—1995) родился в селе Новоспасское Борисоглебского уезда Тамбовской области. Окончил Борисоглебское среднее сельскохозяйственное училище. Работал учителем в средней школе, агрономом. Автор широко известной повести «Белый Бим Черное ухо». Лауреат Государственной премии СССР, международных литературных премий.

Гавриил Троепольский

У КРУТОГО ЯРА

Рассказ

Рассвело. В поле тихо-тихо, ни звука. Кругом ни души. Сеня Трошин сидел на корточках в молодом овсе и пристально смотрел на большую каплю росы. Русые, почти белые волосы с завитушками над висками ничем не прикрыты. Сеня отводил голову то в одну сторону, то в другую, наклоняясь и прищулив глаза. Нет-нет да и улыбнется. В руке он зажал фуражку — в ней что-то зашевелилось. Сеня приоткрыл фуражку и погладил крохотного зайчонка с гладким и нежным пушком.

— Сиди, сиди, дурачок! Ничего тебе худого не будет.

Зайчонок пошевелил ноздрями, еще плотнее прижал уши и доверчиво полез к Сене в рукав, откуда шло тепло.

— Ну, сиди в рукаве. Ладно. Сиди, так и быть: будешь там, как на курорте... Забавные эти зайчата-сосунки: ничего не смыслят ровным счетом — бери его руками и неси...

Сеня снова устремил взор на ту же каплю росы. Если посмотреть на нее слева, то виден в ней предутренный розово-красный горизонт неба; если посмотреть справа, то видно отражение зелени поля и облака. Настоящие, но крохотные облачка! Целый мир в капле! И Сеня видит это крохотное отражение мира, тихого, спокойного в предутренной свежести. Если смотреть одним глазом, закрыв другой, то картинка становится отчетливее, ярче.

Он присел на колени и посмотрел вокруг. Роса на листьях играла и переливалась. На каждом листочке — капля, и в каждой капле — маленький мир. Много удивительного видел Сеня в поле, но такое заметил первый раз за свои двадцать четыре года.

Он встал. Пересадил зайчонку в фуражку и сунул ее за пазуху. Чуть постоял. Перекинул перепелиную сеть через плечо, а на второе плечо вскинул связанные ботинки. Поднял с земли сумочку, в ней затрепыхались перепела. Еще раз посмотрел на разбросанные по полю хрусталики росы и пошел напрямиком, по посевам. Брюки у Сени уже давно были мокрыми до колен — сильнее намочить их уже не страшно. Да и роса была такая приятная, освежающая, бодрящая. Как хорошо в поле на рассвете!

Но вдруг он остановился: впереди на кургане, как изваяние, появившееся на грани ночи и дня, стояла огромная волчица. Сеня долго смотрел на нее, не шевелясь, потом тихо прошептал:

— Здорово, знакомая!

Волчица, повернувшись всем корпусом, посмотрела в его сторону и спокойно ушла за курган.

Выбравшись на дорогу, Сеня пошел не в село, а в противоположную сторону: он шел на работу прямо с охоты. До села надо было бы пройти километров шесть, а до места давней работы, на пропашку подсолнечника, — не более километра. Для такого случая он и завтрак принес с собой в рюкзаке.

Вскоре он подошел к бригадному стану и скинул у лесной полосы ватник. На работу люди приходили не раньше семи часов, и Сене оставалось еще часа три-четыре на сон. На стане было так же тихо, как и вокруг. Сторож, инвалид Отечественной войны Григорий Фомич, крепко спал сидя, вытянув деревянную ногу и склонив голову на грудь: заревой сон крепок и сладок.

— Пусть поспит, — произнес Сеня тихо. — Сейчас тут и красть-то нечего. Вот когда хлеб, тогда другое дело. Тогда, если уснет, разбужу.

Затем он достал зайчонка и посадил на ладонь: тот был не больше гусиного яйца.

— Давай-ка я выпущу тебя тут, в лесополосе. А? Тут тебя коршун не достанет, — обратился он к зайчонку.

Сеня присел, чтобы посадить зайчонка под куст. Но тут послышались издали ритмичные щелчки, похожие на легкое щелканье кнутом. Он прислушался и подумал: «Константин идет. Подожду выпускать — дам ему посмотреть». И накрыл сосунка другой ладонью.

Щелчки изредка, но регулярно повторялись и приближались. А через несколько минут на просеке показался человек. Он шел, подняв голову, будто смотря все время перед собой, постукивал палочкой по голенищу сапога и тихо мурлыкал какую-то песню. Одет он был хорошо: тонкого сукна брюки забраны в добротные сапоги, коричневая сатиновая рубаха, на плечи накинута серый летний пиджак. Кроме палочки, у него в руках ничего не было. Не доходя до Сени шага три-четыре и постукав палочкой о голенище, остановился, держа голову все так же высоко.

— Кто тут? — спросил он.

— Я.

— Сеня... Как охота?

— Шестерых поймал.

— Хорошо.

— Роса с полночи упала, а то больше поймал бы. Перепел в росу не идет под сеть. Орет как оглашенный, а ни с места.

— Ишь ты какое дело! Боится замочиться... Жирные?

— Ничего... Садись-ка сюда, Константин. Что-то покажу.

— А ну? — И Константин, осторожно ступая, подошел к Сене. Он был слеп. Открытые глаза были неподвижны. На вид он казался ровесником Сени. Тонкими, мягкими кончиками пальцев он прикоснулся к Сене, затем они крепко пожали друг другу руки.

— Зачем и куда ходил в такую рань, Костя?

— Это тебе — рань, а мне все едино... На кукурузу ходил — обошел всю: теперь знаю, где она в этом году посеяна и как к ней идти.

— А-а... И нашел? Как это ты смело по полю ходишь? Не боишься заблудиться?

— А вот она. — Костя поднял палочку и постучал ею. — Я по ней правлюсь. Пусть, скажем, передо мной столб впереди — чуть стукну ею по сапогу, и она скажет: столб. Вот дошел до бригадного стана и вижу сразу — стан. Или вот ты сидишь, а я иду мимо: молчи, пожалуйста, я все равно увижу. Каждое вещество отражает звук по-разному. И посевы тоже: подсолнечник свое отражение дает, рожь — свое. Я все вижу. И волна такая тонкая от каждого предмета доходит к лицу... Не понимаешь? — спросил он вдруг.

— Нет, почему? Понимаю. Но только считаю — мне это недоступно. Мне закрой глаза — и каюк. Ты вот и щетки делаешь, и хомуты вяжешь, и сети плетешь, на все руки мастер. Все это и я, конечно, могу научиться, но только глазами. А так — недоступно.

— Оно и мне кое-что недоступно. Вот смалу слышу: «Свет, свет», а что оно такое — понятие не имею. Скажем, зеленый лист и желтый лист осенью — это я вижу, пальцами определяю. А свет — не знаю. Оно, видишь, какое дело, мне это недоступно, значит.

— Ну ладно, — перебил Сеня, видимо не желая углублять тему разговора. — Ты смотри, кого я под комком нашел. — И он приблизил к Косте ладони с зайчонок.

— Вроде бы крольчонок... — Костя гладил зайчонок и трогал тонкими пальцами шерстку, ушки, лапки. — А-а! Зайчонок?

— Точно, он.

— Мяконыйкий какой... А зачем ты его от матери унес? Нехорошо это, Сеня. А?

— Как раз наоборот. Тут, в лесной полосе, ему безопасно, а там его коршун может в два счета слопать. А матерей у него столько, сколько зайчих с молоком.

— Это как так?

— Очень просто. Она, зайчиха, как, значит, народит зайчат, то покормит их сразу же, а они тут же — шмыг, шмыг! — в разные стороны и под комочки или в ямочки. Все. И прощай, мамаша!

— А потом?

— А потом так: как он захочет есть, то тихо-онько пищит: «Пи-пи-пи!» Тогда бежит к нему зайчиха с молоком, какая ближе от него. Иной раз и две сразу бегут, только ешь, пожалуйста, не ленись.

— Смотри-ка! Это ж удивление!

— Я все это сам видел, лично. «Пи-пи-пи!» И она бежит, ковыляет. Обмокнет вся по росе, как баба у белья на речке, а бежит, спешит. И другая бежит. Ну эта, конечно, опоздает. Первая кормит, а вторая сидит рядом, головой кивает, как нянька. Ей-богу, так!

— Как нянька! — рассмеялся Константин. — Прямо чудеса ты видишь на охоте.

— Все равно всего не вижу.

Константин повернул к нему голову в удивлении: чуть выпятил губы и поднял брови.

— Чего удивляешься? Вот сейчас видел я небо в капле. Первый раз в жизни видел! — воскликнул Сеня с восхищением. — Понимаешь: облачка, заря — все в капле...

— Константин спокойно улыбнулся и убежденно сказал:

— Не понимаю.

— Да и не только ты. А Маша, жена, та понимает. И я в ней все понимаю.

— И моя Настя меня понимает, хоть и зрячая.

— Это хорошо, когда понимают друг дружку. Вот и Алексей Степаныч, председатель колхоза, я так думаю, понимает, что я без охоты не могу: не препятствует.

А бригадир тормозит мне. Я что: меньше других выработал трудодней? Больше, а не меньше.

— А я вот Алексея Степаныча не понимаю. Я ему говорю, что из кукурузных султанов можно веночки такие вязать — для чистки одежды употребляют в городе. За каждый такой веночек — рубль, а я один связу пятнадцать — двадцать штук за день. А то и больше. Тебе, говорит, и без того работы много — не справишься. Это меня-то работой испугал! Выгоды не видит. Ладно, я ему докажу по осени. Как созреет кукуруза, навяжу штук десять и принесу прямо в правление — рассмотрит и поймет.

Оба помолчали. Константин достал карманные часы — с крышкой, но без стекла, — скользнул по выпуклым точкам циферблата кончиком пальца и сказал:

— Полчаса пятого. Пойду.

— А я посплю маленько. Да в обед прихвачу часок.

— Ну поспи, поспи. — И Константин, выйдя на дорогу, зашагал по направлению к колхозу, орудуя палочкой: то стукнет ею перед собой по дороге, то — по голенищу.

И долго еще доносились до слуха Сени пощелкивания и стуки Константина: тук, тук... щелк... щелк, щелк... тук... «Хороший человек Константин, — подумал Сеня, выпуская зайчонка. — Иной и с глазами того не стоит».

Солнце начало всходить. Свистнул суслик, будто давая знать, что он проснулся первым. Крот начал выталкивать из норы свежую землю. Пробежал полевой хорек. И еще раз свистнул суслик. Вспорхнул жаворонок над посевом и сразу же опустился: рано еще петь. В чистом, свежем утреннем воздухе за километр было слышно, как спросонья заговорили трактористы у будки, заправляя тракторы для дневной смены. Сеня улегся на ватник и сразу уснул.

Когда сторож Григорий Фомич проснулся, он увидел Сеню, раскинувшего руки и ноги. «Ишь ты, — подумал он. — Не разбудил меня. Крепко я подремал, крепко. Ну и ты поспи, охотник... Спи».

Около семи часов на дороге показался «Москвич» председателя колхоза. Григорий Фомич приободрился, но Сеню будить не стал. Из машины вышли председатель колхоза Алексей Степанович Зернов и бригадир Корней Петрович Ухов.

— Доброе утро, Фомич! — приветствовали оба сразу.

— Так же и вам!

— Э, да тут уже и Сеня, — громко сказал Алексей Степанович.

— Шшш! — зашипел Григорий Фомич. — Пусть поспит. Он же с охоты. Люди подъедут, тогда и встанет. Он никогда не опоздает.

Но Сеня услышал говор и поднялся. Протер глаза, умылся около бочки с водой и подал поочередно руку приехавшим.

— Здравствуйте! Приехали, значит. Что-то раненько сегодня?

— На сенокос пробираемся, — ответил Алексей Степанович. — Как бы не пришлось туда людей перебрасывать: сено в рядах, а барометр падает. Дождя боимся.

— Сегодня не будет дождя, — уверенно сказал Сеня.

— Ну, ты все знаешь! — иронически возразил бригадир.

— Роса сильная была ночью, — ответил Сеня. — После росы в тот день дождя не бывает. — Он подумал и добавил: — И перепел на утренней заре не молчал. А перед дождем он больше молчком ходит.

— Барометру, значит, не верить, по-твоему? — спросил бригадир.

— Может давление падать, а дождя может и не быть. При сильной росе никогда не бывает дождя, — еще раз повторил Сеня.

— Вполне научно, — подтвердил Алексей Степанович. — Правильно. Грести сено надо, но горячку давай не тачать, — обратился он к бригадиру. — Перебрось туда человек десяток — и хватит.

— И нога моя не ноет, — вмешался Григорий Фомич. — Перед дождем она напоминает.

Бригадир не стал перечить председателю, но по лицу было видно, что он недоволен всеми тремя собеседниками. Ему казалось, что все они не понимают самого важного: схватить сено до обеда, а не возжаться с ним до вечера. Алексей Степанович, наоборот, был вполне доволен «местным прогнозом». Он знал, что нарушение ритма в работе — вещь опасная: туда перебрось, тут дело оставь, а среди дня снова вези людей на это же место.

— Корней Петрович, — вдруг обратился к бригадиру Сеня. — Как закончим пропашку междурядий, отпусти меня дня на два.

— Вот! Видишь, Алексей Степаныч, — сразу вспыхнул тот. — Опять «отпусти». Ночами бродит по полю от молодой жены, да еще и от работы хочет уйти.

— У меня трудней больше всех, — возразил Сеня. — Отпусти, пожалуйста. Наверстаю. Воскресенье буду работать.

— Не могу сейчас. В поле дела позарез, а ты — «отпусти». Понятия, что ли, нету! — воскликнул бригадир.

Алексей Степанович спросил у Сени:

— А куда ты собираешься?

— Да не хотел я говорить заранее. Может, там ничего и не получится.

— А ты скажи, — может быть, и отпустим.

Сеня посмотрел на бригадира не особенно доверчиво и ответил председателю:

— В Крутых Ярах, в самой гущине — в терниках, волчица с выводком... Вырастет потомство — полстада овец перережут.

— Ну, а ты что с ней делать хочешь? Убьешь, что ли? — нетерпеливо говорил бригадир, поглядывая на взошедшее солнце.

— Может, и убью.

— А на что тебе два дня?

— Да как сказать — может, и больше. Ее же надо выследить и... — Сеня не договорил и, махнув рукой, отошел в сторону.

Председатель и бригадир что-то говорили между собой, но Сеня не слушал. Ему было обидно, что бригадир не понимает его. Он думал, как ему быть: волчица беспокоила его уже не первый день.

Алексей Степанович подошел к Сене и спросил:

— А подпустит она тебя с ружьем-то? Волки хитры.

— Так надо ж сперва без ружья... Проследить, сообразить, а потом уж... Она мне уже знакомая. Знаю, сразу с ружьем нельзя. Тогда она или уйдет заранее, или в норе отсидится, или перетащит волчат в другое логово, в иное место... Разве логово раскопать? — спросил он сам у себя.

Алексей Степанович смотрел на Сеню и думал. Сеня тоже думал, глядя перед собой в поле.

— Ты чем сегодня занимаешься? Какой наряд тебе? — спросил Алексей Степанович через некоторое время.

— За конным планетом хожу: на конях рыхлим подсолнечник. Сегодня, пожалуй, кончим.

Алексей Степанович больше ничего не сказал. Он отошел к бригадиру. Тот что-то записывал и не поднял головы. Но Сеня услышал его голос.

— Алексей Степаныч! — говорил бригадир, возмущаясь. — Сами требуете ритма в работе, а сами вон что советуете: отпустить колхозника с поля. Не понимаю!

Потом они говорили тихо и вскоре поехали дальше.

Целый день Сеня рыхлил междурядья. Сегодня он был молчалив. На вопросы отвечал неохотно, а на шутки совсем не отвечал. В обеденный перерыв он лег спать, как обычно, но уснуть не смог: волчица не выходила из головы. Никто, как казалось ему, не думает об этом опасном звере. В прошлом году десятка два овец перерезали волки. Неужели допустить и в этом году? Кричать на правлении да ругать пастухов — дело нехитрое...

Но не один Сеня задумался о волчице. Алексей Степанович утром, когда отъехали от бригадного стана, говорил бригадиру:

— Сеню надо отпустить. От волчицы могут быть большие убытки. А может быть, она и не одна там.

— Да не убьет он ее, — возражал Корней Петрович. — Разве ж один охотник, да еще с одностволкой, может убить матерую волчицу? Нет. Месяц будет ходить, а не убьет. Дело Сеньки — перепела, утишки, зайчишки... Он и так мне надоел со своей охотой: то его на уток отпусти весной, то он зимой уйдет да попадет в самую пургу, а ты за него душой болей. Прекратить это надо. Да еще и так сказать: молод он и неразумен еще, чтобы на волчицу одному отправляться.

— А все-таки отпусти его, Корней Петрович, — настаивал председатель, пряча улыбку в черных усах. Загорелый, как южанин, он смотрел перед собой, ведя машину. Ветерок шевелил его седеющие волосы.

— Отпусти, отпусти! Дело важное.

Корней Петрович безнадежно вздохнул и отвернулся в сторону.

Но вечером, на бригадном стане, он подозвал Сеню и сказал коротко:

— Ну ступай. Два дня тебе.

— Алексей Степаныч отпустил-то?

— Ты иди. Раз разрешаю, значит — иди. Все.

— Все, — подтвердил Сеня.

Подошла грузовая машина. Они сели в кузов вместе с другими кол-

хозниками и больше не перекинулись ни единым словом. Но уже около гаража Корней Петрович сказал, сойдя с машины:

— Ты вот что, Сеня: один-то против волчицы с выводком не очень там... Поосторожней, говорю.

— А я думал, прямо как приду, так ее за глотку: кхх! А она меня: хрык! — и готов. — Сеня сказал это серьезно, без улыбки.

Но Корней Петрович понял иронию и махнул рукой.

— Чудак ты человек, Сенька! — сказал он на прощанье.

Дома Сеня поужинал с женой, расстелив скатерку на траве под кленом. Жареные перепела были очень вкусны, а блинцы со сметаной показались Сене и вовсе замечательными. Он тщательно вытер последним блинцом тарелку, проводил его в рот и сказал:

— Спасибо, Машенька! Ловко поужинал... Садись-ка сюда — я тебе рассказывать буду.

Он принес из клетки кинжал, сделанный из укороченного штыка от немецкой винтовки, и расположился с ним у камня. Маша присела около него на завалинку. Маша — молодая, сильная, полногрудая, с задорными серыми глазами, смеющимися из-под черных густых бровей. На селе удивлялись: как это такая красавица вышла за такого «тихоню Сеньку». Правда, Сеня не был каким-нибудь щупликом, но и особой силой не отличался на первый взгляд, хотя мускулы его напоминали твердую резину, такую, что бывает у накачанного баллона автомашины, — не помнешь. И ростом — средний. И такая, прямо сказать, красавица полюбила Сеню.

Спрятав руки под фартук, Маша ласково-шутливо спросила:

— О чем же будешь рассказывать? Про куропаток, что ли?

— Нет. Ты слушай. — Он начал точить кинжал и, не отрываясь от дела, заговорил: — Ты в каплю смотрела когда-нибудь утром, рано?

— В каплю?!

— Ага.

— Ну, ты что-то того-этого. — И она потрогала его за голову, потрепав легонько волосы.

Сеня рассказывал Маше подробно.

— Понимаешь, Машенька: дрожит, переливается то ясно, то смутно... И такая крохотулька. В кино того не может быть — недоступно им.

Маша слушала и смотрела на Сеню. И никакого задора в ее глазах не было, и уже не казалось, что вот-вот слетит с ее губ острое словцо, которого так боялись некоторые в бригаде.

— Хороший ты... — тихо произнесла она.

— А Корней Петрович говорит — чудак.

— Ну и пусть говорит.

Кинжал потихоньку лизал камень.

Вечер стал уже темно-синим, деревья — почти черными.

— Завтра я уйду, Маша. На два дня уйду, — доложил Сеня, вставая от камня.

— Далеко?

— Волчицу выслеживать.

— Страшно, Сеня. Она ведь с волчатами... Сказывают, их двое матерых в одном месте поселились: самка да самец.

— Ну и что ж из того? Я на них так вот сразу и не полезу. Послежу. Подумаю... Как ты на это скажешь?

— Да ведь все равно уйдешь.

— Уйду.

— Ну иди. Ладно. — Она обняла его и чуточку так посидела, прижавшись щекой. — Пойдем, Сеня.

Вскоре Сеня уже спал, положив голову на руку Машеньки. А она дремала, боясь пошевелить рукой, чтобы не разбудить его.

Рано утром Сеня вышел из дому. За спиной — рюкзак, через плечо перекинул косу, за голенищем — кинжал. Сеня шел и внимательно смотрел по обочине дороги, сорвал пучок чабреца и натер им кинжал — запах железа пропал совсем. После этого он ускорил шаги и направился к Крутому. Часа через полтора он был уже на взлобке яра. Отсюда были видны все четыре берега яра, расходящегося в этом месте развилкой. Яр был широкий, с крутыми берегами, заросшим густым терником, орешником, шиповником, изредка дикими вишнями. Одиночками стояли в непроходимой чаще кустарника большие дикие груши. Внизу виднелась узкая и глубокая промоина с белым меловым дном и совершенно отвесными краями, а по ней тихонько журчал ручей, питаемый из родника, спрятанного внутри развилки в непроходимой чаще. Ручеек тек недалеко, он пропал в полукилометре отсюда в меловом слое.

Дальше, по ту сторону яра, начинался лес — такой, какие бывают только в черноземной зоне: среди дуба и заросшей лещины вкраплено множество диких груш и яблонь. Лес закрывал горизонт, и казалось, здесь конец степи и простору.

Между лесом и яром — чистая прогалина с редкими кустами. Со взлобка, где стоял Сеня, хорошо было видно все вокруг обеих развилочек яра: куда бы ни прошла волчица, Сеня увидел бы. Но пойдет ли она? Где ее лаз? В какое время суток она уходит и приходит? Где точно логово? Здесь ли и самец? Все эти вопросы Сеня задавал себе, присев на краю заросшей бурьяном воронки от взрыва бомбы.

Он отдохнул немного, затем подкосил вокруг бурьян, уложил на траву рюкзак, достал брусок и стал точить косу. Коса зазвенела, и звук ее пронизал заросли яра. Сеня знал: волчица слышит, насторожилась, может быть, смотрит на него — что за человек вторгся в тишину сырого яра; знал, что волки не любят звука железа. Но он нарочно точил и точил. Потом выбрал площадку лучшей травы и стал ее косить, медленно, спокойно, с остановками. Человек косит траву, должна подумать волчица, и больше ничего, — таков был первый расчет.

Весь день Сеня пробыл, как ему казалось, на виду у волчицы, косил, обедал, делал вид, что спит. Но он ни разу не заметил признаков присутствия зверей.

Перед вечером, когда Сене надо было быть особенно осторожным и бдительным, на противоположной стороне яра показался человек. Он обошел заросли и подошел к Сене. Это был Гурей Кузин, по прозвищу Гурка Скворец. Гурка, старик лет шестидесяти, шел с престольного праздника из села Житуки, куда он ежегодно уходил на Троицу и пропал там по нескольку дней. Задержать его не было никакой возможности даже всем правлением вкупе. Он сдавал лошадь и говорил скороговоркой:

— Человек я леригиознай. Обратнo, в Житуках у меня теца престарелая: должон я ей предпочтение преподнести. Обратнo же, и в храм Христов обязан там сходить, поскольку у нас не имеется. Грехов-то на нас, грехов-то! Господи вышний, грехов-то! — При этом он не без ехидства смотрел на присутствующих конюхов с явным убеждением в том, что у них

грехов гораздо больше, чем у него, и он даже может помолиться и за них, если они попросят по-христиански.

Но конюхи не просили его ни о чем, и кто-нибудь из них сердито говорил Гурею: — Иди, иди... Ты — водку пить, а за тебя кто-то должен работать. Азуит ты, Гурей.

Ни председатель колхоза, ни тем более бригадир ничего не могли сделать с Гуреем в таких случаях: он знал, что за это ему, старику, ничего не могут сделать плохого. На Успенье, в разгар уборки, он уходил еще дальше, под самую Ольховатку — за семьдесят километров, и тогда отсутствовал не меньше недели.

— Как это так, — возражал он, — на Успенье да не пойтить! Да для чего я тогда и живу? На Успенье к троюродным братьям, обратно, надо сходить.

Но ходил он просто-напросто пить водку. В жизни же был ехидный старикан, завистливый и большой охальник.

— Здорово, Сеня! Обратно косишь? — зачастил он писклявым голошишком, ухватившись за тощую бороденку.

— А что?

— Да площадку-то скосил не мене соток пятнадцать. Кто, значит, в колхоз косит, а кто себе.

— Да что ты, Гурей Митрич! Это я не для себя.

— Обратно брешешь, Сенька. Коси, коси. Только и урвать на заполье — ни один черт не увидит. Коси: у коровы молока больше — Машка твоя, обратно, толще. Хи-хи!

Сеня внутренне осердился, сжал зубы. Но, сдерживаясь, вдруг сказал:

— Садись, Гурей Митрич, покури. Я хоть и не курю, а ты покуришь и... послушаешь. — В последнем слове у Сени появилась такая нотка, что, будь Гурка поумнее, он поспешил бы уйти.

— Обратно, покурю. Ладно. Коси, черт с ней, с травой... Туда, в колхоз, как в прорву, — не накосишься... А Машка твоя — бабища во! Да-а... Все качества у нее. Хи-хи!

Сеня не терпел никогда похабства и теперь готов был сунуть в морду охальнику, но он решил отучить Гурку похабить, по крайней мере при нем, и таинственным голосом спросил:

— Гурей Митрич! Как же ты через яр шел?! А-а!

— А что-о?! — вытянул бородку Гурей в испуге.

— Да там же восемь волков! Сам видел. Я уж тут сижу сам не свой — не знаю, как и с места стронуться.

— А... я... ч-ч-ч... через яр...

— Съедят!!! — воскликнул Сеня, изобразив полный испуг. — Сам видал. Вот те крест!

Гурка сначала подпрыгнул сидя, не поднимая ног, потом неожиданно вскочил и побежал от воронки, оглядываясь на яр.

— Старый охальник! — крикнул Сеня. — А я тебе сбрыхал за милую душу. Знаю — слаб душонкой. Никаких волков не видал. Но смотри, чтоб при мне не похабил. Не погляжу и на возраст.

Гурей резко остановился, круто повернулся к Сене и закричал:

— Колхозную траву коси-ить! Воровать! Над верующим человеком насмеяться! Я тебе покажу... Я тебя дойду! Сукин сын, обратно... — Наконец, поддернув штанишки, он засеменял дальше, выкрикивая ругательства, на замаливание коих потратит еще один рабочий день.

Придя в колхоз, Гурей, не заглядывая домой, не вошел, а впрыгнул в правление и растрескался о том, что «Сенька колхозную траву косит и возит домой». Во дворе он стрекотал о нарушении «дисциплины», о развале колхоза такими, как Сенька. Бригадир задумался: «Откуда взял все это Скворец?» Он подумал-подумал и доложил председателю, Алексею Степановичу. Тот, не поверив, вызвал Гурку и подробно расспросил. Но и после этого Алексей Степанович не поверил и сказал:

— Сам поеду посмотрю.

Тем временем Сеня лежал в бурьяне и встречал ночь на краю воронки, не спуская глаз с зарослей. С юга, на горизонте, выпучился кусок тучи да так и остался черной, мрачной горой. Где-то там, вдали, вспыхивали молнии. Тихонько зарокотал гром, тихо-тихо, будто в глубине земли. «Сухой гром», — подумал Сеня. Вскоре темень накрыла землю непроглядной завесой, и ничего уже не было видно. Вспышки молнии стали видны ярче, но удары грома слышались все так же под землей. Потянул настойчивый ветер — бурьян заныл, лес за яром зашумел, зашумел беспокойно, с роко-том. Сеня свернул ноги калачиком и продолжал смотреть и смотреть. И вдруг... позади он услышал звук: будто кто переломил в пальцах тоненькую сухую будылинку бурьяна. Сеня повернул голову, насторожившись. Далекая молния на секунду слабо осветила окрестность: волчица тенью стояла позади Сени шагах в двадцати. Она зашла против ветра и следила за Сеней раньше, чем он ее заметил, — вынюхивала, изучала. Так близко волки могут подойти к человеку только тогда, когда он без ружья — Сеня знал это. Он увидел ее на какую-то долю секунды. Потом снова темень, непроглядная, тяжелая, давящая на плечи. Сене все казалось, что волчица стоит позади, но вскоре он заметил сбоку, еще дальше, два фосфорических огонька, похожих на свет кусочков гнилушки: «знакомая» спокойно уходила к логову. И это было уже успехом — она не нашла ничего опасного. Однако не было возможности определить, где она вошла в заросли.

«Сухая» гроза кончилась. Ветер притих. И Сеня уснул, завернувшись в плащ.

На рассвете он проснулся и, не поднимая головы, окинул взором местность. Все было так же: в сероватом свете предутра яр казался мертвым, а лес — спящим крепким заревым сном.

Сеня ждал. Предрассветный час — час беговой охоты волков. «Знакомая» должна выйти. Но где? — вот вопрос... Увидел ее Сеня уж вдали, в полукилометре от яра: волчица вышла незаметно для Сени. И он дрожал внутренней дрожью, думая огорченно: «Не поверила, не обманул».

Утро раздвинуло серый налет, висевший над землей. На востоке загорелось огромное, необъятное зарево, но до восхода солнца оставалось еще не меньше часа. Далеко отойдя от зарослей влево, Сеня спустился к ручью, предварительно натерев подошвы чабрецом, попавшимся по пути, и зачерпнул воды. Так, с котелком в руке, он немного постоял на дне оврага. Под ногами был мел, а размытые кручки берегов промоины пронизаны корнями, свисающими до дна. Сеня посмотрел на подножие кручки. И вдруг его осенила мысль. Он нагнулся низко над землей и стал рассматривать. На мелу он заметил пятнышки: это были следы когтей волка. Волки не убирают когтей, не втягивают их, как иные звери. Ясно — волчица ходит протоком, под прикрытием стенки кручи, появляясь в степи далеко от логова. Но раз она вышла, то должна и вернуться. Так думал Сеня. Он поспешил подняться наверх, взял косу и снова стал косить, поглядывая на проток.

Перед восходом солнца он заметил спину «знакомой», она не бежала, а тихо шла под кручей к зарослям, будто и не слышала звуков покоса. «Человек косит траву — и все, — мысленно вдалбливал ей Сеня. — Понимаешь, косит».

А через час, не более, появился самец; он бежал широкими прыжками напролом, пересекая склон без предосторожностей, и влетел в заросли стрелой. «Значит, логово близко от родника», — определил Сеня.

Весь день он был в отличном настроении. Косил, варил еду, спал, развалившись на свежескошенной траве, собирал в копны вчерашний покос — без граблей, руками и концом деревянного косья, сняв с него косу. Среди дня волки парой ушли в поле и вернулись уже вечером, в сумерках: волчица шла впереди, самец — позади, следуя за ней по протоку яра. В солнечный день волки редко остаются у логова — они уходят, оставляя волчат. Ни один зверь так регулярно не кормит детенышей, как волчица, но и лишнего сосать не дает — она уходит от логова, охотясь или отлеживаясь неподалеку от выводка. В это время ни самец, ни самка уже не бродяжат, как обычно, по чужим окрестностям, — они живут семейством, «дома», то есть в радиусе не более пяти — семи километров вокруг логова.

— Значит, пришли домой, — сказал Сеня вслух и присел на копну. Ясно — днем можно заходить в квартиру к «знакомой». Он собрался и пошел домой.

А вскоре подкатил к этому месту «Москвич», прыгая и переваливаясь уткой на кочках и промоинах. Из машины вышел Алексей Степанович, за ним выпрыгнул Гурка Скворец, а уже после него появились член ревизионной комиссии, бородатый Агап Егорович, и бригадир Корней Петрович. Первым застрочил Скворец:

— Я, понимаешь, иду с престола. Иду, а Сенька мне, обратно, говорит: «Покури». Я, понимаешь, обратно курю, а сам высмотрел все и говорю себе в уме: «Колхозным добром того...» Ну, думаю, пушай ночь, а я пойду до председателя... Иду, а они мне, восемь волков, навстречу! Во-осемь! Ох! Нет, думаю, обратно не испугаюсь! Все равно не вернусь — пойду до председателя. Я ничего, обратно, не боюсь. Я, понимаешь, для правды, обратно, на что хошь пойду.

— Да подожди ты тараторить, — перебил его бесцеремонно Алексей Степанович. — Все это ты уже сто раз пересказал. А вот я не вижу, где взято сено. Ты говоришь: «Возит домой». След от копны должен бы остаться. Да и половина сена сырого — сегодняшний покос. — В сумерках он обошел весь участок скошенной травы, нагибаясь и рассматривая.

— Значит, где-нибудь обратно косит. Значит, оттуда возил. Я сам лично видал: возил, возил, истинный господь, возил.

Агап Егорович говорил басом:

— На всяк случай акт составим, Степаныч. Потом разберемся... Да-а... Аль уж Семен свихнулся?.. Не похоже. А факт: скошено. — Он тоже ходил по покосу, нагибался низко над землей, щупал сено и говорил: — Это вчера скошено, а это — нонче... Факт: скошено.

Корней Петрович все время молчал — думал. А Алексей Степаныч заключил:

— Никакого акта составлять не будем.

Сеня, ничего не подозревая, укладывался спать и тихо говорил Маше:

— Днем к ним пойду «в гости». «Знакомая» здоровущая, с телянка!.. Хитрая, а обманул: знаю, когда уходят и когда приходят и где лаз.

Уснул он крепким, безмятежным, спокойным сном.

В полночь кто-то постучал в окошко.

— Кто? — спросил Сеня.

— Я — Константин.

— Не спится, что ли?

— Открой, дело важное.

Сеня вышел на улицу.

— Дело, брат, нехорошее затевается, — встретил его Константин.

— А что случилось?

— Понимаешь, нехорошо... Я в правлении был. Акт на тебя хотели составить... Гурка Скворец все говорил: «Составить акт на Трошина Семена...».

— Акт? За что? Сам же бригадир... А Алексей Степаныч что?

— Он только и ответил: «Я свое мнение сказал».

— О чем мнение?

— А кто его знает, — неопределенно сказал Константин. — Ты сено косил?

— Косил.

— Возил себе?

— Да как же я колхозное сено себе возить буду!

— Хорошо... Значит, Гурка Скворец наплел... А ты почему косил там, где не положено, где сенокоса не начинали?

Сеня подробно рассказал, зачем ему надо было косить. Заключил он так:

— Неужто поверят, что я сено стал косить для себя? Да не возьму я и былинки колхозного! Убей — не возьму! Ну как это я не догадался раньше! Лучше копал бы лопатой. — Но, подумав, он сказал: — Нельзя лопатой: не копает там никто и никогда.

Константин постучал палочкой в раздумье, а потом сказал:

— Ну, ты спи. Спи — утро вечера мудренее.

Сеня ничего не сказал Маше, чтобы не волновать ее. Он тихо лег спать.

...Около часа ночи Алексей Степанович сидел у себя дома за столом в одной майке. Он только пришел с работы, начинающейся с шести утра, и пил молоко. Домашние все спали. В одной руке он держал газету, бегло просматривая ее, в другой — кружку молока. Через открытое окно он вдруг услышал, как кто-то стукнул о плетень палисадника и осторожно, будто крадучись, шел вдоль плетня к калитке. Тихо скрипнула калитка. Человек шел уже вдоль стены хаты, внутри палисадника. Такого еще никогда не было, и Алексей Степанович подумал уже недоброе: выключил свет и стал в простенок меж окон, прислушиваясь. В хате было тихо. В палисаднике тоже тихо. Так прошло несколько минут. Потом Алексей Степанович услышал, как человек, осторожно ступая, пошел обратно к калитке.

«Значит, кто-то просто подслушивал», — подумал хозяин и, высунувшись в окошко, окликнул:

— Кто тут?

— Не спишь, Алексей Степаныч? Это я — Константин.

— А ведь ты ко мне забрел, Костя. Заблудился?

— Нет. В своем селе я не могу заблудиться. Но только думал я так: не спит — постучу, спит — уйду.

— Ну, садись на лавку. Я выйду.

Когда Алексей Степанович вышел из хаты, Костя спросил:

— Читал, наверное? Тихо у тебя как.

— Читал газету.

— А мне Сеня привез Островского «Как закалялась сталь». Эх, и книга, Алексей Степаныч! Какие люди бывают! — Он немного подумал и добавил: — Эх, и книга! По-нашему написана — для пальцев, по Брайлю.

Алексей Степанович подумал: «И как это я ни разу не привез ему книги? Привезу, обязательно привезу».

— Я тебе спать не даю. Я — по делу, — сказал Костя.

— Значит, важное дело, если ночью пришел.

— За то, что ночью пришел, прошу прощенья. А дело важное: про Сеню поговорить пришел.

— А что такое? — спросил Алексей Степанович, будто и не догадывался.

Константин рассказал Алексею Степановичу все так, как рассказывал ему Сеня.

— Понимаешь, Алексей Степаныч, — закончил он, — у него даже и в уме не было, что подумают плохое. Волков он выследил. А что он еще мог там делать из таких работ, какие всегда видят волки? Копать нельзя — никто там не копал. А сено там скоро косить будет — на лугу покончили. Гурке Скворцу не верь: Скворец — брехун спокон веков, и ничего-то он не видит. Слепой он в жизни, этот Скворец несчастный, — так ему и помирать, безобразнику и охальнику.

Ровная и спокойная речь Константина в тихой ночи лилась убедительно. Алексей Степанович понял сейчас, здесь, рядом с Костей, что хотя он и управляет колхозом уже около трех лет, но в душу каждому еще не заглянул. Вот и Константину не заглянул. А глядеть надо. И он произнес после молчания:

— Я не поверил Гурке. Не волнуйся, Костя. — Он подумал немного и, положив на плечо Константина ладонь, задумчиво сказал: — А насчет веничков для чистки одежды я подумаю. Только все это надо организовано. На зиму надо заготовить материал. Подумаю.

— Спасибо тебе, Степаныч, — взволнованно произнес Константин.

— А я, признаться по душам, подумал уж так: человек ты рабочий, с завода, пятнадцать лет не был в селе. Механику знаешь и агротехнику уже изучил. Но... понимаешь ли колхозников? Видишь, как я подумал-то неумно. Вот и хорошо: ошибся я, значит.

— Привыкаю, Константин. Помаленьку привыкаю понимать, — говорил Алексей Степанович, не снимая руки с плеча собеседника. — И Сеню начинаю понимать: один любит сад, другой — пчел, а Сеня любит охоту, поле, природу. И колхозник хороший.

Константин ушел домой успокоенный, а прикосновение руки председателя чувствовал до тех пор, пока не уснул.

Утром пришел за Сеней посыльный: вызывали в правление. Сеня шел туда мрачный. Внутри кипела горькая обида.

— Садись, Семен Степанович! — пригласил его председатель. — Мы по отцу-то тезки с тобой.

Сеня сел, смотря прямо в лицо председателя. Тот заметил, что Сеня угрюм, и, догадываясь о причине, увидел в его взгляде нечто новое, чего не замечал раньше: глаза Сени выражали непреклонность и готовность защищаться.

— Ну? Выследил? — спросил Алексей Степанович.

— Выследил.

— Теперь дальше что?

Сеня прижал фуражку к груди и с оттенком досады сказал:

— Да не возил я сена! Не себе косил... — И он, не договорив, отвернулся к окну.

Алексей Степанович встал из-за стола, накинул крючок на двери, чтобы никто не вошел, и несколько раз молча прошелся по кабинету.

— Ты вот что, Семен Степанович! — заговорил он наконец. — Иди-ка на волков и сегодня... Раз выследил — надо дело до конца доводить. Сколько тебе дней потребуется?

Сеня поднял удивленные глаза, широко открытые, и проговорил неуверенно:

— А сено?..

— Плюнь. Понимаю. Убей волков, Семен Степанович.

— Не знаю. Может, и убью.

— Ты брал когда-нибудь волка?

— Нет. От старых охотников, в Житуках, слышал, как их...

— Убей.

— Сегодня нельзя еще идти: подготовиться надо, картечи накатать. И день надо ясный, солнечный: в такие дни они от логова уходят. — Сеня говорил тихо, уверенно, но он не сказал ни одного лишнего слова.

Алексей Степанович толком не понял, как это он собирается бить волков у логова в то время, когда они уходят от него. Председателю, может быть, и не это было важно: он понял человека.

— Не куришь? — спросил он, подавая папиросы.

— Нет.

— Ну и не кури. Это лучше. Расскажи-ка мне, как к тебе приходил Гурей Кузин, к Крутым Ярам.

Сеня рассказал, ничего не скрывая. Алексей Степанович одобрительно улыбался, и Сеня повеселел.

Кто-то постучал в дверь. Алексей Степанович сказал:

— Ну, Семен Степанович, действуй. Уничтожить выводок — огромная польза колхозу. На тебя надеюсь... Да! А может быть, загонщиков дать?

— Непроходимое там место, загонщики не выгонят.

— Ну, думай. Действуй.

Снова кто-то постучал. Алексей Степанович откинул крючок, и Сеня столкнулся в дверях, лицом к лицу, со Скворцом. Маслянистые прищуренные глазки у него сверкали искорками смеха, мелкие морщины перерезали щеки крест-накрест так, будто оставили следы его безалаберной и бездумной жизни. Гурка был явно в веселом настроении.

Сеня вышел.

— Вызывали? — весело и громко спросил, кланяясь, Гурей.

— Вызывали, — угрюмо и тихо ответил Алексей Степанович.

— Явился, обратно, как часы!

— Явился, «обратно», — иронически повторил председатель.

— Обратно, — сказал Гурей, уже сбавив тон.

— Обратные часы, — зло сказал Алексей Степанович.

Гурей растерялся и затоптался на месте, будто стоял босыми ногами на рассыпанных колючих кнопках, и повторил:

— Часы. Точно.

— Нет, не точно. Ты — часы обратные: не в ту сторону стрелка идет. В соседней комнате послышался сдержанный смех.

Гурей ничего не понимал: он сразу как-то раскис, растопырил ноги и уже моргал медленно, опуская веки, как сонная курица надвигает пленку на глаза. И молчал.

— Та-ак. Давно врешь? — рубанул вопросом председатель.

Гурей молчал.

— «Обратно» забыл? Эх ты, Гурей, Гурей! Ну что тебе за такую ложь придумать?.. Судить за клевету по статье — пользы тебе не будет. Вот что: возьми подводу, поезжай к Крутым и перевези все сено на колхозный двор. А Семену Степановичу отвезешь, как и полагается по уставу, каждую десятую копну. Это тебе в наказание за брехню: и люди будут знать, и сам запомнишь.

— Это как? К Крутым? К в-в-волкам?

— А это уж я не знаю к кому. Сено перевезешь. Понял? И Семену Степановичу — десять процентов. Дошло?

— А это кто же будет, обратно, Семен Степанович?

— «Обратно» забыл? Сеня-охотник — вот кто! Не Сеня он, а Семен Степанович Трошин.

Гурей почесал локтями бока и тоненько заскрипел:

— Я человек, обратно, леригиозный. Мне лучше бы в церкву пойтить, раз уж грех такой. Замолил бы грех, раз уж так. В церкву бы, чем за сеном. Он и сам перевезет.

— Ничего, ничего. Перевези сено, а потом замолишь. Кстати, и мой грех замолишь: мне бы судить тебя за клевету, а я вот против закона поступаю. Замолишь?

Гурей вздохнул и поплелся из кабинета, шаркая подошвами.

Весь день Сеня работал на черном пару, разбрасывая навоз по клеткам. Усталый, но довольный, он пришел вечером домой. Маша задержалась на прополке картофеля — ее не было дома. Сеня отмыл ботинки от налипшего навоза, вымыл ноги, снял рубашку и вымылся до пояса. Маша пришла, когда он уже вытерся полотенцем и так, без рубахи, копался в ящичке, выбирая лучший свинец. Она разожгла огонь под таганом на загнетке, поставила варить картошку, а сама подошла к Сене и молча обняла его. Потом она просмотрела рубашку Сени и, обнаружив маленькую дырочку, тут же искусно зашила ее. Сегодня она была особенно ласковая, но какая-то тихая. Сеня чувствовал это по ее прикосновению к волосам, по улыбке, и все поглядывал да поглядывал на нее, бросая взгляд осторожно, незаметно. Он резал свинцовые палочки на картечины да поглядывал. И наконец сказал:

— Ты сегодня особенная...

— Как это «особенная»? — с оттенком легкой грусти спросила она.

— Да я и сам не могу тебе сказать, какая ты.

Она неожиданно села рядом с ним на лавку, прислонилась щекой к его голому плечу и прошептала:

— Может быть, тебе не ходить на волков?.. Боюсь, Сеня. Один ведь идешь.

— Как это так «не ходить»? — удивился Сеня. — Сам Алексей Степаных дал команду — уничтожить выводок.

И снова Маша оказалась побежденной.

Рано утром следующего дня Сеня тщательно скатал нарезанные вчера кусочки свинца в круглые шарики — получилась отличная картечь; зарядил десять патронов, пересыпав картечь картофельной мукой (для кучности боя), залил верхние пыжи воском, чтобы не отошли, и отпра-

вился к Крутым. Вместо ботинок он опять же, как и в первый раз, надел сапоги и сунул за голенище кинжал. В рюкзаке была буханка хлеба, на плечах — легкий ватник. Он шел налегке, не обременяя себя ничем лишним: ружье и лопатка.

Теперь-то он шел с ружьем — волки далеко могут его почуять. Поэтому, еще задолго до подхода к месту, он обогнул яры и пошел против ветра. Надо было сделать так, чтобы ни разу ветер не донес запаха ружья до логова и, что не менее важно, чтобы волки не увидели Сеню. Иначе вся охота пропала.

Но, несмотря на все предосторожности, в тот день он не видел волков.

В сумерках он осторожно — теперь уже под ветер — отошел на полкилометра назад и заночевал в остатках прошлогодней соломы, старой скирды. Огня разводить нельзя было. Сеня поел хлеба, густо посыпанного солью, и лег на солому. Ему не спалось: он думал о волчице. Видела ли она его или нет, но было ясно, что она осторожна. Сеня был убежден: «знакомая» знает его в лицо, узнает его по походке, даже по кашлю или чоху и, если учует при нем ружье, перетащит волчат в другое место немедленно. Волк не может поверить человеку. Сеня знал, что если поранит волчицу, а не убьет наповал, волчица, защищая детенышей, перекусит ему горло, как ягненку: раненая у логова волчица страшна даже для бывалых волчатников. Так думал Сеня, засыпая. «Вдвоем бы», — мелькнуло в мыслях. Но в селе нет охотников, кроме него.

На второй день он увидел волков среди дня в километре от Крутых. Значит, волки на день уходили. А раз уходили, то только по протоку — иначе он их заметил бы. И Сеня решил начинать. Перед заходом солнца он сполз по водомоине вниз в яр, прикрываясь бурьяном и ковылем, и засел в засаду около стенки протока, под густым кустом.

Стемнело. Наступила ночь. В овраг опустилась холодная, мутная пелена тумана. Самого тумана не было видно в темноте, и, казалось, тяжелая мокреть придавила человека в глухом яру. Ружье стало влажным, скользким. Сеня и не пытался вытирать ружье, избегая малейшего движения, даже ничтожного шороха. Это было очень трудно: кости вскоре начали неметь, пальцы от непрерывного сжимания шейки приклада сделались твердыми и непослушными; он старался чаще шевелить ими, но даже и это движение ему казалось опасным: волки чутки! Короткая июньская ночь была в этот раз длинной, тяжелой, сырой! Уже полночь, а Сеня не видит и не слышит ничего: ни единого звука, ни малейшего шороха.

Но вдруг... он вздрогнул! — хрустнула кость. Он явственно это слышал: позади него хрустнула кость. Потом он услышал легкое повизгивание, похожее на то, когда провинившийся щенок скулит, перевернувшись, вверх лапками в ожидании наказания, — или волчонок был за что-то отлупцован матерью, или они покусали друг друга за трапезой... Ясно: волки были за спиной у Сени — в глубине зарослей, у родника. Они вошли не протоком, где сидел Сеня, а иной тропой. У Сени мелькнула мысль: «Не означает ли это повизгивание того, что волчица уже начала перетаскивать волчат на другое место?» И ему сразу показалось, что он в очень глупом положении: сидит, и волки знают, что он сидит. Но как же так? Когда он засел, то ветер еще тянул на него от логова, потом сразу опустился туман, притупляющий чутье волка, потом Сеня вместе с ружьем стал мокрым — это тоже выгодно для него, так как уменьшает запахи до предела. Но могло быть и так: волчица подходила к Сене, но он не разглядел из-за тумана. Нет. И этого не могло случиться: дно протока мело-

вое, белое, и на нем даже в тумане можно видеть волчицу за пятнадцать — двадцать шагов; он присмотрелся к кустам и еще раз подтвердил мысленно: «Нет, этого не могло случиться». И тем не менее все было туманно для Сени, как туманно вокруг, в яру.

С такими мыслями, с онемевшим телом, продрогший от сырости, он услышал на рассвете шорох: волки шли по зарослям. Видимо, была у них тропа: шорохи были легкими — волки не пробивались через колючий терник, а шли своей тропой, изредка шевеля ветки, задевая их боками. Потом все стихло.

Сеня осторожно повернулся лицом к зарослям. Теперь он смотрел вверх, на край яра, где, по его мнению, должны появиться волки, — там выходила наверх узкая и мелкая, в полметра, промоина. Вероятно, подошва ее не имеет растительности, а кустарники просто скрывают ее своими сплетенными ветвями. Сеня не ошибся: волчица и волк вышли там. Они чуть посидели, посмотрели вокруг, в разные стороны, и медленно, спокойно пошли — волчица впереди, волк позади. Это было метрах в двухстах от Сени. Он решил так: если они вечером или ночью входили в заросли там же, то ружье они не могли почуять. Другого утешения он придумать не мог, но и на этот раз надежда не оставила его.

Кое-как разогнув онемевшие ноги, он размял их, потоптавшись на месте, пошевелил руками, энергично потер локтями бока и поднялся на верх яра, к воронке и копнам сена. Сеня замер от неожиданности: здесь никакого тумана не было — все далеко-далеко было видно.

— Дурак я, дурак! — Сеня шлепнул фуражкой о землю. — Да как же я не сообразил, что по туманному яру она не пойдет!

И верно: в тех случаях, когда чутье чем-либо ограничено, волк надеется на острое зрение. Так и в ту ночь — они входили и выходили сразу наверх по другой тропе. И Сеня снова вполголоса ругал себя:

— Эх ты, Сенька, Сенька! Сколько же тебе еще лет жить надо, чтобы поумнеть? Какой же из тебя охотник?

Но как бы обидно ни было, а теперь Сеня окончательно считал волчицу хитрее себя, осторожнее, опытнее и проникся к ней уважением.

— Ну, молодец ты, знакомая, молодец! — говорил он тихонько, успокоившись.

Взошло солнце. Запели жаворонки. Запоздалая зайчиха проковыляла на покой, на дневку: заляжет теперь в лежке и заснет с открытыми глазами, видящими и во сне; прижмет уши так, что слуховые отверстия остаются открытыми, всегда наготове.

«Ох ты, мудрая! — подумал Сеня. — Около волчьего дома уцелела. Съедят они тебя, дай срок: не доживешь до зимы. Разве ж ты не знаешь: где волки, там зайцев нет? А ты все живешь, косолапая теща. И ты, должно быть, хитрее меня».

Сеня вздохнул и присел на копну. Вдали, влево от леса, на чистом паровом поле, он снова увидел волков — значит, далеко от логова не ушли. Они трусцой перебежали сейчас мимо работающего трактора, не обращая внимания на его близость и рычание мотора.

Вскоре Сеню потянуло в сон. Он прилег на копну и, прижав к груди уже разряженное ружье, уснул сразу.

Спал он недолго — на вольном воздухе человек отдыхает быстро. И Сеня проснулся приблизительно в завтрак. Он сел, закусил, протер ружье и устремил взгляд на то место, где, по его определению, должно быть логово.

Ветерок потянул ему в лицо — это хорошо. Но что делать теперь дальше? Оставить жить семью волков и идти домой на посмешище всему колхозу? Нет, он не уйдет от яра. А дальше? Сидеть еще ночь, две, три? Нет уверенности в том, что «знакомая» не учует его. Раскопать логово? Но тогда можно взять только волчат. Зато после волчица будет нещадно мстить всей округе. Бывали случаи, когда старая волчица вырезала до тридцати голов овец в одну ночь, мстя за своих детенышей. Нет, так нельзя. И постепенно, рассуждая сам с собой, взвешивая свои наблюдения за все дни, Сеня решил.

Как только пришло решение, он немедленно встал, оставил рюкзак в копне, проверил патроны и направился на другую сторону яра — туда, где выходила скрытая промоина. Вскоре он был уже там. Короткий и пристальный осмотр подтвердил, что тропа есть. Сеня застегнул ватник на все пуговицы, хотя ему и без того было жарко. Но ватника он в копне все-таки не оставил: он был ему необходим при исполнении намеченного. Идти по волчьей тропе было невозможно: колючие кустарники и сплетения ветвей настолько густы, что пройти по ним можно, только расчищая путь топором. Сеня стал на четвереньки и пополз вниз по узкой промоине. Местами он передвигался по-пластунски. Верх ватника изорвался в клочья на половине пути. Он исцарапал лицо и руки о колючки терна и шиповника, но все лез и лез. Вскоре Сеня услышал журчание родника. Он остановился передохнуть. Прислушался. Вдруг на рукаве ватника он увидел самую настоящую мясную муху; это и обрадовало его, и в то же время мурашки пошли по спине: близко мясо — близко логово. Он уже почувствовал запах псины. А через минуту наткнулся на телячий череп. Сеня встал.

В пяти шагах от него была кручка. Над нею росла огромная дикая груша, корни которой свисали вниз. А между корнями зияло отверстие — нора в естественном углублении. Перед норой — небольшая площадка в три-четыре квадратных метра, чистая, без растительности. И на этой площадке сидели два волчонка возрастом месяца полтора. Они смотрели на Сеню сначала удивленно, а потом все же юркнули в нору друг за другом: странный все-таки гость на двух ногах появился у них в доме, — лучше убраться.

Сеня срезал кинжалом лещину и потыкал ею в норе, держа наготове ружье в правой руке. Нора была совсем неглубокой, не более метра, но широкой внутри. Волчата урчали там тихонько, удивляясь появлению палки, но других звуков никаких не издавали (волки лаять не умеют). Волчицы не было. Сеня снял с себя узкий ременный пояс, положил его в карман и стал расчищать лопаткой входное отверстие норы. Время от времени он останавливал работу и прислушивался. Иногда ему чудились шорохи — тогда он брал ружье наизготовку и некоторое время сидел в напряженном ожидании. К счастью, шорохи оказывались не волчьими. Но один раз он действительно весь похолодел: неожиданно над самым ухом застрекотала сорока, будь она неладна! А эта птица может привлечь волчицу своим криком. Она так, эта чертовка сорока: человек пройдет — протрещит, волк пробежит — протрещит, заяц проковыляет — трещит, окаянная! Иногда Сене казалось, что ружье лежит не так удобно, чтобы при случае быстро схватить его, тогда он клал его прямо перед коленями, со взведенным курком, и продолжал работать. Встреча со «знакомой» здесь не обещала ничего хорошего — она появилась бы из гущины зарослей одним прыжком, — и Сеня работал, работал до боли

в суставах. Все ему казалось, что входное отверстие расширяется медленно. Но это только казалось: через полчаса он уже мог пролезть туда до половины туловища.

И вот он снял ватник. Прислушался. Вытер пот со лба рукавом. Еще раз посмотрел на ружье и... полез в логово. Какой-то особенный запах волчьей псины ударил в нос. Он ощупал рукой впереди себя дно логова: оно было чисто, без подстилки. Он повел ладонью по дну вправо и, наткнувшись на мягкое, заграбастал всеми пальцами волчонка. Звереныш попался так, что рука Сени перехватила ему горло, и тот захрипел. Сеня вылез. Разжал пальцы. Волчонок хлебнул несколько раз воздух и, сразу опомнившись, попробовал нырнуть в логово. Но Сеня прижал его обеими руками и, несмотря на то, что тот скалил зубы, извивался, урчал, перевязал его поперек живота пояском. Темно-темно-серый щенок, не видевший никогда человека, уже возненавидел его всем существом: он грыз ремешок, кусал землю, но ничего не мог сделать. Сеня завернул его в ватник и направился старым следом на верх яра. Теперь, на гору да с волчонок, ползти по промоине стало труднее. Но надо было спешить, иначе он может встретиться со «знакомой» здесь, на волчьей тропе — нос к носу!.. И снова — проклятая сорока! Но он спешил, спешил изо всех сил.

Когда он поднялся наверх, рубашка представляла сплошные лохмотья, а тело исколото и иссечено во многих местах; это не так страшно — пройдет, главное в том, что Сеня уже наверху. Он вновь срезал палку, привязал к ее концу ремешок от волчонка и потащил его. Волчонок упирался, то волочался на всех четырех лапах, то на боку; иногда он ухитрялся вцепиться зубами в ремешок и так тащился волоком, свернувшись калачиком.

Сеня шел быстро. Но когда волчонок начинал кувыркаться, он останавливался, давал ему немного отдышаться и снова тащил его дальше. Шел так, чтобы ветер дул все время в спину. Так он дотащил волчонка до воронки, откуда следил за волками ранее, в первые дни. Здесь он развязал обессиленного и измученного волчонка, который уже и не пытался укунить, — он тяжело дышал, вздрагивая. Затем Сеня быстро выкопал маленькую ямку, в полметра глубиной, завернул волчонка в ватник и уложил сверток в яму, закрепив ремешок кольшком к земле.

Теперь Сеня сидел с ружьем в руках, лицом на ветер, в ту сторону, откуда тащил волчонка. Расчет у него было таков: волчица пойдет по следу волчонка обязательно, пойдет немедленно, как только появится у логова; ветер будет от нее — ружья она не почует, а Сеню увидит только в нескольких шагах. Он сам шел на короткую и страшную встречу со «знакомой».

Прошло уже много времени — Сеня не знал, сколько прошло. Он не заметил, как солнце свалилось за полдник, как уже упала прохлада, но он сразу ощутил приближение вечера по уменьшению ветра. Ветер затихал. Это было очень и очень плохо. Но как только он это подумал, он увидел... «Знакомая» на рысах бежала по следу детеныша, опустив голову. Сеня прижался к земле, сжимая в руках ружье. Волчица бежала, не раздумывая, торопясь, прямо и прямо на Сеню: она была готова не все. Вот уже двести метров... Сто... Она повернула голову и посмотрела в сторону, не останавливаясь. Вот уже Сеня видит широкий лоб, палкой опущенный хвост и горбинку на спине.

«Не поранить, — думал он, — не поранить. Или наповал, или совсем не попасть». На какую-то малую долю секунды он вспомнил Машу, но это

было только на миг... «Знакомая» остановилась в десяти шагах от Сени с ходу, будто напорившись на что-то. Она почуяла. Она подняла шерсть на спине и, чуть оскалив зубы, пошла шагом. Сеня увидел бледно-красные десны волчицы. О, она уже точно знала, кто взял волчонка. Знала! И Сеня выстрелил ей в грудь. На секунду дым закрыл волчицу от него. Он-то знал, что перезаряжать одностволку поздно, и выхватил кинжал, встав на колени. И увидел: «знакомая» пала на колени, уткнувшись носом в землю; она подняла зад на лапы, не желая падать совсем; она еще хотела встать и сделать прыжок — один-единственный, последний прыжок, чтобы вцепиться зубами и, не разжимая их, умереть. Но она встала на четыре лапы и... рухнула наземь.

Все было кончено. «Знакомая» лежала перед Сеней. А он еще с минуты все стоял на коленях с кинжалом в руках, с запекшейся от царапин кровью на лице, в изорванной рубахе; он тоже был страшен.

...Самца он убил на следу волчицы: Сеня тащил ее волоком метров сто и снова засел в засаду. Волк напоролся на него, подскочив на больших прыжках, не подозревая засады. Увидев Сеню, он резко повернул в сторону, бросившись наутек, но картечь ударила в бок.

— Трус! — презрительно сказал Сеня, подходя к мертвому самцу.

В логове оказалось еще три волчонка. Их Сеня добыл уже утром следующего дня. Он стащил матерых волков и тех трех волчат в воронку и потихоньку пошел домой, неся под мышкой живого волчонка, завернутого в ватник. Он освободил ему голову совсем, ослабив ремешок на шее. Может быть, потому, что волчонку было уютно и тепло, а может быть, исстрадавшись, он был уже благодарен за то, что еще приютили, — он не кусался, не рычал, но на Сеню не смотрел, отворачивая мордочку в сторону и вниз.

Последние метры до своей хаты Сеня шел через огороды с трудом, пересиливая себя, чтобы не лечь прямо на картошку.

Маши не было дома. Сеня посадил волчонка под печку, снял остатки рубахи и брюки, подошел к колодцу во дворе, вылил на себя ведро холодной воды, немного посидел, без мыслей, на срубе и только после этого стал мыться.

...В правление он вошел тихо, как и обычно, и постучал к Алексею Степановичу. Тот отозвался:

— Входите!

А когда Сеня вошел, пожал ему руку.

— Алексей Степаныч! — обратился Сеня. — За волками подводу бы послать.

— Уби-ил?!

— Убил.

И только после того как привезли волков, а народ собрался глазеть на них, обсуждая и восхищаясь, Алексей Степанович оценил и понял, что сделал Сеня: на это могли решиться только три охотника вместе, не меньше. А Сеня постоял перед волками в задумчивости и, не обращая внимания на похвалы и восклицания, тихо произнес, глядя на «знакомую».

— Вот и все... Вот и все...

Ему до боли жаль было расставаться с волчицей.

Гурей понял это по-своему и сказал:

— Это, Семен Степаныч, тебя Господь Бог, обратно, спас.

— Глупый ты, Гурей Митрич, хоть и пожилой человек, — возразил Сеня.

И удивительно: Скворец ничуть не обиделся, а сказал в ответ так:

— Каждому человеку, Семен Степаныч, богом, обратно же, свой разум дан. — Он помолчал и с явной завистью продолжал: — Это, значит, по триста рублей за голову от государства — полторы тыщи, да за шкуры, обратно, не меньше шестисот. Эва! Больше двух тыщ! — Он почесал в затылке, крикнул от зависти и поддернул брючишки, уцепившись одной рукой за переднюю пуговку, а другой — позади. Гурка Скворец очень сожалел сейчас о том, что не он убил волков, и ему казалось, что он вполне мог бы это сделать. Но он только повторил еще раз: — Да-а... Более двух тыщ.

Алексей Степанович дополнил:

— Это не все, Гурей Митрич: полагается премия от колхоза — по овце за каждого матерого волка.

Но Сеня не слушал Гурку. Сеня смотрел и смотрел на «знакомую» не отрываясь и сказал еще раз, тихо, шепотом:

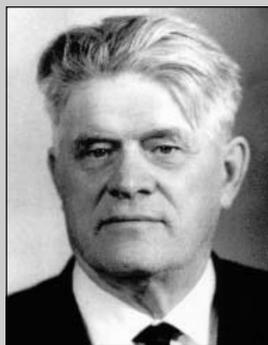
— Вот и все кончено...

Дома он вытащил волчонка из-под печки и задумчиво смотрел на него долго-долго. А рядом сидела восхищенная Маша.

Было это два года назад. Волчонок стал уже большим волком. Никому из чужих он не позволяет к себе прикасаться, кроме Кости. Алексей Степанович все так же бессменно руководит колхозом и часто заходит к Сене домой. Тогда волк смотрит на председателя спокойно, с достоинством.

В общем, если хотите видеть ручного волка, заходите к Семену Степановичу Трошину прямо в колхоз «Светлый путь». Только имейте в виду, днем его не застать — он обязательно на работе. А если охотится, то придется подождать его денька два. Он все тот же, так же любит жизнь — вот эту, нашу, настоящую жизнь, что порою отражается и в капле.





Павел Алексеевич Черенков (1904—1990) родился в селе Новая Чигла Бобровского уезда Воронежской губернии. Начав учиться на физико-математическом факультете Воронежского государственного университета, продолжил учебу в столице. Сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева Академии наук СССР. Научную деятельность вел в направлении оптики, ядерной физики, частиц высоких энергий. При исследовании света в направленном излучении в 1934 году сделал мировое открытие. Лауреат Сталинской премии. Первый советский физик — Нобелевский лауреат (1958).

Павел Черенков

БЫЛИ ПРИЯТНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Прошло полвека с той поры, когда было открыто излучение электронов, движущихся в среде со сверхзвуковой скоростью. За эти годы опубликованы многие сотни работ, посвященных этому явлению. Возникло новое направление в науке, называемое иногда физикой сверхсветовых скоростей.

Замечательные свойства этого излучения находят широкое практическое применение — особенно в исследованиях по физике частиц высоких энергий, где оно используется главным образом как детектор заряженных частиц, например, в счетчиках, спектрометрах полного поглощения и т. д... Излучение стало, таким образом, не только объектом изучения, но и мощным средством научного исследования. Понятен поэтому тот большой интерес, который проявляется в последнее время к этому явлению и, в частности, к истории его обнаружения.

Впрочем, интерес и признание пришли гораздо позже, когда рассматриваемое излучение и все его необычные свойства экспериментально были изучены практически полностью.

Возвращаясь к прошлому, могу сказать, что мне не доставляло особого удовольствия узнавать, что мои эксперименты подчас квалифицировались как занятия спиритизмом, часто проводилась парап-

пель с ошибочным эффектом, закрытым Вудом, пресловутыми N-лучами Блонгло. Правда, иногда были приятные исключения. Я до сих пор с большим удовольствием вспоминаю восклицание крупнейшего ученого этой эпохи Н. Бора: «Замечательно, чудесно», повторенное несколько раз после того, как мною было ему показано одно из самых существенных свойств излучения — его пространственная асимметрия.

Тем не менее атмосфера недоверия к новому эффекту со стороны научной общественности продолжала сохраняться. Наиболее открытым и резким проявлением этого недоверия был отказ журнала «Nature» опубликовать посланную мною краткую статью с изложением сути явления и его основных свойств. По-видимому, это была ошибка редакции «Nature», которая недостаточно серьезно ознакомилась с полученной статьей. Получив отрицательный ответ — и, к счастью, вместе с ним текст статьи, — я, посоветовавшись с Сергеем Ивановичем Вавиловым, тут же перепожил ее в другой конверт и отослал в редакцию американского журнала «Phys. Rev». Там отнеслись к ней более внимательно и довольно быстро опубликовали в очередном номере своего журнала. Это было началом всеобщего признания экспериментально открытого, ранее неизвестного эффекта — излучения заряженных частиц, движущихся в веществе со сверхсветовой скоростью.

Из статьи П.А. Черенкова «У порога открытия»

Возвратившись в кабинет Черенкова, я заметил, кроме письменного стола, шкафа и грифельной доски, низенький столик, на котором шипел электрический чайник и стояли несколько чайных чашек, ваза с яблоками, вазочка с конфетами в цветных обертках, бутылка коньяка и несколько бокалов из красного стекла. Все это предназначалось для скромного панча, который завершился тостом и звоном сдвинутых бокалов.

Черенков, улыбаясь глазами, объявил, что «сделка считается незавершенной», если не будет осушен бокал, который я лишь пригубил в знак почтения к Нобелевскому лауреату... В разговоре во время панча Черенков живо интересовался внешней политикой США. После чаепития все, включая Черенкова, сфотографировались на память. Эту встречу с П.А. Черенковым я считаю для себя большой честью и удачей.

Из воспоминаний Джона Х. Хаббела, сотрудника Национального института стандартов и технологий США.

Как-то разговорившись на репигиозные темы, а П.А. Черенков иногда изумлял окружающих знанием многих библейских сюжетов, Павел Алексеевич прямо сразил нас, твердо заявив, «что теперь у него есть билет... в рай». Мы не поняли смысла этой шутки, пока он, покопавшись в своих карманах, не вынул конверт, из которого достал превосходную цветную фотографию, где он был запечатлен вместе с главой католической церкви Иоанном Павлом II. Это фото было сделано на приеме папой римским нобелевских лауреатов, где во время краткой аудиенции он говорил о необходимости уничтожения ядерного оружия.

...Пандау на лекциях много раз твердил нам: «Электрон излучает по черенковски». Это и есть, пожалуй, самый счастливый билет... в ВЕЧНОСТЬ.

Из воспоминаний о П.А. Черенкове физика-теоретика В.Н. Фетисова



***Виталий Иванович Воротников** родился в 1926 году в Воронеже. Прошел путь от ученика слесаря воронежского паровозоремонтного завода им. Ф.Э. Дзержинского до Председателя Совета Министров РСФСР, члена Политбюро ЦК КПСС. С 1971-го по 1975 год — Первый секретарь Воронежского обкома КПСС. В результате его руководства Воронежская область в 1973 году была награждена орденом Ленина. С 1979-го по 1982 год — посол СССР на Кубе. Герой Социалистического Труда, кавалер кубинского ордена «Солидарность». Живет в Москве, возглавляет Воронежское землячество.*

Виталий Воротников

ЖИЛ И РАБОТАЛ В РАДОСТИ

Воронеж — это святое место, родина. И поэтому для меня лучшего города нет в мире. Я хорошо помню город 30-х годов — это был уютный, красивый, чистый город. Много зелени, садов, парков. Удивительно трудолюбивый, приветливый и участливый народ.

Меня всегда тянуло в Воронеж. С началом 90-х годов я часто бывал в родном городе. И по делам землячества, чтобы помочь советом и делом руководству города в решении разных проблем, в том числе и в Москве. Был на 70-летию авиационного завода. И всегда встреча с Воронежем для меня в радость. Это было. А сейчас мне перевалило за восемьдесят лет — теперь поездки сложнее.

Воронеж — это родина не только моя, но и моих родителей. Отец, Иван Тихонович, из села Хреновские Выселки, а мама, Ольга Захаровна, из села Масповка Пискинского района. Оба похоронены в Воронеже.

Я в первый год, уйдя в отставку, заинтересовался родословной своей семьи. Сделал запрос в архив обкома. И там сохранились документы об отце и его братьях. Все они коммунисты. Участники Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны. Уроженцами области были и мои деды и прадеды. Как же можно не чтить Воронеж?

Но не только родина тянет. А сама жизнь. Ведь там я провел детство, юность, и особенно работа в зрелые годы. И все эти годы были для меня лучшими. Может, сейчас с высоты возраста что-то и переоцениваешь. Но, поверьте, и сейчас я считаю годы, проведенные в Воронеже, лучшими и полезными годами моей жизни. По всем оценкам: заботливое детство, памятная юность, интересная и полезная работа, давшая положительный результат. И особенно мое нравственное состояние от общения с воронежцами, людьми своеобразными, радушными, отзывчивыми, непосредственными, прямолинейными и добрыми, неумоно трудолюбивыми, высокопрофессиональными и по-житейски мудрыми.

Я жил и работал в Воронеже в радость. Мне, думаю, удалось найти контакт с людьми на всех уровнях. И именно это вместе взятое обеспечило успех в развитии экономики и культуры области.

А для меня был еще важен и опыт, который я приобрел в Воронеже, ведь я впервые был там первым лицом. Там я смог проявить себя в самостоятельной работе и нести полную ответственность за результаты своей деятельности.

Мне было легко работать. Все, что мы вместе делали в Воронеже, оказалось нужным, полезным и области, и стране.

Из книги В.И. Воротникова «О времени, о власти, о себе».

...Опять погрузился в воспоминания. Память невольно перенесла меня в Воронеж. Июль 1972 года, первая встреча с кубинцами, с легендарным Фигелем Кастро. Его сопровождали А.Н. Косыгин и К.Ф. Катушев. Эти два летних жарких дня незабываемы. Они были насыщены встречами на авиационном заводе и предприятиях объединения «Электроника», на Нововоронежской атомной станции, осмотрели плантации сахарной свеклы, заинтересовавшие Ф. Кастро. Мне пришлось испытать со стороны Кастро мощный обстрел вопросами на самые различные темы. Возник даже небольшой спор, закончившийся достойно. Особенно удалось оживленная, доверительная беседа А.Н. Косыгина с Ф. Кастро за наспеш организованным обедом на берегу тихой Усманки, куда в нарушение протокола Алексей Николаевич пригласил гостя.

...Огни воспоминания сменялись другими. Пришло время проститься с Воронежем. В июле 1975 года я приступил к работе в Москве. Состоялось решение ЦК, на пленуме Воронежского обкома партии меня освободили от работы. Передал дела В.Н. Игнатову, а 13 июля вечером вылетел в Москву. Был назначен на пост I-го заместителя Председателя Совета Министров Российской Федерации.

Не буду кривить душой, это назначение пьстило моему честолюбию. Определенный «писк» был — знай наших. Но, честно скажу, расставание с родной областью, с Воронежем было ой каким грустным. Такого богатого психологического климата, таких контактов, поддержки, понимания со стороны товарищей по работе и большинства воронежцев я не испытывал ни до, ни после. Это были самые светлые и результативные годы моей жизни. Разве что Куба — без учета климата, конечно — оставила в моем сердце сопоставимый след.

Но Воронеж — это навсегда любимый город, с которым я не теряю связи до сих пор. И горжусь тем, что являюсь его Почетным гражданином.

Из книги В.И. Воротникова «Гавана — Москва. Памятные годы».



Юрий Данилович Гончаров родился в 1923 году в Воронеже. Автор более тридцати книг, среди которых «Повесть о ровеснике», «Дезертир», «Целую Ваши руки», «Верность и терпение», «В голубом блеске Алтаира». Лауреат премии Союза писателей РСФСР, Государственной премии РСФСР, Воронежской областной премии им. А.П. Платонова. Участник Великой Отечественной войны, кавалер многих правительственных наград. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Юрий Гончаров

ВОЙНА

Рассказ

1

Мглистые сумерки, мешаясь с холодным сырым туманом, быстро густели. Покатая крыша вагона стала мокрой, скользкой.

Худой, давно не бритый солдат, расположившийся по соседству, долго и неумело увязывал левой рукою вещевого мешок (правый рукав, пустой и плоский, был припилен к боку булавкой), простуженно кашлял, сморкался, потом тронул Андрея за плечо:

— Проснись, лейтенант! Подъезжаем...

— Я не сплю, — ответил Андрей.

Прикрывшись от ветра поднятым воротником шинели, засунув стынущие руки в рукава, он лежал, привалившись спиной к железной вагонной трубе, и смотрел на мокнувшие под пасмурным небом поля, через которые тащился поезд, — заброшенные, непаханные, в грязно-рыжей сорной траве.

Осень... Уныл и безотраден был вид покинутой человеком земли, тоскливое чувство рождали низкое хмурое небо, крик паровоза, звучавший печально, словно жалоба, и безответно гложший в тумане.

Потянулась пойменная низина. Дернистый чернозем разбух от обильных дождей, переполненная река местами вышла из берегов, затопила луга. Как неизбежные при-

надлежности пейзажа, к которым за эти годы почти до безразличия пригляделись глаза, над водой торчали оплетенные рваной проволокой кольца заграждений, стволы подбитых орудий, чернели танки — в сквозных пробоинах, измятые, сделавшие свое недолгое дело и брошенные ушедшей на запад войной. Круглыми озерцами блестели бомбовые воронки.

С гулом на поезд надвинулся мост, по сторонам замелькали косые железные балки, звонко и четко защелкали колеса на стыках. Андрея обдало острой речной свежестью, вмиг, до дрожи в теле, прохватившей насквозь его тонкую шинель.

Теперь до города оставалось совсем недалеко. В мирное время дачная «легучка» покрывала это расстояние в четверть часа. Но плотно пострадало от бомбежек, его залатали наспех, на скорую руку, и поезд еле полз, недоверчиво ощупывая рельсы...

2

Сумерки сгустились до полной темноты, прежде чем мимо вагонов поплыли силуэты вокзальных сооружений и огни стрелок.

— Ну вот и дома!.. — сказал однорукий солдат то, что подумал про себя Андрей, когда вдоль состава, от паровоза к хвосту, пробежал железный лягз буферов, и поезд, вздрогнув, остановился. Простая фраза, но что было в ней заключено!..

Андрей закинул за спину вещевого мешок, взял в руку палку, выданную в госпитале, и вслед за солдатом стал спускаться с крыши по узкой железной лестнице, осторожно ставя негнущуюся ногу на тонкие прутья перекладин.

Итак, он вновь был в родном городе после стольких лет военных скитаний, после всего оставшегося за спиной невероятного по тяжести, неизмеримого по расстоянию пути, что нужно было преодолеть, чтобы вернуться сюда, на землю, о которой он так много думал там, вдали от нее, и которую так нежно берег в своей душе.

Это было счастьем, истинным счастьем, которого в военное лихолетье жаждали бесчисленные солдатские сердца, и, наверное, Андрей так и ощущал бы свое возвращение, если бы оно не было возвращением на пепелище...

Фронт был уже далеко на западе, маскировку света в городе отменили, но подраненные электростанции еще не могли давать нужное количество энергии — над платформой горело всего несколько тусклых лампочек, освещаая лишь туманную муть вокруг себя, а платформа и все, что было за ней, тонули в липком влажном мраке.

Поезд остановился на товарной станции, не дойдя до пассажирского вокзала, вероятно, разрушенного и пока не восстановленного. Раньше Андрею не доводилось бывать в этом районе города; он стоял, озираясь, и не знал, куда идти. Мимо, торопясь, толкаясь, переговариваясь на ходу, потоком двигались приехавшие в поезде люди — с мешками на плечах, с корзинами. В темноте не разглядеть ни лиц, ни фигур — живая текучая масса тел. Где-то поблизости находилась трамвайная остановка — Андрей схватил это из долетавших до него обрывочных фраз. Вот как, в городе уже трамвай! Андрей втиснулся в человеческий поток и, натываясь на спины, подталкиваемый сади, пошел вместе со всеми меж угадываемых во мраке пустых, выгоревших внутри зданий, ступая в невидимые в темноте лужи, в перемешанную множеством ног липкую, чавкающую грязь.

Впереди, над косым гребнем стены, — все, что осталось от стоявшего здесь дома, — вспыхнул бело-голубой сполох электрического разряда; слышался скрежет трамвая на поворотном кругу.

Андрей так и не смог определить, куда вышел он с несшей его толпой. Непонятным, чужим и незнакомым было все вокруг: и силуэты разбитых зданий, и пустырь с грудями щебня, с одиноким фонарем, с рельсами, оловянно блестящими в высокой траве, разросшейся среди шпал. Вот только в трамвайных вагонах, помятых, поцарапанных, дребезжавших, с окнами, наглухо забитыми фанерой, почудилось ему что-то старое, довоенное, знакомое.

Внутри вагона слабым накалом желтоватых нитей светилась лампочка, не в силах побороть мрак, запотевшая от влаги человеческого дыхания. Люди, втаскивая мешки, багаж, плотно набивались в душную вагонную тесноту. Андрей, как ни старался, не сумел протиснуться в вагон и остался висеть на подножке, ухватившись обеими руками за деревянный поручень.

Трамвай выполз на прямую, почти без огней улицу; вдоль нее застыли черные, безжизненные громады зданий. Временами на дуге с треском вспыхивали искры, на миг заливая развалины голубым кинематографическим светом. Мелькнули облицованные гранитом колонны, высившиеся над хаосом бетонных обломков, над торчащими из-под навалов гнутыми, перекрученными железными балками, и Андрей, увидевший это в мгновенном трепетном свете, наконец, понял, что за улица, по которой идет трамвай, и стал узнавать город.

На подножке трясло и мотало. Было что-то дикое, фантастическое в неосвещенном, слепом, с забитыми окнами трамвае, с громом несущемся по разрушенному городу, в голубых вспышках трескучих молний, в причудливых, словно из сновидений, очертаниях развалин, нависавших над ущельями улиц. Казалось невероятным, что среди этого сплошного разрушения могут жить люди, и уж совсем было непонятно, где они ютятся, какое жилье примет всех этих пассажиров, что привез переполненный поезд и что едут сейчас, тесно набившись в трамвай.

Возле здания театра, под качавшейся от ветра лампой в воронке желтого абажура, вагон остановился. Несколько человек сошли с площадки и, выйдя из освещенного круга, сразу же пропали в темноте. Театр был пуст, выжжен внутри. Где-то вверху, на гребне стены, покачивался и скрипел лист кровельного железа.

Трамвай пересек площадь. Ее перегораживал железный забор врытых в землю противотанковых надолб. Дальше должны были стоять здание банка, многоэтажный дом универмага, но Андрей увидел только темные холмы на тех местах, где они прежде находились.

Изредка делая остановки, трамвай прошел главную улицу из конца в конец, и на всем ее протяжении Андрей не увидел ни одного целого дома, ни одного здания под крышей, ни одного освещенного окна. Война не пощадила здесь ничего. Все было сожжено, искромсано, повергнуто в прах...

3

На перекрестке, от которого брала начало улица, где когда-то Андрей жил, он слез. Вагон двинулся дальше, звон и дребезжание его скоро замолкли.

Мертвая тишина оцепенения и заброшенности стояла вокруг.

Туман окончательно рассеялся, холодный осенний воздух был чист и прозрачен. Вверху, за облачной пеленой, светила поднявшаяся луна; размытые белесоватые пятна то разгорались робко, то меркли среди раздерганной клочкастой ваты, волокущейся по небу.

Андрей вступил на свою улицу.

Ему сразу же пришлось замедлить шаг и сойти с тротуара на мостовую: обломки рухнувших стен преграждали путь. Он снова ничего не узнавал, как будто никогда прежде не бывал тут. Не сохранилось ни одного дома, ни одного забора, ни одного тополя из тех, что росли вдоль тротуаров. Только навалы битого, искрошенного кирпича, стойкий, до сих пор не выветрившийся запах гари, ступенчатые пирамиды печных труб. Они мрачно, скорбно высились среди развалин, словно надмогильные памятники, вызывая впечатление кладбища.

Но не это так поразило Андрея, а сорная трава — густая, жилистая; она вымахала на добрый метр прямо на мостовой, укрепив корни между булыжниками, — поразила стремительностью, с какой запустение и заброшенность пытались стереть все следы человеческого существования. Трава уже пожухла, зачерствела, высеяла семена, дабы с весны тут встало новое поколение, умноженное и еще более могучее. И так еще мало было в городе жителей, так редко проходили люди по этой улице, что только узкая тропинка была протоптана в щетине властно разросшихся сорняков.

Андрей брел по тропке, спотыкаясь, прихрамывая больше обычного на уставшую, негнущуюся ногу, стуча по булыжникам своей палкой.

Прямо в лицо вспыхнул яркий кружок света, заставил зажмуриться.

Прикрывшись ладонью, Андрей различил фигуру остановившего его человека, тускло поблескивавший металл автомата. Пост.

Луч фонарика скользнул по шинели Андрея, погонам, задержался на палке, зажатой в руке.

— Документы!

Привычным движением Андрей полез под борт шинели в нагрудный карман.

Недоверчивый лучик вонзился в строчки отпускного удостоверения.

— Так... Домой? — произнес дежурный, как бы уясняя смысл того, о чем говорили Андреевы бумаги. Фонарик погас. — Продпункт на Студенческой, в здании, где был медицинский институт. Знаете?

— Знаю, — сказал Андрей.

— Там же и комнаты отдыха для военнослужащих, можно переночевать.

— Хорошо. Спасибо, — поблагодарил Андрей и, уже отойдя, вдруг подумал: а для чего, собственно, дежурному понадобилось предупредить насчет ночлега?

У него заколотилось сердце, и он почувствовал, как гнетущие предположения, с которыми он ехал сюда и шел по улицам, которые от минуты к минуте все росли и росли в нем, становятся самой настоящей, очевидной действительностью...

Его дом был совсем близко. Вот старый вяз у края тротуара. Ему, должно быть, сто лет, он многое видел на веку — и войны, и революции, уцелел и в этой буре. Только обрублены ветви да расщеплен, продырявлен снарядом ствол. Вот на перекрестке угловой дом. Он был двухэтажным, низ — кирпичный, верх — деревянный, затейливой формы: с мансардами, балкончиками, крашенный в тусклую зеленую краску. Его так и

называли на улице — «зеленый дом». Во дворе на веревках вечно сушилось белье, дом был переполнен жильцами — грузчики, маляры, плотники, их крикливые, постоянно враждовавшие между собой жены, дети всех возрастов. Тут же помещалось общежитие, в нем жили девушки-кондукторши из трамвайного парка, часть дома занимала какая-то контора. И где-то в недоступных постороннему глазу недрах, по-тараканьи забившись в щели, тихо и незаметно ютились «бывшие», которым когда-то принадлежал и весь этот дом, и завод фруктовых вод, расположенный неподалеку: желтые старухи в пронафталиненных салопах, красноносые старички в обтерханных драповых пальто без пуговиц, торговавшие на толкучем рынке гвоздями, примусными иглоками, старыми открытками, пилками для лобзиков и другой мелочью.

От кирпичного низа местами уцелели стены, а деревянная надстройка была сброшена, сдута взрывом огромной бомбы, упавшей на улице, и балки, бревна, полуобгорелые доски громоздились горою, засыпав двор.

Теперь несколько шагов, повернуть за угол, за кусок выщербленной, в пулевых царапинах стены, и он увидит свой дом — четырехэтажный, кубический, без всяких архитектурных украшений, из нештукатуренного красного кирпича.

И хотя Андрей уже знал, что предстоит увидеть, он, делая эти последние трудные шаги, с сердцем, готовым разорваться от напряжения, наперекор очевидности все же продолжал испытывать упрямую, не желавшую гаснуть надежду...

4

На первый взгляд могло показаться, что дом счастливо избежал общей участи: его темный куб отчетливо рисовался на фоне неба. И в этот первый короткий миг что-то острое и радостное кольнуло Андрея изнутри. Но подобно тому, как гаснет слабая искра, задутая порывом холодного ветра, так погасла и эта короткая, успевшая лишь слабо взблеснуть радость, потому что в следующее мгновение Андрей разглядел, что перед ним — только стены, обглоданные бушевавшим внутри пожаром и замыкавшие в своем четырехугольнике лишь черную пустоту.

Медленно волоча ногу, Андрей пересек улицу, вошел во двор через распахнутые настежь и криво висевшие железные ворота с прутьями, перешибленными бомбовыми осколками.

И, словно приветствие себе, он услышал шелест по-осеннему жесткой и поредевшей листвы тополей, росших во дворе. Этот шелест тронул Андрея, и он, как на что-то живое, близкое, умевшее чувствовать и понимать, посмотрел влажными глазами на деревья, которые когда-то, очень давно, мальчишкой, сам сажал гибкими тонкими прутиками с клейкими почками и поливал потом водой из-под крана.

На стволах белели глубокие царапины от пуль и осколков, со стороны дома тополя засушило огнем пожара, но так еще велика была в них жизненная жажда, с таким победительным упорством простирали они свои уцелевшие ветви, что, несмотря на ранения и увечья, как и прежде, вызывали впечатление только молодости, силы и свежести. И еще что-то скромно-горделивое было в них — оттого, что выстояли, не сдались в борьбе...

Андрей приблизился к подъезду.

Наполовину сгоревшая дверь, обугленная, черная, едва держалась на ржавых петлях.

Он толкнул ее, она со скрипом подалась. Густой, едкий, застарелый запах гари ударил в лицо.

Лестница, засыпанная хрустящим под ногами шлаком, вела наверх и обрывалась на высоте второго этажа.

Придерживаясь за шаткие, покрытые окалиной перила, Андрей поднялся по ступенькам, как если бы шел к себе домой, и остановился у края бетонной площадки, над пустотой выжженного дома, как раз там, где должна была быть дверь в его квартиру.

На плоскости противоположной стены, обращенной на улицу, зияли прямоугольные окон. Андрей сразу же узнал окно столовой, спальни, а слева от площадки, на которой он стоял, в дворовой стене — окно кухни.

Все внутренние перегородки рухнули, не осталось ничего, что подсказало бы планировку, но мысленно Андрей видел квартиру во всех деталях, со всей обстановкой, видел даже узоры трафарета.

Он посмотрел вокруг, вверх. Из уходивших ввысь стен торчали обломки балок, обрывки водопроводных труб. Зацепившись ножкой, на высоте четвертого этажа висела металлическая кровать.

Все это вдруг как-то странно накренилось, качнулось в глазах Андрея. Чтобы не упасть, он отошел от края площадки, спустился, опираясь на перила, по лестнице и, не дойдя донизу, сел на ступеньку, вытянув прямую, как палка, ногу.

Все, что составляло этажи и не смогло сгореть, провалилось внутрь здания. Среди битой штукатурки можно было разглядеть раздавленную домашнюю утварь, раковины кухонных умывальников, сплюснутые тазы и ведра. Эти вещи когда-то жили своей полезной жизнью, тесно связанной с жизнью людей и не отделимой от нее, верно и преданно служили долгие годы, составляя принадлежность, убранство квартир. Теперь это был ржавый мусор. Андрей смотрел в какой-то подавленности, заторможенности чувств. Только ли это погребено здесь в толще промоченного дождями шлака?

5

Он понимал: надеяться больше не на что — в черных от сажи, пропахших гарью стенах, в пустых глазницах окон заключена беспощадная, безжалостная ясность...

Он вспомнил, как на втором году войны, получив короткий отпуск, приехал с фронта в город и попал под бомбежку, как бежал по улице домой, переполненный тревогой за мать, с таким чувством, как будто его присутствие могло ее защитить, и осколки зенитных снарядов звонко щелкали по булыжникам мостовой, по асфальту тротуаров, по ветвям деревьев, под которыми он бежал... Вспомнил, как потом стоял на лестничной площадке, на том же самом месте, где стоял только что, и стучал кулаком в дверь. А дом был пуст, оставлен жильцами, спрятавшимися в убежище, и гудел, дрожал от пальбы зениток, словно от порывов шквальной бури...

Он вспомнил, как уезжал по мобилизации в армию, как, поцеловав мать у порога квартиры, упросил не ходить с ним на вокзал, чтобы не длить тяжкую для него и еще более для нее муку прощания. С чемоданчиком в руке он спустился по этой самой лестнице, по ступенькам, на которых теперь сидел, и, дойдя до угла, оглянулся и посмотрел на дом. Посмотрел взглядом, каким моряк, отправляющийся в долгое и опасное

плавание и не знающий, суждено ли вернуться обратно, глядит на оставшуюся за кормой родную гавань...

Он вспомнил и другие дни, связанные с этим домом на пересечении двух улиц, с домом, в котором он сделал первый в жизни шаг, произнес первое слово. Вспомнил и тот, казавшийся теперь страшно далеким день, когда все это началось...

6

Он врезался в память, словно гравюра в металл, — отчетливо, резко: каждый штрих, каждая черточка.

Накануне, в субботу, был сдан последний экзамен, и вечером всем классом устроили пирушку. Пили вино, пели, танцевали под патефон. Кто-то придумал кататься на лодках, и всей оравой, шумной, веселой, хохочущей, захватив недопитое вино, отправились на реку.

Обратно шли уже на заре, серединою проспектов и улиц, через парки и скверы, под сенью каштанов и тополей — утомленные, охрипшие от песен и смеха, в свете поднимавшегося солнца. Навстречу то и дело попадались такие же возвращавшиеся с ночных пиршеств, с прогулок за город компании — девушки с букетами цветов, ребята с гитарами, дурашливо повязанные девичьими косынками, из последних сил все еще пытающиеся шутить. На улицах слышались смех, громкие разговоры, нестройные голоса затягивали песню и, не допев до конца, смолкали. В это раннее утро город был во власти выпускников. Наверное, такая легкость и безоблачность на душе бывают только раз в жизни! Уже не школьники, уже кое-что достигнуто, преодолена первая, важная ступень. Сколько волнующего своею новизной чувства самостоятельности, к которому невозможно привыкнуть!..

Андрей открыл наружную дверь предусмотрительно захваченным ключом, на цыпочках, чтобы не разбудить маму, прошел в комнату, которую делил со старшим братом Женей. Тот спал, заложив под голову руки. Одеяло сползло на пол, он лежал в одних трусах — бронзовый, стройный, красивый.

На своей кровати Андрей нашел мамину записку: «Захочешь есть — на столе под газетой молоко и хлеб». Ни есть, ни спать не хотелось.

Окно на улицу было распахнуто настежь, слышалась звонкая переключка давно пробудившихся воробьев. Андрей взобрался на подоконник.

Всходило солнце. Небо золотилось, было полно разгоравшегося мягкого сияния, и все, что открывалось Андрею с высоты в свежем утреннем, еще не затуманенном пылью воздухе, независимо от расстояния было видно во всех мельчайших подробностях — каждый булыжник мостовой, каждый проводок антенны, перечертивший золото зари, каждый лист на могучих тополях, зелеными грудями поднимавшихся над крышами, и все это, точно в предчувствии какой-то близкой и страшной перемены, как будто хотело сказать: взглядишь, будь внимателен, вот мир, в котором ты живешь, он живописен и прекрасен в каждой своей мелочи, пойми, почувствуй его красоту, запомни...

В глубине улицы пышная листва тополей сливалась в одно сплошное море зелени, захлестнувшей одноэтажные домики, дворы, заборы, сараи. О, это безудержное буйство листвы и трав памятного лета! В мае шли дожди, было холодно, и все задержалось в росте. Но в июне наступили теплые дни, и зелень, словно торопясь наверстать упущенные для жизни сроки, словно гонимая наружу какой-то вдруг проснувшейся силой, хлыну-

ла со всех сторон. Дотоле голые деревья оделись за неделю. Ветки никли, отягощенные тяжелой, сочной листвой, до черноты темной в тени и изумрудной, переливающейся лаковым глянцем на солнечном свету. Улицы погрузились в зеленый дымчатый полумрак. В парках стояла пахучая влажная духота. Даже на взгляд была ощутима та непомерная тяжесть, какую пришлось держать стволам, и казалось, еще немного, и они не вынесут, станут с треском ломаться, как в февральские метели под тяжестью мокрого, липучего снега.

Солнце поднялось над крышами. Приветствуя его, воробьи подняли в листе гвалт и возню. И вдруг незаметно, неизвестно откуда наплыла и повисла над домом кремовая тучка, и брызнул дождь, весь просвеченный солнцем, шумный, веселый, сверкающий. Он тут же кончился, тучка поплыла дальше, а на каждом листе, на нитях проводов, на фарфоровых чашках изоляторов повисли и зажглись острым алмазным блеском прозрачные капли.

Так молодо, так солнечно, так радостно засверкало все вокруг, и так это было в лад с тем, что испытывал Андрей!..

Экзамены в институт предстояли только в конце августа. Впереди после напряженных трудов было полтора месяца заслуженного отдыха. Полтора месяца безделья, беспечности, купаний в реке, поездок на велосипеде в лес...

Улыбаясь, он спрыгнул с подоконника, быстро разделся, лег, с наслаждением вытягиваясь, в кровать и сразу же уснул — весь наполненный еще непережитым своим счастьем, чувством свободы, свежестью и радостным сиянием этого занимавшегося утра...

7

Разбудил его Женя.

— Вставай, — сказал он. — Слушай.

Брат был хмур и озабочен.

Мать, бросив кухонные дела, стояла, застыв, в двери, с полотенцем через плечо, с тарелкой в руках.

Босой, растрепанный, в майке, выбившейся из трусов, Андрей поднялся с кровати и вначале никак не мог понять, о чем говорит включенный на полную громкость репродуктор.

За окном все так же тяжелыми пышными грудками зеленела листва, в воздухе плыл тополиный пух, и кое-где еще посверкивали невысохшие дождевые капли. Все было, как несколько часов назад, и все было иным: что-то неуловимо изменилось, сдвинулось, это был уже другой мир, вызывавший совсем другие представления, безвозвратно отделенный от того, утреннего, резкой чертой, которую проводило радио.

Слушали молча. Что-то общее, объединявшее было запечатлено на лицах. И в то же время у каждого было еще что-то свое, сокровенное, личное — мать растерянно, с выражением беспомощности пристально глядела на сыновей, Женя был бледен, но, как всегда, сдержан, чуть-чуть замкнут, сосредоточен.

Андрей чувствовал только одно — в эти минуты бесповоротно ломается, рушится его судьба и поворачивает на совсем иную, полную неизвестности дорогу...

Но страха не было, как не было и уныния. Он был слишком юн тогда, неопытен, чтобы понять всю серьезность, трагизм разразившихся собы-

тий, слишком верил словам, еще нельзя было разглядеть конкретные черты того, что вторгалось в жизнь, в каждую семью. И конечно, не было мысли о бесконечной длительности нагрянувшей беды, о четырех изнурительных годах, о том, что огонь войны коснется и этих стен...

Потом из репродукторов гремела музыка.

Остаться дома было невозможно. Тянуло в школу, к товарищам, еще куда-то, где много людей.

Женя, наскоро одевшись, побежал на завод.

Вышел и Андрей.

Еще были те, кто не слышал радио и ничего не знал.

В воротах встретился старик Козлов, машинист, живший на первом этаже. Он шел с базара — у него болела жена, он сам ходил по воскресеньям за продуктами, — нес корзинку с овощами, блюдечко с бруском масла, прикрытое пергаментной бумажкой. Андрей сказал ему: «Война!» Мимо бежали дети, они тоже крикнули: «Война!» И у Козлова дернулось, побледнело, страдальчески исказилось лицо, и блюдечко с маслом, выскользнув из пальцев, упало и разбилось о камни...

Марши, марши... Они гремели весь день, до самого вечера, до первой сводки. Ее слушали жадно, никто ничего не понимал: войска отступают, противник превосходит силами, теснит, прорыв в районе Кальварии...

А через неделю на Андрее была уже гимнастерка, широкие галифе, грубые сапоги, пахнущие кожей, варом, армейским складом, и петлички курсанта военно-воздушного училища...

Где-то, подравшись, запищали крысы, метнулись, шурша, по щепню в разные стороны.

Андрей закоченел на сырых, холодных ступенях. Он сидел уже долго — час, может быть, больше, он потерял представление о времени. Надо было позаботиться о ночлеге. Предусмотрительность постового оказалась вовсе не лишней...

Он выбрался из дома, прошел опять через ворота, улица была погружена во мрак и молчание.

Минует время, город, конечно, поднимется вновь. Жизнь побеждает — таков закон бытия. Победит она и на этих улицах. И потускнеет, уйдет в далекое, небеспокоящее прошлое сегодняшней горький день. Люди не любят вспоминать о плохом. У человеческой памяти врожденное свойство — освобождаться от неприятного и мрачного. И она охотно оказывает людям эту услугу. Сколько раз уже так бывало: затягивались, сглаживались шрамы, оставленные войной. Вырастало новое поколение, не нюхавшее тошнотворного трупного смрада, представлявшее войну как одну сплошную героику...

Неужели и вправду поблекнет все, что приняли людские души? Забудутся обугленные стены, печные трубы, тоской хватающий за горло запах пепелищ? И то, как выли в поднебесье бомбардировщики, с какой безмерной мукой в стекленеющих глазах умирали солдаты на вздыбленной горячей земле?

Солдаты, солдаты, серые шинели... Сколько их было рядом с ним за эти годы! Пожилой, семейный народ, с сединою, с мозолистыми трудовыми руками — крестьяне, рабочие, соль русской земли, сама матушка-Россия... И парни, чья жизненная нить обрывалась, не размотавшись и до половины. И совсем мальчишки, его одногодки, безусые, стриженные, как первоклассники, — им досталось пробовать жизнь прямо с ее самого горького края...

Дорого оплачена тишина над израненной землей!

О, если бы всегда и всюду, за любыми своими делами, за любыми радостями и заботами люди помнили о пронесшейся беде, помнили бы вот с этой нестерпимой остротой, что режет сейчас сердце! Наверное, войны больше никогда не смогли бы врываться в человеческую жизнь, губить ее, уродовать и ломать...

9

Вблизи перекрестка Андрей едва не столкнулся в темноте с женщиной, посторонился, давая дорогу, невольно оглянулся на нее: первый прохожий, встреченный им на улицах, первый житель лежавшего в руинах города.

Женщина, миновав Андрея, тоже обернулась и, остановившись, смотрела ему вслед. Вдруг она тихо, не для него, а пока только для себя, лишь предполагая, изумленно-неуверенно произнесла:

— Андрей!

Секунду они стояли неподвижно. Андрей шагнул к женщине.

— Кто вы? — спросил он. Голос его сел, оборвался. В темноте он мог различить только, что женщина тонка, худа, ниже его ростом, скорее девушка, и очень молоденькая. Голова повязана платком, на плечах тонкое пальтишко.

— Я Галина... Андрей! — воскликнула девушка, окончательно его узнавая и убеждаясь, что не ошиблась. — Андрей, ты!..

С порывистостью, в которой проглянуло что-то большее, чем просто радость от случайной встречи со знакомым, она, подавшись к Андрею, протянула руку, коснулась ворсистого сукна его шинели.

— Галина?.. — спросил Андрей, силясь взглянуть в лицо девушки. Ни в доме, ни в классе не было ни одной Галины.

— Неужели забыл? Лужникова... Из «зеленого дома»... Помнишь?

— А-а... Галя!

В памяти смутно, словно в дымке тумана, возникла бледненькая девочка с жидкими каштановыми косицами, приходившая иногда во двор играть со сверстницами. Она была робка, застенчива, всегда плохо одета — застиранные платица, штопаные чулочки. В кругу девочек, которые были более развиты, смелы, бойки, она держалась незаметно, больше в стороне, терялась, когда с ней заговаривал кто-нибудь, к кому она не привыкла, молчала и только смущенно улыбалась в ответ. Беззащитностью ее пользовались и часто обижали. Нести обиды ей было некому: отец не жил с семьей, мать целыми днями работала. Поплачет где-нибудь в уголке, размазывая по лицу слезы грязной ладошкой, и, скоро простив зло, снова идет к детворе.

Став постарше, в возрасте, когда девочки уже обращают внимание на платица, наружность, она, следуя за другими, в пробуждающемся женском инстинкте тоже стала заботиться о своей внешности, принаряжаться, насколько позволяли скудные возможности. Это были наивные, бросающиеся в глаза попытки — глянцева лента в косах взамен прежней тряпочки, брезентовые туфли — те же, что носила и раньше, со сбитыми каблучками, но тщательно выбеленные зубным порошком. Однажды и для нее наступил праздник — сшили новое платице, синенькое, в белых горошинах, и она с явным намерением «показаться» пришла во двор, аккуратно ступая по камням набеленными туфельками. Она адела от смущения и

удовольствия, под встречными взглядами потупляла блестящие глаза, но голову несла с горделивостью, и даже в осанке проглядывало что-то другое, смелое, — как будто вместе с платьем она приобрела еще и достоинство, равнявшее ее с окружающими...

Вот все, что помнил о ней Андрей. Она была младше его года на три, ничем его не интересовала, он почти ее не замечал. Даже черты лица не сохранились в памяти, он вряд ли бы узнал ее сам, и было удивительно и непонятно, как сумела узнать его она, в такой темноте, после стольких лет, в военной форме, стирающей различия во внешности людей.

Они простояли в безмолвии несколько долгих мгновений друг против друга: Андрей — пока все это старое, полузабытое медленно всплывало из глубины сознания, Галина — вся захваченная своим волнением, даже как будто лишившим ее слов...

10

— Меня точно изнутри толкнуло, не знаю почему... — проговорила наконец она. — Увидела фуражку, мешок вот этот...

В сущности, она была для него совершенно незнакома, как любой другой, встреченный на улице, но это был человек из мира его детства, юности, и Андрей почувствовал, как и в нем поднимается такая же искренняя радость, какой была переполнена Галина. Словно вдруг протянулся живой мостик между ним и тем, что было до нереальности далеким, сразу связав две его жизни в одно целое, сделав прошлое близким, конкретным и осязаемым.

— А я бы прошел мимо... — признался Андрей. — Ты извини, — поспешил он поправиться, не желая обидеть тем, что так плохо ее помнит. — Ты так выросла... Была ведь девчонкой...

— Столько лет... — улыбнулась Галина.

Он подумал, что та, прежняя, Галя ни за что не осмелилась бы заговорить с ним первой, вот так остановить на улице. Совсем взрослая... А раньше казалась такой пугливой, диковатой, даже недалекой... Просто прятался человек, замыкался в себе от неуверенности, робости. Пока не закалила жизнь. Эти годы... Многие они сделали с людьми...

— Ты был там? — указала Галина на черные стены.

— Да, — сказал Андрей. — Все сгорело...

Минута отвлеченности ото всего окружающего прошла, Андрей вновь стоял на своей разгромленной улице, на засыпанном обломками тротуаре, под косыми зубцами кирпичных стен.

— Вся наша улица так... И наш дом... — сказала Галина печально, но без той свежей остроты, с какой воспринимал это Андрей, а как человек уже приглядевшийся, обвыкший.

— Ты здесь живешь где-нибудь?

— Там же. Подвал сохранился.

— И давно?

— Третий месяц. Как город освободили.

— Ты оставалась тут? — Андрей имел в виду оккупацию.

— Да. Ой, что мы пережили! — произнесла она, прижимая к подбородку стиснутые маленькие кулачки.

По фронту, по разговорам с жителями освобожденных сел Андрею было знакомо это нетерпеливое желание пожаловаться, со всеми подробностями поведать про все, что довелось перенести в неволе, — не столько

для того, чтобы найти сочувствие, сколько затем, чтобы хоть рассказом, выговорившись, облегчить давящий груз воспоминаний.

— Что пережили, что пережили!.. — повторила Галина, продолжая сжимать у подбородка руки. — Не пошли, когда наши отступали, думали, скоро вернутся, отсидимся. А фронт как за рекой стал — ни туда, ни сюда. Днем и ночью без перерыва стрельба, все горит! Немцы из города выгоняют, объявили приказ — и чтоб в один день ни души. Что было, Андрей! Только узелок разрешалось на каждого. Гонят, чисто стадо, — палками. Старики, из больниц раненые на костылях... В одном исподнем, даже одежи не дали! А кто сел, не может, в тех стреляют...

Она рассказывала долго, сбивчиво, заскакивая вперед, возвращаясь. Андрей много слышал похожего. Примерно так он и представлял трагедию, постигшую город и его население.

— Из наших кого-нибудь видела? — спросил он про жителей дома. Его точило желание узнать о матери, и он не решался спросить прямо — из боязни получить такой же прямой, определенный ответ, подтверждающий догадки.

— Нет, не встречала.

— Неужели никого?

— Никого.

— Странно...

— Честное слово, Андрей!

Кажется, она сообразила, что прячет он за вопросами.

— У тебя только мама оставалась тут?

— Да. Мама.

— А брат? Еще же брат был. Женя, кажется?

— Он погиб...

— Женя? Ведь он инженер был, ему же, наверно, броня полагалась?

— Он пошел сам сразу, в первые дни...

Броня! Как цеплялись за нее некоторые, и как легко отказался Женя! Без раздумий, без колебаний...

— Такой высокий был, видный... Как же так случилось? Давно? Андрей избегал касаться этой раны; когда приходилось — рассказывал неохотно, скупно.

— Все писал, что в тылу, в запасе... Зачем меня-то обманывал, не понимаю! А потом раз фронтовая газета попалась. Заметка... О награждении посмертно... Фамилия, инициалы...

— Может, совпадение?

— Если бы! Я тут же часть запросил — подтвердили... Тогда написал, чтоб домой не сообщали. Представляешь, матери получить?

— Ой, не говори! — произнесла Галина со страхом, будто подобное было ей знакомо.

Андрей облизнул сухие губы.

— Да, мама вот... — проговорил он, не удержав этого в себе. — Я столько писем разослал по родственникам — может, где у них? Никаких следов...

Приглядевшись в темноте, Андрей теперь различал смутно белешшее продолговатое лицо Галины, в ее глазах — слабый отблеск лунного света, разлитого в облачной вышине. Вдруг он ощутил прикосновение ее тонкой, легкой руки. Она дотронулась до шинели, несколько мгновений ее ладонь лежала у него на груди, потом она приняла руку — и этой робковатой, какой-то чисто женской, неумелой лаской будто сказала, как понимает она тревогу Андрея, как вообще понимает его...

— Ты подожди... Сейчас у многих так... — тихо произнесла она. — Еще мало кто вернулся. Знаешь, как далеко некоторых загнали — к самой границе. А есть — в Германию попали. Это у нас с мамой так получилось, поблизости остались. Из-за обстоятельств...

Она не договорила.

— Когда выгоняли из города, наш дом уже сгорел?

— Нет, стоял. Целенький. Только без стекол. А наш разрушило. Когда немцы вступали. Сразу как ахнуло! Выходы из подвала завалило, водопровод порван, вода хлещет. И вылезти нельзя. Думали, потонем...

— Ты что, работаешь?

— На телефонной станции.

— Значит, телефон действует?

— Даже радио. Уличные громкоговорители пока.

— А почта?

— И почта. Магазины есть — продуктовые, промтоварные. Кино открылось — в подвале под универмагом. Два сеанса в день.

— Вот как!

— Народу только мало. Днем — еще заметно, а вечером — как сейчас, пусто. Первое время страшно было с работы ходить... Ничего, скоро станет лучше.

— Ну, не так уж скоро...

— Почему же? Заводы уже восстанавливают, рабочие с Урала возвращаются. Вот электричество дали, воду. А то без воды совсем плохо было — на речку ходили.

— На речку? — Андрей представил себе этот путь — с ведрами, чуть не через весь город, по кривым улочкам, сбегаящим с крутых бугров.

— А что ж было делать? И хлеба не давали, если в пекарню свой пай воды не принесешь. — Галина засмеялась — оттого, что это было уже прошлым. — Пережили... Ты из армии — насовсем?

— Еще комиссию проходить... Да вообще-то, наверное, чистая... Колено не гнется.

— Ничего, главное — жив.

— Да, конечно... — согласился Андрей.

Эту ставшую ходкой фразу, что произнесла Галина, придумала всеобщая разоренность, и люди, у которых война отняла все, оставив только способность дышать и двигаться, охотно прибегали к мудрости этих слов. Что ж, действительно: быть живым — не так-то уж это мало...

— Ты куда шел?

— Ночевать.

— Где?

— Есть комната для военнослужащих.

— Пойдем к нам, — предложила Галина. — Вот еще, в потемках блукать!

— Адрес я знаю.

— Пойдем!

Андрею самому не хотелось расставаться с ней. Сейчас это было бы непереносимым и страшным — одиночество во мраке, на этих мертвых улицах...

— Я вас не стесню?

— Ну вот, выдумал! Идем! — Она решительно потянула его за рукав. — Давай руку, а то еще споткнешься. Видишь, тропка в кирпичках? Иди следом. Только осторожней, тут ямы...

Увлекая за собой Андрея, она легко перескакивала с камня на камень. Ее маленькая горячая ладонь, такая худая, что ощущались все косточки пальцев, цепко сжимала его руку. Она снова была полна возбуждения, как вначале, когда все в ней так и прыгнуло навстречу Андрею, и снова ему померещилось что-то не совсем понятное и простое в ее оживленности, в настойчивости, с какой она тянула его к себе.

Где-то далеко громыхнул взрыв, прокатилось эхо — будто что-то массивное пролетело над городом и тяжело рухнуло на землю в противоположном краю.

— Это мина, — сказала Галя. — Немцы оставили. Саперы их тысячи сняли, да разве все найдешь? Сколько людей побило!

Одoleвать завалы, через которые они перебирались, было в пору тренированным альпинистам. Негнуцающаяся нога лишила Андрея ловкости, он спотыкался и, наверное, не один раз упал бы, если б не поддерживала Галина.

— Нагибайся ниже, — сказала она, сводя его по крутым ступеням в подвал.

Андрей редко бывал здесь раньше. Подвал представлял настоящий запутанный лабиринт: петляющие коридоры, пропахшие сыростью, плесенью, мышами, тупички, неизвестно что скрывавшие в своей глубине. Тут ютилось множество разного люда, случались пьяные ссоры, драки. Коридоры никогда не освещались, подвал пугал ребят вечной темнотой, недоброй славой. Стоило спуститься под своды, как, вызывая озноб, в воображении всплывали слышанные и читанные в книжках истории про таинственные пещеры, про замурованные в стенах скелеты.

Отдав одну руку Галине, а другой, с палкой, как слепец, ведя по шершавым, сырым, холодным стенам, чтоб не стукнуться лбом, Андрей шел за девушкой. Она двигалась так же уверенно и свободно, как если бы это было при ярком свете.

— Сюда, — сказала Галина.

Скрипнула отворяемая дощатая дверь; по теплому, застоявшемуся, несвежему воздуху жилья, пахнувшему в лицо, Андрей догадался, что пришли.

— Ты постой так, не шевелись, а то еще ушибешься обо что-нибудь, — сказала Галина, выпуская его руку. — Я сейчас свет зажгу. Мама, наверное, спит, намаялась...

Она пробралась куда-то в глубину, пискнула лампочка в патроне, вспыхнул неяркий желтоватый свет.

Комната была небольшой, со сводчатым потолком. Штукатурка сохранилась на нем лишь местами. На уровне, превышавшем человеческий рост, темнела глубокая ниша окна. Из четырех секций рамы только в одну было вставлено стекло, остальные заложены кирпичами. Фанерная, не доставшая до потолка перегородка делила комнату надвое, закрывая угол с кроватями. Тесный отсек против входной двери, куда шагнул Андрей, служил кухонькой. К стене под нишей приткнулся столик-буфет с нагроможденной посудой: мисками, кастрюльками, стеклянными баночками, бутылками. Подле — широкая скамья, накрытая дерматином, табуретка. Ходики на стене. Циферблат заржавлен, стерт, время можно узнавать только по расположению стрелок.

— Садись. — Галина подвинула табурет. — Да разденься. Здесь тепло. Она прошла за перегородку. Андрей расслышал, как, понизив голос до шепота, она разговаривала о чем-то с матерью — вероятно, та, разбуженная их приходом, спрашивала, кого и зачем привела Галина.

— Что же ты не раздеваешься? — сказала Галина, появляясь. — Не бойся, никому не помешаешь. Ой, какой беспорядок! — смутилась она, кинув взгляд на стол. — Так живем, что не до красоты... Ладно, сейчас прибору...

Она сняла пальто, платок, повесила на вбитый в кирпичную стену гвоздь, оставшись в сереньком, перетянтом пояском платьице.

Наконец Андрей мог ее рассмотреть.

Да, она выросла, вытянулась, но все же изменилась мало: тот же остренький носик, тонкие, будто выщипанные бровки, то же худенькое, бледное, вытянутое вперед личико. Только глаза были уже не детскими — без той прежней чистоты, пригасшие, с тенью, окрасившей глазные впадины, со взглядом, в котором чувствовались зрелость, уже большой жизненный опыт, обретенные вынужденно, много раньше своего положенного срока. Другого гвоздя в стене не нашлось. Андрей повесил шинель поверх пальто Галины, поставил в угол палку. Галина заметила, какое впечатление произвело ее жилище на Андрея.

— Где мы прежде жили, там теперь нельзя: потолок провалился, — сказала она, сдвигая миски и тряпкой вытирая перед Андреем стол. — А здесь раньше кладовка была. Ты не гляди так, тут неплохо. Видишь, даже пол деревянный. У многих куда хуже. Есть — живут в такой сырости, тесноте. Войти страшно, а они живут — с детьми...

— Печку небось сами клали? — вполголоса, чтоб не тревожить за перегородкой Галину мать, спросил Андрей, глядя на прижавшуюся в угол, подле двери, закопченную плитку с горкой мелко наколотых и сложенных для просушки дров.

— Сами... — усмехнулась Галина. — Я глину месила, мама клала. Ничего вышло — и готовим на ней, и греет.

Повернувшись — она стояла у стола спиной к двери, — Галина продолжительно и любовно посмотрела на кривоватую, плохо побеленную печурку: словно приласкала ее взглядом.

За время фронтовых скитаний Андрей научился в полной мере ценить это нехитрое человеческое изобретение, и благодарный, признательный взгляд Галины был ему понятен.

— Антоныч набивался сложить, — сказала Галина. — Он мастер, подрабатывает этим. Да ему поллитра надо было поставить. А поллитра — триста рублей... Помнишь Антоныча? Он наверху жил, старик, нога деревянная...

— Не помню. У вас тут столько народу было — муравейник!

— А сейчас вот только мы, Антоныч с бабкой да еще одна семья... — помолчав, сказала Галина.

Ее руки, наводившие на столе порядок, двигались с привычным проворством. Кожица на них была бледна и как бы просвечивалась насквозь, позволяя видеть переплетение голубых жилок, пальцы были узки и длинные, плечи и локти — по-детски остры, и вся фигурка ее, удивительно тонкая в талии, была хрупкой и слабой. Приходило в голову, что она не по

силам много изо дня в день трудится, устает, а питается плохо — в доме, конечно, не бывает лишнего куска.

В большой алюминиевой миске лежали две нечищенные вареные картофелины. Галина секунду помедлила, будто решая про себя какой-то вопрос, потом подвинула миску Андрею.

Тот понял, что картофелины были единственной в доме едой, и мать оставила их Галине, чтобы та, вернувшись с работы, могла поужинать.

— Нет-нет, — сказал Андрей быстро и категорично, отодвигая миску. — Я не хочу. Правда, не хочу! — повторил он, видя, что она с сомнением смотрит ему в лицо. — Я обедал днем. На продпункте.

— Ну, когда это было!

— Ничего, я сыт, — сказал Андрей как можно правдивей. Никакой голод не заставил бы его взять эти картофелины. — Я закурю лучше, ладно?

— Кури. А то, может, кипятку согреть?

— Да ну, возиться!.. Не надо.

У Андрея ничего не было с собой — ни сахара, ни хлеба, Все, что выдали в госпитале, он съел в дороге, получить по аттестату можно было только завтра.

— Спички дать?

— У меня для этой цели агрегат имеется, — усмехнулся Андрей, вытаскивая из кармана фронтovou «катушку» — обгорелый шнур в металлической трубочке и кремень с кресалом.

Он закуривал, а она, сев напротив него на лавку, с тихой дружеской ласковостью смотрела, как он скручивает папиросу, как высекает искру, и от ее глаз, от всей ее маленькой фигурки в плохоньком платьице, детских тонких и бледных рук, лежавших на коленях, на бездомного Андрея, бесконечно утомленного всем, что осталось позади — дорожными тяготами, впечатлениями последних часов, — веяло согревающей теплотой, чем-то милым, домашним...

Это были не его дом и не его семья, и потому, что это было так, что здесь он был чужим, только острее, до мучительной боли чувствовалось ему, какое великое счастье все это иметь и как нужно это человеку!

Проницательные, полные мягкого доброго света глаза Галины, казалось, все понимали и видели в нем всю смуту, всю тоску его души. Ее взгляд как бы обнажал его, все то сокровенное, что не хотелось показывать. Ему было неловко, стыдно за свою немужскую слабость и вместе с тем хорошо — от этих теплых глаз, от ее безмолвного понимания...

13

— Ты прямо из госпиталя? — спросила Галина.

Андрей, затягиваясь махорочным дымом, кивнул.

— А где лежал?

— В Алма-Ате.

— В Казахстане?

— Да, повидал и Казахстан...

— У, как далеко!.. Сколько ж оттуда ехать?

— Двенадцать суток.

— Трудно, поди, сейчас?

— Не легко. В поездах битком — военные, из эвакуации возвращают-

ся... Добирался как придется: товарняком, на платформах. Сюда вот — на крыше...

— Там, наверное, тепло? — подумав о чем-то, спросила Галина.

— Где?

— Где ты был.

— Тепло.

— Зима бывает?

— Недолгая.

— А у нас!.. — вздохнула Галина. — Не дай бог опять как прошлогодняя, когда мы в деревне жили... Мороз до сорока доходил. Ни одежды, ни обуви. Все тут кинули. А жили в баньке, крыша светится. И топить нечем. Пойдем с мамой коровий помет за стадом собирать, ноги тряпками обмотаем, веревками обвяжем. Мама себе все пальцы поморозила...

На лице ее, как тогда, когда она рассказывала про хождение за водой к речке через весь город, опять появилась странная полуулыбка, так не вязавшаяся со смыслом ее слов, — какое-то удивление перед тем, что оказалось возможным вынести, удивление беспредельностью человеческих жизненных сил.

— Ты лейтенант? — спросила Галина, разглядывая на плечах Андрея выгоревшие, с потускневшей окантовкой погоны.

— Как видишь...

— Ордена... «Звездочка», «Знамя»... А это?

— Это медаль... За Сталинград.

— Ты и там был?

— Пришлось...

— Служил в пехоте?

— Вначале в авиации. Пока здоровьем годился.

— Да, я помню... Когда тебя призвали, твоя мама говорила, что в летное училище.

— А ты помнишь мою маму?

— Очень хорошо. Я ведь к ней в библиотеку ходила за книжками. Я даже помню, — вдруг сказала она, словно признаваясь в чем-то, что надо было бы скрывать, — как ты уезжал в армию. У военкомата вас построили, с чемоданчиками, стриженных, и повели. На станцию. А я следом шла, смотрела...

— Первого июля... — сказал Андрей, вспоминая тот далекий день, вокзальную площадь, набитую мобилизованными, провожавшими, пестро вымазанные охрой для маскировки вагоны, в которые их погрузили.

— А ты меня не видел, — сказала Галина. — Ты... — Она помедлила, очевидно, колеблясь: говорить или нет. И потом dokonчила, явно не так, как хотела сначала: — Ты вообще нас не замечал, девчонок...

Андрей курил, шурясь, следя, как перед его лицом клубится, подымается вверх табачный дым.

— Что ж теперь будешь делать?

— Не знаю... — подумав, откровенно признался Андрей.

— Ничего, поступишь работать, учиться. Куда-нибудь на вечернее. Многие так делают. Не пропадешь! — уверенно и серьезно закончила Галина, будто не Андрей, а она была старше и опытней и лучше понимала, как надо теперь ему построить жизнь.

Андрей усмехнулся — над тем, как быстро и просто Галина решила его судьбу...

Он долго следил за причудливо выгибавшейся дымной прядью. Там, на фронте, он все время шел как бы по краю, изо дня в день, из часа в час, и так легко было соскользнуть — на половине вдоха, на полуслове... Миг — и вот его уже нет, исчезновение еще одной короткой жизни в водовороте войны, никого бы не удивившее, замеченное немногими и быстро заслоненное новыми смертями и новыми событиями. Будни войны... Они требовали мужества, выдержки, крепких нервов.

Кажется, он сумел этому научиться. Без холодка на сердце слышать повист пуль, за пять минут до атаки твердыми пальцами, не просыпав ни крошки махорки, свернуть в окопе папиросу, первым шагнуть вперед... И даже когда казалось: все, он подошел к своей последней черте — и тогда самообладание не изменяло ему.

А сколько их было — этих мгновений, и минут, и долгих, томительных часов, когда не только сознанием, но всем существом своим он ощущал эту последнюю, роковую черту. В июле сорок второго он горел в бомбардировщике, машина разваливалась, а до земли оставались метры, высоты уже не хватало, чтобы воздух успел надуть парашют. Это просто чудо, что, когда он вывалился из люка и рванул кольцо, и засвистел ветер, и понеслась, приближаясь, земля, внизу оказался глубокий, с отвесными склонами овраг. Немцы искали его потом, и, стиснув в потной руке пистолет, ловя слухом голоса, он лихорадочно старался припомнить, сколько в магазине патронов, чтобы не ошибиться, когда придется стрелять, и оставить один себе...

Сталинград, северная окраина... Потом шли на запад. Снежные равнины, звенящие от ледяного ветра, переправы, ночи без сна... Просторы Украины... Изумрудные от яркой весенней зелени, песчано-желтые от перезревших хлебов, потоптанных солдатами, примятых колесами автомашин и повозок. И непрестанные бои... Им не было числа, они спутаны в памяти, как один нескончаемый, упорный, изнурительный бой.

На окраине деревушки — он так и не вспомнил потом названия, где-то в Галиции, уже за старой государственной границей, — он лежал с простреленными ногами в пыльных лопухах на меже огорода. Деревня выгорела дотла. Яблоки, печеные, сморщенные, висели на дегтярно-черных ветвях. Ходили санитары, подбирали раненых, он видел их, они его — нет, и не было голоса, чтоб окликнуть, он не мог ни пошевелиться, ни привстать. Только и хватило сил поднять из лопухов руку и держать ее, как палку, онемевшую, налившуюся тяжестью свинца, пока не заметили...

Но перед этой жизнью, на пороге которой он стоял, он чувствовал себя невооруженным. Здесь требовалось совсем особое, еще не знакомое ему мужество, тут нужен был другой подвиг. Тот, что ежедневно, даже не сознавая, совершает Галина и все население лежащего в руинах города. Тот, что так буднично творили жители фронтовой полосы, обыкновенные русские люди — седоголовые старики, одинокие старухи, окруженные голыми детьми солдатики — все потерявшие, все на свете испытывшие и пережившие, когда, проводив идущую на запад армию, оставались у нее за спиной на обугленной, еще дымившейся земле.

Он незаметен, невиден, неслышен рядом с громкими событиями войны, но он несомненен, этот подвиг народа, не отмеченный никакими наградами: не опустить рук, придя к золе родного гнезда, не согнуться под

навалившейся бедой, под тяжестью потерь. Жить, когда жить невозможно, начать все с самого начала, как начинало когда-то в древности человечество, — с очага, чтобы согреться и сварить пищу, с землянки, чтобы спрятаться от непогоды, с примитивной мотыги, чтобы вспахать огород и посадить картошку...

Как будто бы просто. Но не потяжелее ли это всего, что нес на себе Андрей до сих пор?

Что он знает, что умеет, на что способен и годен он, двадцатилетний человек войны, в этой новой жизни? Почему-то фронтовикам путь обратно, домой, зачастую представлялся как возвращение ко всему, что было до памятного июньского дня, ко всему дорогому, что отрезала эта черная дата, как будто бы милый сердцам довоенный мир все это время стоял и ждал, нетронутый, где-то там позади... И такой огромной, всезаслоняющей была эта мечта, так нужен был усталым людям прежний покой, что не замечалась вся несбыточность желания, не хотелось знать, что вокруг только развалины, и думать, загадывать про дальнейшее. Только бы прийти... А уж там — сложится. И непременно хорошо, у каждого...

Он тоже представлял иногда свое возвращение так, пока не получил последнего ответа на письма с расспросами о матери...

Вот висит на гвозде шинель, на полу почти порожний мешок, вот палка — и ничего, и никого больше, и только с этим он должен выйти в свою новую, неведомую дорогу.

Пехотный лейтенант... Впрочем, уже и не лейтенант, это тоже в прошлом, теперь это только строчка в офицерском удостоверении, которое нужно сдать. Когда-то давно, в детстве, ему хотелось быть инженером, строителем мостов. Он чертил на ватмане легкие воздушные дуги, даже пытался рассчитывать — со школьной геометрией... В последних классах рисовал: неожиданно для самого что-то вдруг проснулось в нем. Ходил в студию к старику Бучкури, тот ставил перед учениками обыкновенные домашние предметы — утюги, кастрюльки, чайники, и Андрей с изумлением открывал в них красоту пропорций и линий и наполнялся радостью, если после упорных стараний наконец рождалось на бумаге то, что видели глаза. Потом писали красками, у Андрея произошло еще одно прозрение — окружающий мир оказался в тысячу раз тоньше и богаче в своих цветах и оттенках, чем видел он раньше.

Как это страшно далеко — будто происходило не в его, а в чьей-то другой, рассказанной ему жизни...

А может, это не совсем погасло в нем? Может, продолжает существовать, только ушло куда-то в потаенную глубину и ждет там своей поры? Но зачем это сейчас — талант художника? Никому не нужная, бесполезная вещь...

Да, сколько предстоит думать, трудиться, искать — себя, свою дорогу — и ошибаться, наверное, скользить и падать не раз, вставать и снова идти вперед...

Когда-нибудь молодежь будет входить в жизнь легко и просто. Нет, конечно, и у нее будут трудности, ведь так и нужно, чтобы что-то преодолеть и расти на этом, получать закалку. Если путь в гору, на подъем, к вершине, каждый шаг всегда дается усилием.

Но только чтоб не так — из-за парт в окопы, в кровь, в грязь, в безумие войны, только чтоб не начинать с могил сверстников и родных...

— Слушай, — проговорил Андрей с опять подступившим волнением, — Расскажи мне все, как тут вышло. Ну, словом, что помнишь про последние дни. Про маму... Ведь ты же, наверное, встречала ее где-нибудь, видела? Может, знаешь, может, кто из соседей говорил — собиралась она куда-нибудь перед тем, как прийти немцам? Может, удалось ей выехать? Или вот когда из города погнажи, не видел ли ее кто? Вспомни!..

Ему все еще продолжало казаться, что Галина знает больше, чем сказала, что она просто щадит его. Она опустила голову, собираясь с мыслями.

— Знаешь, — сказала она, — все уже так перепуталось.

Он пытливно вглядывался в ее лицо, стараясь прочесть, угадать, что прячется за словами.

— Конечно, видела иногда... — произнесла она, как бы с усилием пробиваясь сквозь толщу нагроможденных событий к дням, о которых спрашивал Андрей. — В очередях за хлебом, помню... Уже бомбежки шли... Очередь станет — сирена! Все разбегаются. После отбоя соберутся — опять! А однажды захватило — и бежать некуда: ихние самолеты прямо над крышами. Все попрятались кто куда: под стенками, у дерева. Я в котельную по порожкам, забила в угол, дрожу. Там много народу было, и мама твоя. Черная шалька на ней, помню, пиджачок парусиновый, сумка базарная, такая. Галина показала руками форму.

— Домиком... — сказал Андрей. — Плетеная...

— Ага, плетеная... Она всегда с ней ходила. Да-а, — задумчиво протянула Галина, уже как-то отвлеченно от главной мысли, видимо, просто вспоминая эту бомбежку и то, что тогда пережила. — Натерпелись мы страху!

— Ну, а потом, когда приблизился фронт? Вот когда уже под самым городом немцы были?

— Тогда плохо стало... Снабжение прекратилось: ни хлеба, ни продуктов... Мы у бойцов выменивали на махорку. Военные в каждом дворе стояли, ну, прямо все сплошь забито было: повозки, машины, раненых полно. Отступали. У кого махорки нет — вещи предлагали, одежду. Только солдаты не брали: на что им это? И у Ольги Ивановны не брали. Помню, раз стоит — белье какое-то, свитер твой серый, ты на каток всегда надевал. Я его сразу узнала...

От сигарки остался крошечный окурок, обжигавший пальцы и губы. Андрей высасывал из него дым, склонив тяжелую голову.

— А потом?

— А потом все и началось. И я уже больше не встречала. Знаешь, такое творилось!.. — прибавила она в оправдание.

Встретившись взглядами, они секунду смотрели друг другу в глаза.

Нет, она ничего не скрывала, взгляд ее был прям и чист, в нем читалось только искреннее сожаление, что она не может рассказать больше.

Андрей рассеянно, механическим движением загасил сигарку и сидел, поставив локоть на стол, подперев голову. Отрывочные картины того, что видел он сам в ту пору войны, что поведала Галина и подсказывало воображение, путаясь, смешиваясь, плыли перед ним...

— Вот я еще что вспомнила, — проговорила нерешительно Галина. — Мелочь, правда... Это вот когда хлеб выменивали... У Ольги Ивановны в руках еще твой шарф был. Шерстяной. Летом-то кто же его возьмет? Верно, ничего не было больше, чтоб поменять...

— Шарф?

— Синий, с белой и красной каймой на концах. Ты с ним в поход какой-то лыжный ходил, еще тебя в газете сняли. Вот-вот, — кивнула она вспомнившему наконец Андрею, — тот самый...

Ее памятьливость на подробности его мальчишеской жизни была удивительна. Ведь ни дружбы, ни даже настоящего знакомства между ними не существовало. И эта какая-то особенная радость при встрече... «Уж не была ли она влюблена? — мелькнуло у Андрея. — Ей было тогда шестнадцать лет, самая пора...»

Он осторожно, испытующе взглянул на Галину, на ее опущенные в задумчивости ресницы, на тонкую, нежную шею в вырезе воротника, на бледные руки, бессознательно разглаживавшие складку платья на коленях. Ну, конечно! Как он мог до сих пор не понять, не увидеть!.. Этот свет ее глаз, эта порывистая радость, всплывшая из глубины всего ее существа, даже то, что после стольких лет она сумела узнать его в темноте, где нельзя было ничего толком рассмотреть, где мог подсказать только инстинкт, необъяснимое чутье помнящей, любящей души, — ведь все это, в сущности, трогательное, искреннее признание. Застенчивое, запоздалое, без какой-либо мысли, расчета, надежды...

Андрей смутился от своей догадки, почувствовал себя перед Галиной как-то неловко, скованно. Пусть бы лучше это так и оставалось невысказанным. Какая-то жалость проскользнула в нем к этой худенькой девочке, сидевшей напротив, к ее застенчивой, детской, сохранявшейся все эти годы влюбленности, которая так бы и осталась неизвестной ему, если бы не сведший их случай.

Какими неожиданностями подстерегает жизнь! А он ведь тогда ни разу и не посмотрел на нее со вниманием... Было ему дело до таких девочек! О, он был горд тогда, полон достоинства, как говорится — драконос... Еще бы, о нем шла слава, он был знаменитостью: отличный лыжник, первая премия на художественной выставке за этюды. Про него даже писали в газетах. Сверстники искали с ним дружбы, мальчишки помладше смотрели восторженно. У него была интересная жизнь, полная всяких событий: школа, спортивный клуб, тренировки, студия, много товарищей, знакомых...

И по тем же улицам, по тем же тротуарам, летом — пыльным, накаленным солнцем, зимой — покрытым коркой слежавшегося, грязно-бурого от копоти печных труб снега, ходила неприметная девочка-подросток из «зеленого дома». У нее была иная жизнь, нигде и ни в чем не пересекавшаяся с дорогами Андрея, даже отдаленно не приближавшаяся к ним, — нелегкая, не очень интересная, с малыми радостями и большими заботами, с ежедневным стоянием в очередях за хлебом и керосином, с подзатыльниками от устающей, раздраженной нуждой матери. Некрасивая девочка, неловкая, диковатая от застенчивости, с длинными, тонкими в щиколотках ногами. Летом — в надставленных, много раз перекрашенных платьях, зимой — с постоянно розовым, влажным от простуды носиком, в дешевом платочке, в бесформенном, купленном на вырост,

с хлястиком ниже талии, пальто. И эта девочка, наверное, скорее согласилась бы умереть, чем признаться, почему, когда она случайно встречается с Андреем, у нее жарко вспыхивают щеки, почему она так быстро и незаметно торопится прошмыгнуть мимо, а потом, спрятавшись за угол или за дверь, смотрит вслед, почему вдруг, увидев что-то в окно, поспешно накидывает на плечи платок и по зимнему морозцу, обжигающему ее голые, в одних шлепающих галошах ноги, распаренные в подвальной ду-хоте, бежит через двор к калитке...

За перегородкой слышались звуки слабого детского хныканья, перешедшего в плач. Заскрипела кровать, голос матери позвал: «Гая!»

— Сярежка!

Гаяина, насторожившаяся при первых же звуках, вскочила с места, бросилась за перегородку.

— Проснулся, мой хороший! Ну, чего расплакался, чего ты ручонками? Неудобно тебе, да? А я тебя вот так положу, на бочок. И спи себе, родненький... — разобрал Андрей ее ласковое, уговаривающее бормотание.

Но ребенок не унимался, кричал, не снижая звонкого, непонятно чего требовавшего голоса.

— Ох ты, горе мое! — вздыхая, сказала Гаяина. — И что ты такой беспокойный!.. Ну, спи, спи... А-а-а, — запела она, беря ребенка на руки.

Она вышла из-за перегородки и принялась ходить взад и вперед по кухне, укачивая.

— Это мой Сярежка, — сказала Гаяина на полный недоумения взгляд Андрея. — Хочешь посмотреть?

Она поднесла одеяльце, раскрыла — Андрей увидел пухлое, в ямочках личико уже замолкшего и опять засыпавшего малыша. Крошечный ротик был сладко сложен, губами он посасывал что-то невидимое и чрезвычайно вкусное. Маленький вздернутый нос вдруг сморщился, за ним сморщилось все лицо, и Сярежка смешно, как-то по-котеночьи, чихнул: «Псик!»

Гаяина улыбнулась.

Она ходила, легонько подбрасывая, покачивая Сярежку, пела ему, совершенно забыв об Андрее. Только одно существовало сейчас для нее в мире — маленький живой комочек, чье тепло с блаженством воспринимали ее руки сквозь одеяльце...

Когда Сярежка окончательно заснул, она унесла его в кровать.

Вернувшись, Гаяина подошла к столу, коснулась миски с картошками.

— Что ж ты не ешь? Уж извини, больше нечего...

— Ну вот, опять... Я же сказал — сыт.

— Тогда я тебе стелить буду. Вот здесь, на лавке, ничего?

— Конечно. Я привык, где угодно.

Они разговаривали, Андрей отвечал, а сам смотрел на Гаяину какими-то новыми глазами и никак не мог освоиться, что она мать, что у нее ребенок... Ведь еще почти девочка — с узенькими плечиками, с полудетской грудью, едва заметной под тканью платья...

Она была уже не такой, как до того, когда заплакал Сярежка: что-то уже отделяло ее от Андрея. Как будто бы все, что возбудило в ней его появление и что при всей своей силе и несомненности было все-таки не той

жизнью, какой она жила, а лишь тенью минувшего, миром воспоминаний — как будто бы все это разом оставило ее, а то, что составляло ее настоящую, подлинную, реальную жизнь, в которой Андрей не занимал уже места, снова приобрело над нею свою власть. И Андрею, неожиданно для самого, стало вдруг грустно...

— Ты замужем? — спросил он наконец.

— Да.

— Где твой муж?

Галина, нагнувшись над лавкой, поправляла сбившуюся дерюжку. Андрею показалось, что она не расслышала. Он повторил.

Движения Галины замедлились, стали неловкими, бессвязными, руки потеряли гибкость. Нагнувшись еще ниже, она продолжала возиться с дерюжкой, хотя поправлять было уже нечего. В ее глазах стоял влажный блеск.

Андрей уже понял, каким жестоким было его любопытство.

— погоди... — проговорила она, распрямляясь и отворачиваясь, чтоб спрятать лицо.

18

Сзади ее худоба была еще заметней: тонкая шейка под узлом собранных на затылке каштановых волос, с продольной ложбинкой, какие бывают только у детей и подростков, острые лопатки. Вся ее слабость, вся ее беспомощность — уже не девочки, но еще и не женщины — были так очевидны, и так наглядна была вся жуткая несоразмерность между ее хрупкими плечиками и тем грузом, который беспощадно взвалила на них жизнь, что у Андрея захватило дыхание. Ему захотелось подойти к ней, сделать что-то хорошее — обнять, может быть, погладить волосы. Но — подобно тому, как она там, на улице, — он, протянув руку, с неумелой, сдержанной ласковостью только слегка дотронулся до ее плеча.

— Если писем нет, еще ничего не значит... — проговорил он, чтобы хоть что-нибудь сказать ей и сознавая, сколь ничтожны и фальшивы его слова.

— Какие уж там письма! — махнула рукой Галина, поворачиваясь и опускаясь на скамью. Она уже справилась с собой, только влажный блеск продолжал наполнять глаза. — Прислали похоронную... Погребен в станице Казанской Ростовской области...

— Он был военным?

— Когда поженились — нет. Призвали уж потом. Ты его знаешь — Боря Ремизов...

— Борька?! — Андрей широко раскрыл глаза. — «Механик»?

— Почему ты так удивился?

Андрей замялся, не зная, как объяснить, чтобы не обидеть Галину.

Это был сверстник Андрея, из того же «зеленого дома», развинченный парень, хулиган. Чуть не в каждом классе сидел по два года, после седьмого бросил учиться совсем, шатался без дела с такими же, как сам, приятелями. Чем занимались, откуда деньги на выпивку, на картежную игру, никто не знал. Одевался Борька по моде «блатных»: маленькая кепочка, сбита на затылок (из-под козырька косо, на глаз — темный чуб), узенький в талии пиджачок, поверх выпущен воротник рубашки, всегда расстегнутой на груди. Брюки заправлены в непрменные хромовые сапоги, жарко надраенные, с голенищами гармошкой. Руки в синей татуи-

ровке, в углу рта золотой фикс — коронка, поставленная на здоровый зуб. Он умел плевать длинной струей, заковыристо ругаться, часто напивался, и, если в «зеленом доме» случалась драка, без него не обходилось.

Потом в его жизни произошел перелом: он поступил на завод, в ученики слесаря, за ним утвердилось прозвище Механик. Притих, стал серьезный, даже заважничал, гордясь новым положением, званием рабочего человека, но с кепочкой и сапогами не расстался. По-прежнему каждым воскресным вечером его можно было видеть в толпе у пивного ларька или у входа в городской сад, в компании, задирающей девушек.

Он и Галина — что могло быть общего? Какой вообще муж мог из него получиться?

— Я знаю, — сказала Галина, освобождая Андрея от объяснений, — про него многие плохо думали. Он и вправду таким был. А потом стал работать, привычки свои кинул... Война остепенила...

— Когда ж вы поженились?

— В первый военный год, зимою. Боря на броне был, завод оборонный, думали, так до конца и останется. Уж голодно было, все по карточкам, даже свадьбу не могли сыграть. Да и время — не до гулянок. Пришли с регистрации, мама поздравила, и все...

— Ты любила его?

Спрашивать было не нужно, но Андрей не удержался, спросил, будто что-то для себя окончательно и бесповоротно отрезая. Галина промолчала.

— А Сережка... — произнес Андрей, догадываясь, что за обстоятельства оставили ее неподалеку от города. — Он там, в деревне родился?

— Ага... Я из города выходила — уж чуть-чуть оставалось. Все с мамой боялись, что прямо на дороге случится. Еле брели — страшно, и сил нет. Только в Листопадовку вошли — и началось. Одна тетка местная сжалась, в хату пустила... Боря так и заказывал сына... — слабо, печально улыбнувшись, сказала она. — Даже имя заранее придумал... Нет, — произнесла она, будто споря с Андреем, — он хороший был. Добрый... Ты просто не знаешь... Мама болела, я работаю, так он сам на базар ходил, покупал, сам готовил. Водку пить перестал, веришь? У них в заводе давали по талонам, возьмет — и на базар, на продукты поменяет. Уж мама — на что была против, и то потом полюбила, как родного...

19

Она замолчала, задумалась, наклонив голову, с горькой полуулыбкой на лице, словно всматриваясь в прошлое, в свое недолгое счастье, которое подарила ей судьба, чтобы тут же обрушить свои удары.

Андрей смотрел на ее опущенную голову, поникшие плечи, и что-то щемящее-щемящее было у него на сердце...

Он жил эти годы войной, видел и знал одну войну; казалось, больше ничего не существовало, не осталось и не могло быть в человеческой жизни. Как странно, как удивительно, что где-то в ту же самую пору люди могли жить какими-то иными чувствами, иными страстями, что к ним могла приходиться любовь и они любили, принадлежали друг другу, ждали детей, пытались складывать свое счастье, хрупкое и ненадежное — так не ко времени, вопреки невзгодам и превратностям. И было в этом что-то трогательное, грустное и мудрое, как в полевых цветах, что, подчиняясь одним лишь законам природы, распускались, когда приходил их срок, и цвели на опаленной фронтовой земле. Их мяли солдатские сапоги, коле-

са пушек, гусеницы танков, они погибали, раздавленные, втоптаные в грязь и кровь, но рядом с погибшими глаз замечал ростки новых — точно отрадный символ извечности и неистребимости жизни...

— Что ж, спать все-таки надо, — поднялась Галина. — Смотри-ка, — взглянула она на ходики, — поздно-то как!

— Только ты особенно не хлопочи, — попросил Андрей. — Что-нибудь под голову, а накроюсь шинелью. Галя! — повысил он голос, видя, как она тащит из-за перегородки всю свою постель: подушку, одеяло, войлочный матрасик. — Ну, зачем это?

— Ничего, я с мамой устроюсь. Потуши свет, когда станешь ложиться. Кривясь от боли, возникавшей в ноге при каждом резком движении, Андрей стянул сапоги, гимнастерку. Самое лучшее сейчас было бы заснуть крепким сном без сновидений, после которого все, что было накануне, теряет над человеком свою непосредственную живую власть. Но Андрей знал, что заснуть как раз и не сможет.

Он повернул в патроне нагревшуюся лампочку, лег на лавку, накрылся стареньким пропахшим подвальной затхлостью одеялом.

— Ну, как тебе там? — заботливо спросила из-за перегородки Галина. — Хорошо, спасибо. Спи.

20

Подвал погрузился в тишину. Не в ту чуткую, настороженную, готовую отлететь вмиг, как непрочный сон, тишину отдохновения, что наступает на земле с приходом ночи, а в оцепенелую, тяжелую, как свинец, непроницаемо-глухую, какая возможна только там, где нет ничего живого, — под толщей каменных пластов, в заброшенных стволах шахт, в бездонных глубинах морей и океанов. Эта тишина угнетала, давила, словно вместе со всем окружающим хотела омертвить и Андрея. От нее становилось не по себе. Жутко было думать о холоде замыкавших со всех сторон стен, о тяжести обломков, придавивших сверху кирпичные своды подвала, о том, что за этими сводами, за навалами щебня — только немые страшные костяки развалин, осенний мрак, сырой свистящий ветер да громохание ржавых листов железа на обгорелых, провалившихся кровлях.

Андрей прислушался: даже дыхание Галины и ее матери не доносилось до него.

И впервые у Андрея нестерпимо заныло, дрогнуло в груди, и что-то расслабляющее вкрадчиво, змеей поползло в душу, стало точить, разъедать изнутри, парализуя волю, лишая мужества.

Он чувствовал: надо обязательно справиться с подымающейся тоскою, она опасна, она — как болезнь, которая может убить, нельзя, чтоб она одолела, взяла над нами власть, и, мучаясь в этой борьбе, изнемогая, как в приступе настоящего недуга, он застонал, заскрипел зубами, завозился и, не в силах улежать на лавке, рывком поднялся и сел, спустив ноги. Одеяло свалилось на пол.

— Ты что, Андрей? — спросила Галина, расслышав шум и его приглушенный, сквозь стиснутые зубы, стон.

Он долго думал, как ответить, потом сказал:

— Ничего, это я так... Курить захотел.

На ощупь свернул сигарку. Красный огонек, потрескивая, замерцал в темноте...

Должно быть, потом он все-таки заснул, но переход от яви ко сну и ото сна к яви совершился для него абсолютно незаметно, он не ощутил протекшего времени — проснулся на той же мысли и с той же болью в груди, будто только на мгновение смежил и тут же открыл веки.

Под сводчатым потолком серел квадратик окна — наверху занимался сумрачный, пепельный рассвет.

Угрюмое оцепенение по-прежнему владело подвалом, но тишина уже не казалась глухой и мертвящей: что-то живое пробудилось на поверхности земли, и сквозь узкую щель окна в подвал просачивались какие-то невнятные, неопределенные шумы, шорохи, слышался непрерывный низкий певучий звук. Невозможно было определить, где находится его источник, далеко или близко, что его рождает, — так гудит шмель или басовая струна, задетая пальцем.

Андрей приподнялся на локте. Потянуло туда, наверх, к робковатому, но все же пересиливавшему мглу ночи свету, к неясным звукам, захотелось немедленно выбраться из немоты подвальных стен, из-под навалившейся сверху каменной тяжести, ощущаемой с почти физической явственностью.

Он оделся, стараясь, чтоб его не услышали, накинул на плечи шинель. По коридору, наполненному черной тушью мрака, по кривым ступеням лестницы вышел во двор.

Уже достаточно развиднелось, все вокруг было хорошо различимо. Холмистые нагромождения обломков потеряли свою фантастичность, зловещий вид — теперь это был просто мусор, который нужно было убирать.

Однотонный далекий звук, пробудивший Андрея, слышался отчетливее. Почему-то вспомнились довоенные утра, когда, спеша, глотая завтрак, Андрей собирался в школу, а Женя, бреясь перед зеркалом, — на работу...

И вдруг он понял: это где-то на городской окраине поет заводской гудок, возвещающая о наступлении нового дня.

Гудок... В нем не было ничего особенного — обычный сигнал, которым начинаются трудовые будни. Но все в Андрее как-то всколыхнулось на встречу его звучанию, почти забытому и такому неожиданному для слуха...

В пение гудка вплелся другой голос, дыхание еще одного завода, к ним прибавился третий — целый хор стройно и согласное звучал в стылом туманном воздухе.

Неподалеку пророкотал автомобильный мотор — по улице пробирался в свой первый рабочий рейс грузовик.

Город жил. Город уже трудился, подымался со смертного ложа, истерзаный, искалеченный, весь в кровоточащих ранах, медленно собиравший силы, будто приговоренный больной, все-таки одолевший кризисную черту.

И голосом своих разрушенных и возрождаемых заводов он как бы сзывал себе на подмогу всех, кому были дороги его политые кровью камни...

1957





БЫЛИННЫЙ СТРАЖ

Владимир Гордейчев

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I

Журнал. Дубинка вырезная.
Собора Пьяного диплом...
Они его живого знали —
вот эти вещи под стеклом.
А нам, в подробностях неведом,
с душой, могучей, как обвал,
он лишь в стихах,
где гнутся шведы,
живым на время представал.
Качались медленно и грузно
музейные колокола...
...А то еще Петрова кузня
у нас в Воронеже была.
Ручник позванивал, и с тяжким
гуденьем молот подлетал,
и снова рушился с оттяжкой,
и жаркий плющился металл.
Сказал кузнец, когда, рассеясь,
остывший пар на стены лег:
— Ковал на славу, Алексеич,
отменный будет якорек. —
Был якорь тот тяжел и влажен,
но, одинаково крепки,
на нем сошлись,
в угле и саже,
четыре дюжие руки.
И вся мужицкая Россия,
не забывая ничего,
заулыбалась: выносили,
совсем как первенца его...

В портах Советского Союза,
победным золотом горя,
на крейсерах торчат из клюзов
оплавленные якоря.
Серьгою свисшие огромной
и камнем легшие на дне,
они с петровским в самой кровной,
огнем испытанной родне.
Все было: беды и победы,
но, высшей славой знаменит,
из всех царей, забвенью не дан,
один в Воронеже стоит.
Ему за труд его пристало
ожить и в нашем далеке
смотреть на город с пьедестала
с тяжелым якорем в руке.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУВШИН

*«В червленом щите золотая гора,
на которой серебряный кувшин,
изливающий такую же воду».*

Герб Воронежа,
утвержденный Петром I

Что стороннему может сказать человеку
этот самый родник, изливающий реку?
Я дотошным пытаньем моим убежден
в том, что это не Олымь, не Россошь, не Дон.
Но «представлено символом, сколь величаво
в крае сем расплеснулись Довольство и Слава,
сколь обильно по Божьему помыслу дан
ток Равенства и Блага для местных граждан...»
Так толкует старинная библиотека
эмблематику из позапрошлого века
в оборотах, которые, я бы сказал,
и новейший могли б выражать идеал.
Только с самого, я бы заметил, порога
мы давай отведем упованья на Бога,
примем то лишь за дело, что в наши года
мы вполне богоравные граждане, да.
Край родной с суховеями, градом и стужей
обживался крестьянской силушкой дюжей,
подвигала народа рабочего длань.
И кувшин этот самый, истекший рекою,
смастерен он такой же бывалой рукою,
чьим дареньем вошли в государственный герб
инструменты рабочие — молот и серп...
Сколь отрадно великой державе глядится
в зеркала родников, бочаги и криницы!

Ток сверкающей влаги, что всеми любим,
изливает мой край из подземных глубин.
На лугу, если жажда меня сокрушила,
я прильну к роднику, словно к жерлу кувшина.
И захлеб моего ликования таков,
будто пью из глубин не пластов, а веков.

Егор Исаев

МОЙ ГОРОД

Равнинный слева, справа крутосклонный
Воронеж парусный, Воронеж окрыленный,
Воронеж от станка до борозды
В бойцах у подвига и с космосом на ты...
Он — боль моя, мой свет, моя отрада
В пределах памяти и солнечного взгляда.

Василий Куликов

ВЕЧНЫЙ СТРАЖ

Пусть ворон черный,
Символ краха,
Парит и вьется в судных днях.
Но город-воин, город-пахарь
Стоит на славных рубежах.

Стоит в красе, былинной силе,
Как верный страж,
Спасая нас...
И может быть, сама Россия
С Воронежа и началась!

Зинаида Терских

1942-й

Рассказ очевидца

А в памяти я все еще бегу.
Морозный снег искрится на рассвете,
И целятся на правом берегу
В меня — девчонку в розовом берете.

Да, целятся. Я чувствую спиной.
Секунда, две... и — ухнули снарядом.
Земля слегка качнулась подо мной,
В снегу осколки зашипели рядом.

Жива, жива! Я встала — и бегу,
И прячусь за стеною.
Стало страшно.
Враги на правом были берегу,
На левом берегу стояли наши.

Тихон Павлов

КОЛЬКИНЫ ЯСЕНИ

Погиб в далекой Венгрии
друг Колька.
Осталась фотокарточка —
и только.

Упал,
роняя верную винтовку, —
и не вернулся
в домик на Чижовку...

Красуются над крышами
поселка
два ясеня,
посаженные Колькой.

Станислав Чернышев

НА ЗАДОНСКОМ ШОССЕ

Гуще — запах полыни,
и робко проклюнулась мята...
На Задонском шоссе
даже травы цветут виновато.
Даже птицы спешат
облететь неуютное место,
где гнетет тишина
и где в горле дыханию тесно.

Нет покоя душе
и не жди тут
душевной отрады...
На Задонском шоссе
умирали когда-то солдаты.
Припадали к земле
побуревшей небритой щекою,
только мертвым бойцам
разрешалось уйти с поля боя.

А куда им идти?
Кто — в металле,
кто — в камне,
кто — в песне,
тут они, на Задонском,
прописаны с памятью вместе.
И опять достаем
довоенного года альбомы:
до чего ж молодых
присылали сюда военкомы!

И того старшину
я совсем не признаю, наверно,
что приходит сюда,
проводя поименно поверку.
Только Вечный огонь
вдруг качнется кому-то навстречу,
и листва отзовется
почти человеческой речью
на Задонском шоссе.

Михаил Каменецкий

МЕМОРИАЛ «ЧИЖОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ»

1

Гремит, тишину разрывая,
Июльского грома удар
Над той остановкой трамвая
С названьем:
«Чижовский плацдарм».

Там слух различает знакомо
Не голос стихии небес,
А залпы военного грома
У дамбы напротив ВОГРЭС.

Из дней, где транзисторов пенье
И телеантенны видны,
Всего восемнадцать ступеней
В жестокую память войны,

Где, вскинув свои автоматы,
Которое лето подряд
Стоят, салютуя, солдаты
Над списками павших ребят.

Стоят, как дозор в обороне,
На правом речном берегу,

Как вечная мысль,
Что Воронеж
Остался не сданным врагу.

Есть правда солдатского счета,
Не знает забвенья она.
Не ради наград и почета
Живым эта правда нужна.

В ефрейторе и командарме
Она, как Россия, одна...
Июль. На Чижовском плацдарме
Громами полна тишина.

2

Печалью бередящей душу,
Здесь траурной музыки нет.
В звенящей тиши здесь приглушен
На списки струящийся свет.

Малыш, подойди к этим плитам,
Хранящим гром боя и гарь.
Все буквы на них алфавита —
Вот твой изначальный букварь.

Поротно и побатальонно
В едином бессмертном строю
Стоят они все поименно,
Кто пал за Воронеж в бою.

Тебе, гражданину державы,
Доверена высшая честь
Той азбуки боли и славы
Великие главы прочесть.

Алексей Прасолов

* * *

По щербинам врубленных ступеней
Я взошел с тобой на высоту.
Вижу город — белый и весенний,
Слышу гром короткий на мосту.
Шум травы, металла звук рабочий,
И покой, и вихревой порыв —
Даль живет, дымится и грохочет,
Свой бессонный двигатель укрыв.
Самолетик в небо запускают.
Крохотные гонят поезда.

Неумность острая, людская,
Четкий бег — откуда и куда?
Объясняют пресными словами,
Отвечают гордо и светло.
Люди, люди, с грузными годами
Сколько их по памяти прошло...
Тех я вспомню, этих позабуду.
Ими путь означен навсегда:
По одним я узнаю — откуда,
По другим сверяюсь я — куда.
Родина? Судьба? Моя ли юность?
Листьями ль забрызганная — ты?
Все во мне мелькнуло и вернулось
Напряженным ветром высоты.

Людмила Горбачева

МОСТ

Немножко неуклюж, стандартно прост,
Он красотой не бил в глаза прохожим.
Да, это был совсем обычный мост,
На тысячи других до мелочей похожий.

Не знаю я, когда построен был —
По более чем скромному проекту.
Одно скажу, что службу он служил,
Соединяя улицу с проспектом.

Здесь шли трамваи, замедляя ход,
Звонком два раза звякнув монотонно,
Ползли трехтонки, плелся пешеход,
И было здесь не место для влюбленных.

Не для эстетов были те места:
Все слишком серо, слишком прозаично,
Они от грома этого моста
Спасались в парк и скверики обычно.

А под мостом гудели поезда
И увозили чьи-то сны и мысли,
Но был он выше этого всегда
Не в переносном, а в буквальном смысле.

Он с неба не хватал, конечно, звезд,
Давно ржавели старые перила,
Но никакой другой, а этот мост
За год я очень сильно полюбила.

За то, что без претензий на успех,
Как говорится, до седьмого пота,
Он скромно выполнял для пользы всех
Огромную и нужную работу.

Его не украшали струи рек.
Отмечу лишь, что при любом сезоне
Он просто выглядел, как честный человек
В рабочем, боевом комбинезоне.

Мосту не страшно было ничего:
Ни дождь, ни град, ни бури, ни усталость;
За чисто внешней серостью его
Спокойное достоинство скрывалось.

Мой вывод будет короток и прост,
И, не тая, открыто говорю я:
Мне б в жизни роль сыграть, как этот мост, —
На большее совсем не претендую.

Ирина Озерова

* * *

Над Воронежем моим летят утки,
Летят утки над землей и два гуся,
И румяная, как летнее утро,
Там частушки распевает Маруся.
Каруселью раскрылась пластинка,
Современное ее чародейство...
Поздней памяти дрожит паутинка,
В ней пестрит, словно бабочка, детство.
Паутинку эту бережно тронешь,
И откликнется далекое эхо...
За Воронеж, за Воронеж, за Воронеж
Мил уехал, мил уехал, уехал...
И живем с тобою розно мы, словно
Перепутать перепутье могли мы
От дряхлеющей Петровской часовни
До безвременной отцовской могилы.
Но когда-нибудь на Севере дальнем
Или в будничной московской квартире
Стану бредить я целебным свиданьем
С этим городом, единственным в мире.
По какой-то небывалой побудке
Вновь для долгого полета проснусь я.
Захватите с собой меня, утки,
Покажите мне дорогу, два гуся!..

Виктор Поляков

ВОРОНЕЖСКИЙ РОМАНС

Под грузом гнутся подоконники,
на голубые вечера
глазеют Левая Суконовка
и Семинарская гора.
Сирень тяжелая, мясистая,
заборы валит на задах,
и свищут соловьи российские
по всем задворкам и садам.
А я сирени наломаю
и, как последний сумасброд,
ее по ветке разбросаю
у всех калиток и ворот.
А самую густую ветку,
держа для форса на весу,
одной задумчивой соседке
застенчиво приподнесу.
Она зардеется улыбочкой
и вдруг обронит с пухлых губ
такое круглое «спасибочко»,
что ухватиться не смогу.
Произойдет в умах сумятица,
за занавесками испуг,
ее «спасибочко» покатится
куда-то под Петровский спуск.
И, прогибая подоконники,
его до крайнего двора
проводят Левая Суконовка
и Семинарская гора.

Евгений Новичихин

ЧЕРНЯХОВСКИЙ

В накрывшем нас трагическом обвале,
В кошмарном и нелепом дележе
Мы так друг друга слышать перестали, —
Не только люди беженцами стали —
И памятники беженцы уже.
Да, слава тоже может быть опальной.
И он, с Россией тяготы деля,
В Воронеже, на площади вокзальной, —
Как будто вновь перед дорогой дальней,
Готовый жизнь свою начать с нуля.
Ах, эти беспокойные вокзалы!
Их столько было в жизни фронтовой!

Побед, утрат — ему всего хватало.
Но много ль на счету у генерала
Коротких улиц Мира за спиной?
Не быть в забвенье имени героя,
Того, кто и за смертною чертой
Готов, как прежде, жертвовать собою,
Живя с народом общею судьбою,
С Отечеством — единою бедой.
И дай-то Бог, Россия, чтоб достало
Нам мира, хлеба и душевных слов,
А если надо — то и пьедесталов
Для всех твоих солдат и генералов,
Для всех тебя прославивших сынов!

Владимир Шуваев

ПИСЬМО НА РОДИНУ

В этом итоговом бремени
Неполучившихся лет
По сердцу мне и по времени
Твой немудреный совет.
Знаю, что время упущено.
Только, уже не на год,
Вызрело самое сущее —
То, что уже не пройдет.
Не растворится во времени,
Встанет со мною — след в след
В этом итоговом бремени
Неполучившихся лет.
Платой за все опоздания
Там, у Чернавской гряды,
Девичьим вздохом прощания
Осень плывет у воды.
Там, где ни в грохоте вечера,
Ни в предрассветной глуши
Так она мной и не встречена —
Главная радость души.
Но и не главными свойствами,
Разом за всю маету,
Все же любил я, по-своему,
Юность прекрасную ту.

Станислав Никулин

ЕСТЬ ГОРОД В РОССИИ...

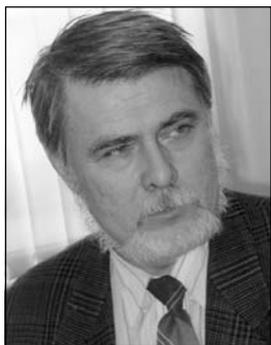
На земле города есть красивей,
Но тебе, словно другу, я рад,
Верный сын синеглазой России,
Неповерженный город-солдат.

Ни врагам ты не сдался, ни бедам,
И об этом со мной говорят
Твои улицы, площадь Победы,
Первомайский задумчивый сад.

И сквозь года, как прежде,
Плывут, плывут вдали
Под парусом Надежды
Петровы корабли,
А в сердце русском вместе
Остались на века
Воронежская песня,
Кольцовская строка.

Никому не отнять твоей славы,
Твое имя всегда на устах,
Древний город великой Державы
На высоких державных холмах.
А с холмов этих веет веками,
Колокольный доносится звон.
Осененный золотыми крестами,
Ты стоишь под ветрами времен.

И где б я только не был,
Со мной любовь одна —
Воронежское небо,
Степная сторона.
Здесь все места святые,
Мы будем их хранить,
Как мы храним Россию,
Которой жить да жить!



Виктор Александрович Шамрай родился в 1948 году. Воронежский историк и краевед, старший преподаватель исторического факультета Воронежского государственного университета. Автор свыше 120 научных работ по истории и историографии Великой Отечественной войны, Воронежа и Воронежской области, в том числе 6 монографий: «Воронежский фронт: история, люди, победы» (2005), «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны. Очерки военной, политической и экономической истории» (2011) и др.

Виктор Шамрай

ВОРОНЕЖ ВОЕННЫЙ

(Очерк истории города:
1941—1945 гг.)

Одним из важнейших периодов многовековой истории Воронежа были годы Великой Отечественной войны. В 1942-1943 годах воронежцы не только выиграли сражение за свой родной город, они совершили великий трудовой подвиг.

К событиям новейшей ратной истории нашего города обращались не только писатели и журналисты Владимир Кораблинов, Иван Сидельников, Юрий Гончаров, Лев Сулов, но и многие историки и краеведы, в том числе Сергей Аброськин, Александр Гринько, Иван Бирюлин, Сергей Филоненко и другие исследователи. Но обобщающий труд по истории Воронежа в годы Великой Отечественной войны еще не опубликован. В мае 2011 года в издательстве Центра духовного возрождения Черноземного края вышла первая на эту тему монография «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны». Ее автор — старший преподаватель исторического факультета ВГУ Виктор Александрович Шамрай. В настоящее время ученый работает над подготовкой обобщающего исторического исследования о Воронеже военных лет, о трагедии и подвиге воронежцев в 1941—1945 годах.

В предвоенный период трудом-подвигом воронежцев небольшой провинциальный город Воронеж был превращен в крупный промышленный и культурный центр. В фактической столице Центрального Черноземья России проживало до 400 тысяч воронежцев, работало более 350 промышленных предприятий и 12 вузов. Воронеж стал одним из arsenалов обороны страны, важным центром авиационной промышленности.

Авиазавод №18 — один из крупнейших в Европе — непрерывно наращивал выпуск самолетов, главным образом дальних бомбардировщиков. С конца декабря 1940 года, за полгода до начала войны, в Воронеже было собрано свыше 200 первых серийных уникальных бронированных штурмовиков Ил-2 конструкции С.В. Ильюшина. Около полугода потребовалось и труженикам воронежского машиностроительного завода им. Коминтерна для налаживания серийного массового производства боевых машин реактивной артиллерии — первых советских «катюш» (БМ-13). В Воронеже началось строительство ряда новых оборонительных предприятий.

Накануне войны в Воронеже на базе ВИСИ был организован ВАИ — Воронежский авиационный институт. Началось возрождение гуманитарного образования в Воронежском университете: в 1940 г. был открыт истфак ВГУ, преобразованный в 1941 году в историко-филологический факультет.

В 30-е годы XX века в Советском Союзе сложился причудливый симбиоз сталинской политической диктатуры, огосударственной экономики и социального государства. Были репрессированы сотни воронежцев, в том числе авиаконструктор Калинин, часть руководителей города, военная кафедра и 5 ректоров ВГУ, ряд экономистов и краеведов и т.д.

Преодолевая последствия репрессий, воронежцы продолжали строить заводы и больницы, развивали коммунальное хозяйство и городское благоустройство. В 1940 году радиозавод «Электросигнал» выпустил треть всех советских радиоприемников.

Накануне войны Воронеж обладал развитой социально-культурной сферой. В городе действовало более 200 школ, детских садов и стационарных лечебных учреждений, развернулось скоростное строительство жилья, административных и общественных зданий. Правда, в октябре 1940 года расходы на социально-культурные нужды пришлось урезать, были сокращены стипендии и введена плата за обучение для старшеклассников и студентов. Но даже в предвоенном году было введено в строй 2 новые школы и 6 детских садов и кинотеатр «Родина». К началу 40-х годов Воронеж становился одним из самых зеленых и привлекательных для жизни и труда городов России.

Патриотический и трудовой подъем, охвативший страну и Воронеж с началом Великой Отечественной войны, не был мифом или следствием тотальной сталинской пропаганды. Он стал, прежде всего, народным ответом на фашистскую агрессию, но был во многом обусловлен также стремлением десятков миллионов людей отстоять реальные достижения в экономическом и социально-культурном, научно-техническом развитии страны и народа. Большинство воронежцев полагали, что война будет недолгой и вторгшийся враг благодаря оборонной и экономической мощи СССР будет вскоре разбит и побежден. Но вместо войны «малой кровью» и «на чужой территории» вследствие просчетов сталинского руководства в подготовке к большой войне и дефектов созданной им партийно-государственной системы тяжелая и кровопролитная борьба с захватчиками продолжалась почти 4 года и большей частью на собственной территории.

Долгожданная победа была достигнута ценой великих жертв и громадных разрушений. С кровавых полей войны не вернулась десятая часть предвоенного на-

селения Воронежа. Восстановление Воронежа потребовало более десяти лет самоотверженного труда десятков и сотен тысяч воронежцев.

В истории Воронежа в годы Великой Отечественной войны прослеживаются, на наш взгляд, три периода. Первый период (22 июня 1941 г. — 27 июня 1942 г.) характеризовался оборонной перестройкой Воронежа и воронежцев в течение первого года войны. Вторым периодом стало семимесячное сражение за Воронеж (28 июня 1942 г. — 25 января 1943 г.) и его частичная оккупация и полное освобождение. Третий период — годы «военного восстановления» Воронежа (1943—1945 гг.).

ВОРОНЕЖ В ПЕРИОД ОБОРОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ (22 июня 1941 г. — 27 июня 1942 г.)

Оборонная перестройка воронежской промышленности фактически началась за полгода до войны, в конце 1940 — начале 1941 гг., когда Воронежу и воронежцам было поручено организовать массовый заводской выпуск специальных самолетов-штурмовиков и пусковых установок реактивной артиллерии. В середине декабря 1940 года, когда Гитлер подписал план нападения на СССР (вариант «Барбаросса»), сталинское руководство приняло решение о запуске в крупносерийное производство на воронежском авиазаводе №18 одноместного бронированного штурмовика Ил-2. В течение 1941 года в Воронеже намечалось построить около 1200 таких самолетов, две трети всех отечественных штурмовиков. Накануне войны воронежцы собрали 200 первых одноместных Ил-2, фактически все выпущенные тогда и поставленные советским ВВС специальные самолеты-штурмовики.

После начала войны план выпуска боевых самолетов был резко увеличен, головной воронежский авиазавод перешел на военный режим работы (по 11-12 часов, в 2 смены). В июне было выпущено в 2 раза больше Ил-2, чем в мае. В начале войны особо важное задание Москвы было выполнено Воронежем не только благодаря интенсификации труда, но и в результате улучшения организации и технологии производства и трудового подъема воронежских самолетостроителей. За июль 1941 года было собрано 310 штурмовиков, почти в два раза больше, чем за июнь. 23 августа воронежский авиазавод №18 первым в стране был награжден высшим советским орденом Ленина.

В августе 1941 года воронежцы достигли пика выпуска самолетов Ил-2 в Воронеже, собрав 356 штурмовиков, а в сентябре дали фронту еще 341 самолет Ил-2. В связи с участвовавшими воздушными бомбардировками завода, началом эвакуации и перебоями в поставках в октябре 1941-го удалось выпустить 234 штурмовика. Последние три самолета Ил-2 были собраны в Воронеже в начале ноября.

Всего в нашем городе в первые месяцы войны было выпущено около 1300 бронированных штурмовиков Ильюшина. Воронежцы собрали и поставили фронту практически все первые отечественные самолеты-штурмовики, собранные в течение первого полугодия войны и всего 1941 года. В Воронеже было выпущено 98% всех собранных в СССР в 1941 году штурмовиков, из них свыше 1000 боевых машин (не менее 97%) было направлено на фронт.

В годы войны штурмовики были самыми массовыми самолетами ВВС, ударной силой советской авиации. В начале войны воронежцы выпустили и поставили фронту также 70 новых дальних бомбардировщиков Ер-2, часть которых тогда же нанесла ответные удары по Германии, в том числе по Берлину. В них участвовали и произведенные в Воронеже перед войной бомбардировщики ДБ-3Ф, ставшие после модернизации основными советскими дальними бомбардировщиками Ил-4.



Сооружение оборонительных укреплений в районе Задонского шоссе.
Воронеж. 1941 год

Пулеметный расчет младшего сержанта Ф.А. Сковородко, уничтоживший в боях за Воронеж 160 фашистов, отражает атаку врага на Воронежском фронте. 1942 год

Вторым главным достижением воронежской промышленности (и отчасти науки и техники) в начале войны стал массовый серийный выпуск знаменитых советских «катюш» — боевых машин реактивной артиллерии. Воронежский завод им. Коминтерна получил специальное задание правительства как передовое предприятие отрасли и приступил к освоению производства пусковых установок БМ-13 в начале 1941 года. А два первых опытных образца будущей «Катюши» удалось собрать и испытать только в конце июня — начале июля. По данным П.М. Федина, 14 июля они участвовали в первых залпах по врагу первой батареи реактивной артиллерии в районе станции Орша.

В ходе освоения новых боевых машин воронежцам пришлось преодолеть немало трудностей и решить ряд сложных организационных и технических, конструктивных и технологических проблем. В течение весны и начала лета 1941 года воронежцы усовершенствовали московскую конструкцию пусковой установки и буквально на ощупь выработали технологию ее производства (новые направляющие в виде двутавровых балок, стационарный пульт управления и т.п.), своими силами удлиннили короткие строгальные станки, сделали специальные инструменты и приспособления и т.д.

К примеру, благодаря новому пультам было на порядок (с минут до секунд) сокращено время залпа, что резко снизило угрозу поражения БМ-13 ответным огнем противника. Для изготовления ее основных узлов требовалась сложная специальная сталь, освоить выплавку которой на заводе удалось не сразу. Первые четыре плавки ушли в брак, но в конечном счете заводские инженеры сумели овладеть этой технологией. Рабочие и мастера вначале сутками и даже неделями не уходили с завода, пока не освоили производство и сборку основных узлов воронежской «катюши».

Ученые и механики ВХТИ наладили изготовление в мастерских химико-технологического института прицела для реактивной установки. В июле 1941 года завод выпустил уже три десятка первых воронежских «катюш». Утроенную программу августа удалось перевыполнить, изготовив 101 пусковую установку с помощью широкой кооперации с другими предприятиями Воронежа. Только на вагоноремонтном заводе в Отрожке делали для нее около 30 уз-

лов и деталей. За сентябрь выпуск БМ-13 на заводе им. Коминтерна был увеличен более чем в 1,5 раза. До эвакуации предприятия на Урал поздней осенью 1941 года всего в Воронеже было произведено свыше 300 пусковых установок реактивной артиллерии, более половины всех первых «катюш». В 1941 году Воронеж вошел в историю Великой Отечественной войны, прежде всего, как город первых «Илов» и «катюш».

Помимо этого, главного воронежского оружия победы воронежцы выпускали в 1941—1945 гг. для фронта более 100 видов военной продукции: бомбардировщики и авиадвигатели, бронепоезда и рации, автоматы и гранаты, авиабомбы и мины, походные котелки и окопные печи, противотанковые ружья и армейское обмундирование и обувь и многое другое. Они ремонтировали истребители и штурмовики, танки и автомобили, авиамоторы и тракторы. В Воронеже были отремонтированы сотни боевых самолетов, тысячи автомобилей и железнодорожных вагонов, сотни танков и авиационных моторов. Воронежцы производили боеприпасы, вооружение и боевую технику не только в родном городе, но и в условиях эвакуации. Так, эвакуированный в Бурятию минный цех Отрожского вагоноремонтного завода продолжал выпускать крупнокалиберные мины. В суровых условиях первой военной зимы в эвакуации в Поволжье и на Урале быстро возобновили выпуск «илов» и «катюш» тысячи воронежцев-тружеников авиазавода №18 и завода им. Коминтерна. Массовый выпуск и ремонт оружия и техники стал важнейшим направлением их помощи фронту. А оставшиеся в Воронеже в июле 1942 года заводские бригады, работая в трех километрах от передовой, под постоянными обстрелами и частыми бомбежками, ремонтировали танки и железнодорожные пути и изготовили 600 окопных печей. Сотни оставшихся на левом берегу воронежских инженеров и рабочих были по сути фронтовой «гвардией тыла».

В течение первого года войны более 100 тысяч воронежцев участвовали в создании укрепленного Воронежского оборонительного рубежа, в том числе 180 дзотов, противотанковых рвов и «ежей», уличных баррикад и т.п. В конце октября 1941 года в Воронеже был учрежден чрезвычайный орган власти — Воронежский городской комитет обороны (во главе с В.Д. Никитиным, а с 1942 года — В.И. Тищенко), руководивший прежде всего укреплением его обороны и организацией помощи фронту. В это время в городе были размещены часть войск и тылов и штаб Юго-Западного фронта. 7 ноября здесь состоялся военный парад, часть участников которого выступила на защиту Москвы. Вплоть до весны 1942 года Воронеж был по существу командным центром Юго-Западного стратегического направления. Его управление во главе с маршалом Тимошенко руководило войсками Юго-Западного фронта в ходе переломного декабрьского контрнаступления под Москвой.

ДВЕ ЭВАКУАЦИИ И ЧАСТИЧНАЯ ВРЕМЕННАЯ ОККУПАЦИЯ ВОРОНЕЖА

Непредусмотренной заранее, но важной составной частью военной перестройки Воронежа в 1941 — 1942 гг. стала частичная эвакуация населения и промышленности на восток СССР. В связи с приближением линии фронта к границам области в течение осени — зимы 1941 г. была осуществлена организованная эвакуация десятков крупных заводов и фабрик и около 200 тысяч воронежцев в Поволжье и на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. В результате успешного контрнаступления под Москвой часть предприятий и учреждений была возвращена с пути.

После неожиданного прорыва противника к Дону в районе Воронежа 3 июля 1942 года развернулась вторая, поспешная и недостаточно организованная, эва-

куация на восток области и страны. Население покидало город в основном своим ходом вплоть до 6 июля, когда захватчики ворвались в Воронеж и 9 июля полностью оккупировали городское правобережье. Эвакуация части оборудования левобережных заводов продолжалась до конца 1942 года под бомбежками и обстрелами противника. Всего было эвакуировано в 1941 — 1942 гг. более 100 промышленных предприятий и основная часть городского населения. Об эпопее эвакуации Воронежа был снят даже двухсерийный художественный фильм «Особо важное задание».



Воронежский крестьянин — венгерскому оккупанту:
«Не долго вам осталось топтать нашу землю!».
28 июля 1942 года

Заняв правобережную часть города, гитлеровцы приступили к вывозу оставшихся материальных и культурных ценностей, в том числе уцелевшего заводского оборудования и сотен тысяч книг библиотеки ВГУ и т.д.

Вечером 6 июля, когда авангарды немецкой 4-й танковой армии ворвались в Воронеж, Гитлер приказал «полностью разрушить его промышленность». Выполняя жестокие указания нацистского фюрера, гитлеровцы осуществляли уничтожение заводских корпусов, железных дорог, социальных и культурных учреждений, жилых и административных зданий. При отступлении они заминировали и взорвали лучшие здания Воронежа, в том числе университет и Дворец пионеров. Только при взрыве заминированного здания обкома ВКП (б) 25 января 1943 года погибло 17 советских воинов.

Частичная временная оккупация городского правобережья продолжалась около 200 дней, с 6 июля 1942-го по 25 января 1943 года. К концу августа 1942 года оккупанты изгнали из Воронежа десятки тысяч оставшихся в городе мирных жителей, замучили и убили тысячи воронежцев. Только в Песчаном логу было расстреляно свыше 450 человек, в том числе 35 детей. Немецко-фашистской оккупационный режим в Воронеже имел чрезвычайный, военный характер, но, как и повсюду, был режимом насилия и грабежа.

СРАЖЕНИЕ ЗА ВОРОНЕЖ

Сражение за Воронеж занял около семи месяцев и состояло из четырех основных периодов. Первый, оборонительный, период продолжался ровно две недели, с 28 июня по 11 июля 1942 года. Второй период, период ограниченного наступления, включал попытки освобождения правобережной части города в июле — сентябре 1942 года. Третий период — позиционная вооруженная борьба за город в октябре 1942 года — 1-й половине января 1943 года. Четвертый период — подготовка и проведение Воронежско-Касторненской фронтовой наступательной операции — составной части стратегической Воронежско-Харьковской операции. Этот заключительный период сражения за Воронеж продолжался с 18 по 25 января 1943 года включительно и завершился полным освобождением Воронежа.

Первый период начался обороной войск Брянского фронта на дальних подступах к Дону и Воронежу. 3 июля немецкие авангарды прорвались к Дону в районе Воронежа, 4 июля начали его форсирование и 5 июля вышли к окраинам города. 6—9 июля 1942 года в Воронеже продолжались упорные бои немногочисленного воронежского гарнизона против танков и мотопехоты 4-й танковой армии Гота, в результате которых противник занял правобережную часть города. Вечером 7 июля был образован новый, Воронежский фронт. 10-11 июля у захватчиков была отбита часть только что оккупированной территории с центром в районе СХИ, а 14 июля — село Подгорное, «северные ворота» Воронежа.

Основной положительный итог оборонительного сражения за Воронеж состоял в задержке наступления немецкой 4-й танковой армии на Сталинград. Во-вторых, войска воронежского гарнизона и Воронежского фронта удержали левобережную часть Воронежа. И, наконец, на заключительном этапе оборонительного периода был освобожден



Фашистские оккупанты на улицах Воронежа. Июль 1942 года

Оккупанты на улицах Воронежа. Лето 1943 года



ден район СХИ и захвачен первый, северный, плацдарм на правом берегу Воронежа.

Начиная с середины июля и до конца месяца Сталин настойчиво требовал активными наступательными действиями Воронежского фронта полностью освободить Воронеж и совместно с частью сил Брянского фронта разгромить воронежскую группировку противника. Чтобы удержать Воронежский плацдарм на левом, восточном берегу Дона, командование наступавшей на Сталинград группы армий «Б» вынуждено было оставить в районе Воронежа и к северо-западу от него всю 2-ю немецкую полевую армию и часть танков и авиации.

В результате новой наступательной операции в середине августа 1942 года войскам Воронежского фронта удалось захватить второй плацдарм, в южной части городского правобережья, а в сентябре — расширить и удержать этот южный, Чижовский плацдарм. Несмотря на излишние потери при атаках укрепленной возвышенной части города в период ограниченного наступления войска Воронежского фронта захватили важные плацдармы, наступая с которых в январе 1943 года, освободили городское правобережье, приобрели ценный опыт ведения наступательных действий против отборных немецких соединений противника и сковали его силы в районе Воронежа, не позволяя перебрасывать их в район Сталинграда. Сковывание и ослабление немецких войск в районе Воронежа, в том числе в ходе широкого снайперского движения, продолжалось и в течение периода «активной обороны» в октябре-декабре 1942 года.

Подготовка к окончательному и полному освобождению Воронежа началась в середине января 1943 года, а 24 января войска Воронежского фронта приступили к проведению Воронежско-Касторненской операции (24 января — 2 февраля 1943 г.). С 19 часов вечера войсковой разведкой 60-й армии был установлен усиленный отвод частей немецкого гарнизона из Воронежа. Воины 100-й и 121-й стрелковых дивизий генерала Перхоровича и полковника Бушина и 8-й отдельной истребительной бригады подполковника Ментюкова в ночь с 24 на 25 января перешли в наступление с южного и северного плацдармов и с левого берега и, преодолевая сопротивление немецких арьергардов, к 7 часам утра 25 января 1943 года очистили от захватчиков правобережную часть Воронежа.

Основные силы 125-тысячной воронежской группировки противника были настигнуты, окружены и разгромлены западнее Дона. В итоге нового «малого Сталинграда» под Воронежем и Касторным войска группы армий «Б» потеряли более 83 тысяч солдат и офицеров (в том числе свыше 25 тысяч пленными). Общие потери войск Воронежского фронта были в 2, 5 раза меньше потерь противника. Таким образом, немецко-венгерская группировка потеряла две трети своего личного состава и большинство техники и вооружения.

Попытка удержания немецкого Воронежского плацдарма за Доном обернулась для Гитлера и вермахта третьим большим окружением и новой катастрофой. А освобожденный, но разрушенный Воронеж нуждался в тотальном восстановлении.

ВОРОНЕЖ В ПЕРИОД «ВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ» (1943—1945 гг.)

Для того чтобы приступить к восстановлению Воронежа, его надо было разминировать, так как город действительно «лежал на минном поле», насчитывавшем сотни тысяч мин. В первые дни и недели после его освобождения на улицах и во дворах нередко взрывались мины и другие боеприпасы и гибли люди. Разминирование Воронежа было первоочередным условием для его восстановления. Первым



Сельскохозяйственные работы в прифронтовых районах. 1943 год

этапом разминирования города (конец января — март 1943 г.) стало обезвреживание мин зимней установки и ограждение минных полей на окраинах Воронежа. Наряду с войсковыми саперами и воинами воронежского гарнизона в разминировании участвовали минеры из Воронежского истребительного батальона и особенно пиротехники городского штаба МПВО, среди которых было много женщин. За короткий срок воронежцы сняли более 18 тысяч мин и обезвредили свыше 400 неразорвавшихся фугасных авиабомб. Десятки из них погибли или были ранены и контужены.

Весной и летом 1943 года в районе Воронежа было вновь обнаружено много мин и минных полей, установленных еще летом — осенью 1942 года. Количество пострадавших от подрыва на минах воронежцев значительно возросло, и городской комитет обороны принял меры по ускорению процесса разминирования. На его втором этапе в апреле—июне 1943 года шла работа по разминированию окраин Воронежа и прилегающих к нему районов. К концу лета 1943 года город был в основном очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов. За полгода после освобождения Воронежа было снято и обезврежено свыше 226 тысяч противотанковых и противопехотных мин, собрано и подорвано более 68 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Разминирование города стало очередным подвигом воронежцев и по существу вторым освобождением Воронежа. Оно создало условия для развертывания восстановительного процесса.

Вскоре после изгнания захватчиков и по мере разминирования города началась частичная реэвакуация предприятий и учреждений и возвращение в Воронеж первых тысяч воронежцев, сразу же приступавших к его восстановлению. К весне 1943 года в городе насчитывалось уже более 10 тысяч жителей, а к 1945-му их количество на порядок возросло и составляло около 170 тысяч человек. Чтобы работать, необходимо было иметь хотя бы крышу над головой, и параллельно с восстановлением хозяйства и развертыванием помощи фронту воронежцы помогали профессиональным строителям восстанавливать пригодные для жилья дома, школы и больницы.

Важнейшей задачей и главным достижением 1943 года в Воронеже стало возрождение электроэнергетики, без чего было невозможно пустить фабрики и заводы и облегчить труд и быт воронежцев. К лету удалось восстановить ЛЭП Липецк — Воронеж, с августа начала выработку электроэнергии ГЭС-1 (горэлектростанция), а в начале 1944 года вошла в строй на порядок более мощная ВОГРЭС. Хотя ее

мощность была на треть меньше довоенной, пуск ВОГРЭС значительно ускорил процесс восстановления Воронежа в 1944—1945 годах.

Приоритетным направлением после освобождения Воронежа было и восстановление транспорта. Уже к концу февраля были подготовлены к приему и отправке поездов железнодорожные станции Воронеж-II и Воронеж-I. В город стали приходить эшелоны с заводским оборудованием и строительными материалами и первые пассажирские поезда с сотнями воронежцев, возвращавшихся из эвакуации. К концу 1944 года в Воронеже вступил в строй новый железнодорожный вокзал.

В 1943 году восстанавливались главным образом небольшие предприятия местной промышленности и промысловой кооперации (по выпечке хлеба, выпуску ширпотреба и т.п.).

В 1944 году был в основном восстановлен и приступил к работе завод им. Дзержинского. В течение второго полугодия воронежские паровозоремонтники ввели в строй более 50 паровозов. В июне начал выпуск пневматических молотов завод им. Калинина, а в ноябре приступил к ремонту железнодорожных вагонов Отрожский ВРЗ им. Тельмана. В 1943—1944 гг. было восстановлено до 80 промышленных предприятий. Уже в мае 1943 года вышли на линию первые трамваи. К концу войны заработали основные трамвайные маршруты.

Трудности периода «военного восстановления» 1943—1945 гг. не следует преуменьшать. На территории завода им. Коминтерна к концу войны не был полностью восстановлен ни один цех. К восстановлению заводских жилых домов строители даже не приступали, ссылаясь на отсутствие рабочей силы. Поэтому на заключительном этапе войны началось применение на восстановлении Воронежа труда иностранных военнопленных и заключенных. На площадях ряда крупных заводов были организованы лагерные отделения, а управление Усманского лагеря № 82 (для иностранных военнопленных) было переведено в Воронеж, на территорию завода СК-2 им. Кирова. К концу 1945 года более половины рабочих в тресте «Воронежгорстрой» составляли иностранные военнопленные. Однако подавляющее большинство воронежских строителей составляли наши соотечественники и земляки. В городе работало 18 строительных организаций, насчитывавших более 10 тысяч строителей.

Важную роль в возрождении Воронежа в 1943—1945 гг. играли субботники и воскресники (только в Кагановичском районе, вошедшем впоследствии в состав Центрального района, в 1943 году состоялось 122 таких воскресника), патриотическое движение по добровольной отработке каждым трудоспособным воронежцем на восстановлении города 100 часов в год (10 часов в месяц), а также массовое создание добровольных строительно-восстановительных бригад. Более 400 таких бригад (в том числе 250 молодежных с участием 18 тысяч юношей и девушек) работали в основном на восстановлении и ремонте жилищ для инвалидов войны и семей военнослужащих. Первая добровольная строительная бригада была создана в Воронеже из жен фронтовиков по инициативе и под руководством многодетной домохозяйки Агриппины Заворуевой. Воронежцы ежегодно добровольно отработывали на восстановлении Воронежа миллионы часов.

Инициатива и самоотверженные усилия воронежцев имели большое значение при решении жилищной проблемы. Отсутствие или нехватка жилья наиболее остро ощущались в 1943 году. Поэтому именно в этот период восстановление и строительство жилых домов в Воронеже осуществлялось наиболее интенсивно. За 1943 год было введено в строй более 6 тысяч жилых домов. Всего за 1943—1945 гг. было восстановлено и построено около 8,5 тысяч жилых домов (из них 90% индивидуальных жилищ), что составляло менее половины количества жилых домов, разрушенных в период частичной оккупации Воронежа гитлеровцами. Даже к концу войны строительство жилья отставало от потребностей быстро



Разрушенный фашистами главный корпус Воронежского сельскохозяйственного института. *Январь 1943 года*
Немецкое кладбище в Кольцовском сквере. *Январь 1943 года*

растущего населения, и сотни семей продолжали ютиться в бараках и подвалах, а то и в блиндажах и землянках.

Тем не менее, 1943—1945 гг. — период «военного восстановления Воронежа» — стали временем нового большого трудового подвига десятков тысяч воронежцев. Только за 1944—1945 гг. жители города отработали на его восстановление более 7,5 миллионов человеко-часов. К концу войны удалось восстановить и построить заново около 100 промышленных предприятий, 8,5 тысяч жилых домов, свыше 30 больниц и поликлиник и более 40 школ. Но для полного восстановления промышленности и жилищного фонда города требовалось еще от 5 до 10 лет напряженного и самоотверженного труда. Одним из недостатков восстановительного процесса в 1943—1945 гг. было отсутствие единого плана восстановления Воронежа, Генеральный план застройки которого был утвержден только после войны, в 1946 году.

Все эти годы продолжалась многогранная и активная патриотическая помощь воронежцев фронту.

Основным вкладом Воронежа в военно-экономическое обеспечение завершения перелома в 1943 году стала организация и деятельность 6 баз и заводов по ремонту боевой техники: танков, автомобилей и самолетов. Они были развернуты и уже в мае — июне начали работу на площадях и в уцелевших корпусах эвакуированных и полуразрушенных воронежских заводов им. Коминтерна и им. Ворошилова (авиазавода № 18). В течение лета — осени 1943 года на ремонтных авиазаводах № 265 и № 64 было возвращено в строй 195 авиамооторов и более 200 боевых самолетов. На развернутом в Воронеже авторемонтном заводе № 45 Степного военного округа был налажен ремонт сотен автомобилей. А на ремзаводе НКСМ и рембазах НКТП было отремонтировано свыше 200 танков (большей частью лучших средних танков Т-34).

Накануне Курской битвы было решено организовать производство взрывчатых веществ и снаряжение мин и боеприпасов для Воронежского фронта даже в мастерских Городского парка культуры и отдыха. Тогда же воронежцы помогли перебросить на Курскую дугу сотни военных эшелонов и восстановить железнодорожное движение по стратегической магистрали Воронеж — Курск, на которую бази-

ровались Воронежский и Центральный фронты. В районе Воронежа размещались фронтовые и армейские тыловые учреждения (базы, госпитали, склады ГСМ и т.д.) и аэродромы Воронежского и Степного фронтов и часть сил и штаб Степного военного округа. Тысячи жителей Воронежа в течение весны — лета 1943 года участвовали в строительстве оборонительных рубежей Воронежского и Степного фронтов и Государственного рубежа обороны по реке Дон.

К лету 1943 года в результате интенсификации процесса разминирования Воронежа появилась возможность отсортировать все снятые годные мины и использовать их для нужд Воронежского фронта. В мае — июне фронту было передано 65 тысяч воронежских мин. Непосредственно со склада гарнизона города накануне и в ходе битвы на Курской дуге на Воронежский фронт было отправлено более 30 тысяч противотанковых мин. На минных полях в июле — августе 1943 года подорвался не один десяток немецких танков (в том числе новых танков «Тигр» и «Пантера») и часть из них — на воронежских минах.

К осени 1943 года прифронтовой Воронеж стал тыловым городом, и чрезвычайное положение было отменено. В связи с этим к 1944 году прекратил свою военную деятельность и городской комитет обороны Воронежа, сыгравший в 1941—1943 гг. большую роль в укреплении обороны Воронежа и организации помощи фронту. Тем не менее, по мере стабилизации обстановки, восстановления и налаживания работы крупных заводов помощью воронежцев фронту (производство оружия и боеприпасов, вещевого имущества и продовольствия, ремонт боевой техники и т.д.) продолжалась в значительных масштабах и сыграла свою роль в приближении Победы над фашистско-милитаристским блоком агрессоров.

В 1944 году авиаремонтный завод №64 начал выпускать крыло для штурмовиков Ил-2. За годы войны в нашем городе было собрано 1,5 тысячи бронированных штурмовиков Ил-2 и отремонтировано 800 боевых самолетов. В Воронеже и в эвакуации с участием воронежцев было выпущено более 15 тысяч самолетов Ил-2 или около 40% всех отечественных штурмовиков. А воронежский механический завод произвел 15 тысяч авиационных моторов.

Воронеж дал фронту почти 47 тысяч бойцов, политработников и командиров (восьмую часть своего населения), десятки из них заслужили звание Героя Советского Союза или стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, тысячи получили боевые ордена и медали. В боях за Родину и освобождение Европы погибло более 30 тысяч воинов из Воронежа — две трети воронежских фронтовиков. На территории нашего города захоронено свыше 37 тысяч советских воинов. В годы войны в Воронеже было организовано около 60 госпиталей.



*«Будьте вы прокляты, фашисты!».
Мирные жители возвращаются
в разрушенный фашистами Воронеж.
Январь 1943 года*

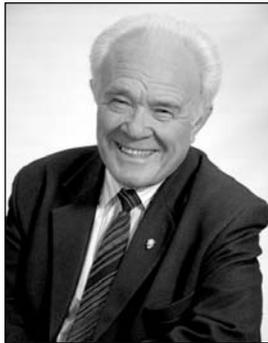
В период оккупации было разрушено более трети промышленных предприятий и свыше 90% жилого фонда Воронежа. Общий материальный ущерб города и горожан превышал 5 миллиардов рублей.

Героическая оборона Воронежа в июле 1942 года выиграла время для организации обороны Сталинграда. Разгром крупной воронежской группировки противника в январе-феврале 1943 года означал окончательное крушение группы армий «Б» и стал новым развитием сталинградского перелома в ходе всей войны.

Воронежские ученые, инженеры и конструкторы внесли значительный вклад в совершенствование и организацию серийного выпуска «Илов» и «катюш» и наращивание многогранной помощи фронту. Деятели культуры вдохновляли воронежцев и других фронтовиков и тружеников тыла на боевые и трудовые подвиги. В 1943—1945 гг. Воронежский русский народный хор дал более 700 концертов на фронте и в тылу. За доблестный труд во имя Победы были награждены тысячи воронежцев. Главный инженер (впоследствии директор авиазавода № 18) А.А. Белянский был удостоен звания Героя Социалистического Труда, директор машиностроительного завода им. Коминтерна Ф.Н. Муратов — высшего ордена Ленина, слесарь этого же завода Е.Г. Мякишев — ордена «Знак Почета» и т.д.). Несмотря на огромные трудности и потери, лишения и разрушения, Воронеж и воронежцы с честью выдержали суровые военные испытания и внесли большой вклад в перелом и победу в Великой Отечественной войне. А созданный в июле 1942 года в ходе сражения за Воронеж Воронежский (с 20 октября 1943 г. — 1-й Украинский) фронт закончил войну в мае 1945 года штурмом Берлина и освобождением Праги.

В феврале 2008 года боевые и трудовые подвиги Воронежа и воронежцев были по заслугам отмечены присвоением почетного звания «Город воинской славы» России.





Валерий Иванович Кононов родился в 1934 году в Курской области. Окончил радиотехнический факультет Харьковского политехнического института. Около 50 лет работал в отраслевой науке электронной промышленности. Профессор Воронежского технического университета по кафедре робототехнических систем. Кандидат технических наук, заслуженный изобретатель РСФСР. Автор десяти краеведческих книг. Лауреат премии администрации области по журналистике и книгоизданию. Живет в Воронеже.

Валерий Кононов

СВИДЕТЕЛИ СОБЫТИЙ И ИМЕН

Мне пришлось побывать во многих городах в Советском Союзе, я видел несколько европейских столиц. Не буду лукавить. Проходя по улице Пикадилли в Лондоне, стоя на Карловом мосту в Праге или у Бранденбургских ворот в Берлине, прохаживаясь по набережной Дуная в Будапеште или Днепра в Киеве, я замечал, что города эти ухоженнее и красивее Воронежа. Но я жить хочу только в родном Воронеже. Это мой город, это моя Россия, это частичка истории моего Отечества. А история, между прочим, оставляет на земле многочисленные зарубки в виде памятников. Вот о воронежских памятниках и мемориальных досках я и хочу начать свой рассказ. Я собираюсь напомнить любопытному читателю, с какими историческими событиями они связаны, какие обстоятельства сопровождали работу над ними, познакомить с их авторами, рассказать о памятниках, которых уже нет или которых еще нет. А, кроме того, хочу поделиться своими размышлениями, неизбежно возникающими, когда стоишь перед тем или иным воронежским памятником.

С удовольствием отмечу, что положение с памятниками в Воронеже в целом более чем удовлетворительное. Еще три десятка лет назад, говоря о местных памятниках, называли три дореволюционных — императору Петру, Алексею Кольцову и Ивану Никитину. Кроме них были еще несколько статуй Ленина и оставшиеся от войны братские захоронения. А за последние годы появились великолепные памятники таким знаковым

персонам мировой культуры и истории, как Пушкин, Платонов, Бунин, Есенин, святитель Митрофан. Кроме того, нельзя не вспомнить уникальные в своем роде памятники Учителю, литературному герою Белому Биму, мультипликационному котенку с улицы Лизюкова. За сохранностью памятников следят соответствующие службы городской администрации. В городском управлении культуры несколько раз проходили специальные совещания по рассмотрению состояния памятников и мемориальных досок в городе. Совещаниям предшествовали тщательные обследования этих объектов, а в итоге проводились замены или восстановления мемориальных досок, реставрация памятников. В 2010 году городской Думой была принята Программа «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на 2007—2010 годы», где значительное внимание уделено проблемам ремонта, реставрации и установки новых памятников и мемориальных досок с указанием конкретных объектов историко-культурного наследия по каждому городскому району. Лет десять назад невозможно было в Воронеже найти информацию об установленных в городе памятниках и мемориальных досках. Сейчас в специальном каталоге собрана подробная электронная информация буквально обо всех памятниках и досках с фотографиями в разных ракурсах.

ПАМЯТНИКИ

Прошло около полутора веков с тех пор, когда в Воронеже появился первый памятник. А в ту пору и во всей России памятники можно было пересчитать по пальцам. В Москве несколько десятилетий стоял в единственном числе памятник Минину и Пожарскому, сооруженный в 1818 году. В столичном Петербурге памятников было побольше. Именно в столице в 1782 году появился первый в России скульптурный памятник. Им стал знаменитый Медный всадник — монумент Петру Великому работы французского скульптора Э. Фальконе. Такое отставание от просвещенной Европы по памятникам объяснялось тем, что на Руси для увековечения каких-либо важных светских событий издавна в качестве памятников строили православные церкви или часовни. Так, еще в XII веке владимирский князь Андрей Боголюбский в честь своего успешного похода на болгар Поволжья и в память о своем сыне Изяславе, погибшем в этом походе, повелел поставить храм Покрова на реке Нерли, ставший, по мнению многих авторитетных специалистов, самым изящным и красивым православным храмом в мире. В центре немецкого города Лейпцига стоит построенный Россией на собранные народные деньги православный храм в память о 20 тысячах русских воинов, погибших в 1813 году в «битве народов» с армией Наполеона под Лейпцигом.

Первый в своем городе памятник жители Воронежа увидели в августе 1860 года. Тогда был увековечен российский император Петр I, строивший здесь на рубеже XVII и XVIII столетий первые корабли отечественного военного флота. Впервые о памятнике царю-преобразователю в Воронеже заговорили в 1834 году. Тогда губернатор Д.Н. Бегичев обратился к императору Николаю I с просьбой разрешить установить в Воронеже памятник Петру Великому. Царь с этим предложением согласился, но денег из казны не выделил. А своими силами город с этой проблемой тогда не справился. А если бы все получилось, как задумывалось, появился тогда в нашем городе этот памятник, он стал бы первым в российской провинции петровским памятником. Ведь тогда в России было только два таких, и оба в Петербурге. А, с другой стороны, и хорошо, что тогда с памятником Петру не задалось. Ведь по проекту, представленному воронежским губернатором императору, предполагалось выкупить у частных лиц остров на реке Воронеж и расположенное на нем здание цейхгауза, сохранившееся от петровских времен. В цейхгаузе планировали соорудить домовую церковь в честь святителя Митрофана, а

на высоком берегу реки против острова поставить обелиск в память Петра Великого. Обратите внимание — *obelisk* собирались соорудить. Если бы сбылись тогда планы, появился обелиск в центре города, не было бы у нас великолепного бронзового монумента Петру Великому.

Собранных в губернии денег тогда хватило только на покупку острова с цейгаузом, а до обелиска дело не дошло, и разговоры о памятнике затихли более чем на 20 лет вплоть до 1857 года. К этому времени на российском престоле только что воцарился император Александр II, и воронежский губернатор Н.П. Синельников возобновил ходатайство о сооружении памятника Петру как основателю первого российского военного флота. Новый император не только согласился с предложением воронежцев, но и выделил из казны 2500 рублей серебром в добавление к собираемым с жителей губернии средствам.

Никаких конкурсов не проводилось, а к работе над памятником привлекли известных в ту пору специалистов — скульптора А.Е. Шварца и архитектора Д.И. Гримма. Для пьедестала привезли красный гранит из Павловска, что в Воронежской губернии. Торжественное открытие памятника состоялось 30 августа (по старому стилю) 1860 года. Его установили на большом пустыре, который после этого события назвали Петровской площадью. Никакого сквера тогда на этом месте не было. В этом можно убедиться, взглянув на помещенное здесь фото памятника, сделанное вскоре после открытия монумента.

Меня давно занимал вопрос: куда же показывает Петр своей державной десницей? Это не та призывно поднятая рука, что у многочисленных памятников Ленину, Кирову и других вождей. Петр сложил руку в указательный жест и выставил вперед указательный палец. Если, стоя у памятника, проследить, где встает и заходит солнце, то можно убедиться, что царь показывает левой рукой на запад. А что он там увидел, на что хочет обратить наше внимание? Много было рассуждений на этот счет за последние сто лет, но все они были из числа предположений. Несколько лет назад мне удалось найти ответ на этот вопрос.

Дело в том, что в прошении губернатора Синельникова на имя Александра II говорилось и о внешнем виде будущего памятника, каким бы его хотели видеть воронежцы: «Проект памятника, основанный на исторических фактах, изображает Петра Великого во весь рост, в мундире того времени, опирающегося одной рукой на якорь в память построения в Воронеже флота, а другой указывающего на Азов, покоренный этим флотом». А поскольку Александр II это прошение утвердил, то желание воронежцев превратилось в царское указание для всех работавших над памятником. По воле скульптора А.Е. Шварца император стал держаться за корабельный якорь правой рукой, а левую простер вперед. Но для того, чтобы бронзовый Петр показывал левой рукой на Азов, т.е. на юг, его надо было в Воронеже в 1860 году поставить правым боком к Большой Дворянской улице (теперь это проспект Революции). Но это посчитали тогда, и совершенно справедливо, неудобным с точки зрения полноты художественного восприятия памятника, а другое место для него искать не стали. Так Петр Великий стал показывать своей царской дланью не на юг, как задумывалось, а на запад.

Во время войны фашистские оккупанты увезли статую Петра на переплавку. А когда после войны памятник по решению правительства РСФСР восстанавливали, московский скульптор Н.П. Гаврилов, работавший над статуей, повторил композицию прежнего памятника, не задумываясь, скорее всего, об истинном значении жеста левой руки. Да он и не имел права менять композицию монумента. Единственное, на что решился скульптор, это задрать полу кафтана над левой ногой императора — на прежнем памятнике обе полы опущены. 10 января 1956 года на пустовавший 13 лет постамент водрузили новую бронзовую статую императора Петра Великого.



Памятник Петру I в Воронеже.
Фото 1860-х годов
Левая рука бронзового Петра I



Надписи на постаменте, выполненные из накладных бронзовых букв в 1860 году, сбили воинствующие борцы с самодержавием еще в 1918 году, и несколько поколений воронежцев так и не ведали, что же там было написано. Но вот в конце ноября 2003 года стараниями воронежского предпринимателя С.В. Чижова надписи эти были восстановлены. На лицевой грани постамента теперь можно прочесть первоначальную надпись: «ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ 1860 г.». Справедливости ради надо отметить, что последней в этом тексте буквы «г» не было на том памятнике, который открывали в 1860 году.

Восстановлена была и надпись на тыльной стороне постамента: «Воронежские дворяне и граждане». Хотя, думается, этого и не стоило бы делать. Ведь теперешний памятник городу достался не от воронежских дворян и граждан, а от правительства РСФСР. Это тот самый случай, когда не все надо привносить в современную жизнь из седой старины. А таких примеров из современной жизни можно привести немало. Герб Воронежа, например. Еще в екатерининские времена, когда придумывали в столице в массовом порядке гербы для губерний, тогда уже непонятно было, что в дарованном Воронежской губернии гербе означает кувшин на горе с вытекающей из него водой. С этим кувшином связывали и реку Воронеж, и Дон, и Липецкие минеральные воды, забывая, что они текли тогда в Тамбовской губернии. Властям проще было согласиться со старым, хотя и непонятным, гербом, чем озаботиться разработкой новых для города и области.

Кроме памятника царю-преобразователю в Воронеже есть и другие памятные места, связанные со строительством в городе первого российского флота. Прежде всего, это Успенская церковь, где Петр освящал свои корабли. Напротив церкви можно видеть остров и, хотя его называют Петровским, это не тот остров, который в свое время был исхожен вдоль и поперек царем Петром. Тот

остров поглотили волны водохранилища в 1972 году. Но через несколько лет остров вновь появился на картах Воронежа — его намывы мощные земснаряды. Правда, при этом его немного сместили ниже по течению относительно прежних границ, и к тому же он стал меньше по площади. Городские руководители обещали превратить остров в зону отдыха, соединить его с материком мостом, но, видимо, время для реализации этих планов не подошло. 6-7 сентября 1996 года Воронеж в торжественной и праздничной обстановке отметил 300-летие российского флота. На праздник приехали делегации соседних областей, представители Черноморского, Балтийского и Северного флотов. Торжества проходили на прибрежной площади, названной тогда же Адмиралтейской. К празднику на площади воздвигли ростральную колонну — традиционный в мировой практике тип памятника в честь морских событий. Это 28-метровая круглая колонна, украшенная рострами, т.е. моделями носовых частей кораблей. Проектировал ее архитектор Л.М. Яновский. Сама колонна изготовлена из толстостенных стальных труб. Жаль только, что никаких надписей ни тогда, ни позднее не сделали на пьедестале этой колонны. Она стоит уже более десяти лет, и прогуливающиеся по набережной граждане не всегда могут объяснить значение и назначение этого сооружения. Как-то мне пришлось в голову расспросить о колонне женщину, прогуливающую на площади внука. Она мне объяснила, что здесь недавно проходил большой праздник в честь годовщины русского флота, и площадь была украшена огромными гирляндами из цветных шаров. Вот для крепления гирлянд, сказала она, и поставили в центре площади эту вышку.

Недолго петровский монумент оставался единственным в Воронеже. В октябре 1868 года в небольшом скверике, названном после этого Кольцовским, появился мраморный памятник поэту-земляку Алексею Васильевичу Кольцову. А сквер был тогда совсем крошечным — там только и было места, что для памятника. За пять лет до этого было получено разрешение царя на установку памятника, и начался сбор денег. Трудно предположить, когда в Воронеже появился бы памятник Алексею Кольцову, если бы в 1866 году воронежский епископ Серафим, задумавший реконструкцию Митрофановского монастыря, не решил устроить в Благовещенском соборе мраморный иконостас. Петербургский скульптор, он же хозяин мраморной мастерской, Августино Трискорни очень хотел получить этот выгодный заказ, но епархиальное начальство решило сначала поручить ему какую-либо пробную работу, чтобы убедиться в его творческих способностях. В качестве такой работы воронежский городской архитектор А.А. Кюи, занимавшийся реконструкцией монастыря, предложил по поручению губернатора князя В.А. Трубецкого выполнить в мраморе памятник Кольцову, оговорив, что денег собрано немного, и скульптор должен уложиться в 2000 рублей серебром.

Боясь потерять заказ по иконостасу, Трискорни согласился с этим предложением, и заключил с городской думой договор, которым он обязывался «сделать мраморный монумент воронежскому поэту Кольцову для постановления его в публичном месте, в саду, по выданному рисунку и утвержденному Его сиятельством г. начальником губернии». В договоре указывались размеры постамента и бюста, обговаривался тип мрамора, который должен использоваться для различных частей памятника. Кстати, иногда можно услышать разговоры, будто бы стоящий и поныне памятник Алексею Кольцову первоначально создавался как надгробие для его могилы. Приведенный выше отрывок из договора доказывает, что это не так. Хотя, глядя на памятник, не могу избавиться от ощущения, что сложной формы постамент его с мраморными венками и гирляндами, шестиконечной розеткой спереди, которую многие воспринимают почему-то как звезду Давида, является классическим надгробием. Не хватает только какой-нибудь урны или ангела на вершине. Я почти уверен, что Трискорни, основной продукцией кото-

рого являлись надгробные памятники, при исполнении воронежского заказа за небольшие деньги и малое время не мог не использовать свои готовые наработки. Никакой надписи на постаменте он не исполнил (ту, что можно видеть сейчас, сделана в советское время), а резных затейливых мраморных украшений там предостаточно. Надеюсь когда-нибудь доказать справедливость этой гипотезы.

Памятник Кольцову в сквере стоит уже без малого полтора века. При реконструкции сквера в 30-х годах прошлого века его передвинули на несколько метров подальше от границы сквера со стороны бывшей гостиницы «Воронеж» и развернули на 180 градусов. Памятник пощадили две жестокие войны, промчавшиеся над Воронежем. В 1942 году немецко-фашистские оккупанты, захватившие правобережную часть города, устроили в сквере вокруг памятника кладбище для своих солдат и офицеров.

Но время все-таки сделало свое, в буквальном смысле слова, черное дело — на беломраморном лице Алексея Кольцова появились темные разводы. Приезжали недавно столичные специалисты, покрывали бюст каким-то белым составом, но прежней белизны не достигли. А морозы с дождями да выхлопными газами продолжают воздействовать на каррарский мрамор. Надо бы спасти уникальное творение. Повторю здесь свое предложение, которое уже приходилось высказывать. Бюст Кольцова или весь памятник следует перенести в музей, а на его место установить точную копию. Такие случаи в истории мирового монументального искусства бывали. Например, оригинал широко известного памятника «Гражданам Кале» работы О. Родена, давно находится в Лувре, а вместо него на постаменте во французском городе Кале стоит копия. Такая же история случилась с мраморной статуей Давида во Флоренции, исполненной Микеланджело в 1504 году. Многочисленные туристы со всего мира любят копия этой знаменитой статуи в центре города, а желающие посмотреть на оригинал идут в музей «Академия».

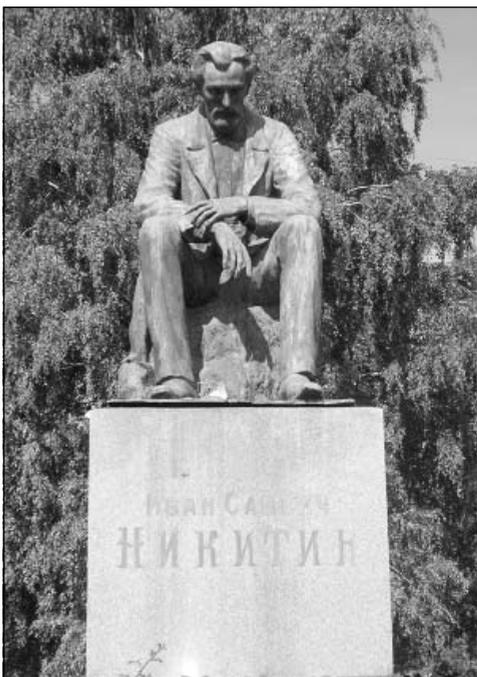
Как-то мне захотелось узнать, какие же памятники писателям в России появились ранее кольцовского в Воронеже. Оказалось, что первым стал памятник М.В. Ломоносову в Архангельске (установлен в 1832 году), затем в 1845 году поставили в Симбирске памятник Н.М. Карамзину, в 1847 году — Г.Р. Державину в Казани, в 1855 году появился в Петербурге знаменитый памятник И.А. Крылову в окружении героев его басен. А следующим, пятым по счету, удостоился памятника Алексей Кольцов. Но обратите внимание, кто опередил нашего поэта-прасола. Все они были не только писателями, но и занимали в разное время видные посты при царском дворе.

Есть в Воронеже еще один памятник Алексею Кольцову. И хотя стоит он на Советской площади всего тридцать лет, разговоров о нем среди горожан и на страницах газет было уже, наверное, не меньше, чем о первом. Не нравится он воронежцам настолько, что не раз озвучивались предложения убрать его из города. Одни утверждали, что скульптор П.И. Бондаренко начинал работу над памятником Ф.Э. Дзержинскому, а потом надобность в нем отпала, и мастер будто бы приспособил к готовому туловищу голову нашего поэта. Кто-то увидел в прижатой левой руке поэта характерный сталинский жест. Кому-то статуя Кольцова напоминала памятники чекистам в Киеве и латышским стрелкам в Риге. Нашелся очевидец, видевший, будто, в свое время статую И.В. Сталина у входа в Волго-Донской канал и утверждавший в одной из воронежских газет, что именно эта статуя, но с другой головой, и появилась в 1976 году в Воронеже в виде памятника Кольцову. Может быть, кто-нибудь ему и поверил, но у меня в коллекции есть изображение того памятника Сталину. Вождь народов стоял в распахнутой шинели, левая рука с фуражкой опущена вниз, а к груди была прижата правая. Ростом та статуя была раз в десять больше кольцовской, скульптор П.И. Бондаренко



Памятник Алексею Кольцову.
Скульптор А. Трискорни. 1868 год

Памятник Ивану Никитину.
Скульптор И. Шуклин. 1911 год



никакого отношения к ней не имел, и к тому же изготовлена она была из бронзы, а не из гранита.

Мне тоже не очень нравится этот памятник Алексею Кольцову. Но не потому, что он на что-то или на кого-то похож. Мне не нравится творческая авангардистская манера скульптора, осовременившего таким образом человека позапрошлого века, вышедшего из гущи народной. Мне не нравится меланхолическое выражение лица поэта, глядя на которое не скажешь, что это он писал: «Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, ветер с полудня!». Мне думается, скульптор Бондаренко стал заложником неудачно выбранного им материала для памятника. Камень диктует ваятелю свои правила работы над образом — и руками герой не очень-то размахнется, и ноги ему не удастся высечь из камня, ибо не удержится на таких ногах гранитная машина. Вот и вынужден был автор памятника одеть на Кольцова длинный армяк, чтобы ног у того не было видно. Некоторые критики гранитного Кольцова считают, что не носил Алексей Кольцов длинной верхней одежды. Оказывается, носил. На известном рисунке «Литературный вечер у П.А. Плетнева», где художник П.Ф. Борель (1829-1898) изобразил Алексея Кольцова среди столичных знаменитостей, на Кольцове, только что вошедшем в гостиную, надето что-то вроде длиннополого демисезонного пальто с воротником — как это одеяние называлось в прежние времена, не знаю. Заканчивая разговор об этом кольцовском памятнике, я не собираюсь призывать воронежцев полюбить его. Произведение искусства по своей природе предполагает различное воздействие на зрителя, слушателя, читателя. И если кто-то хочет публично высказаться о своем восприятии (или неприятии) того же памятника Алексею Кольцову, то делать это надо доказательно, без сомнительных аналогий и домыслов.

Если продолжить рассказ о воронежских дореволюционных памятниках, то

следует вспомнить о бронзовом монументе Ивану Саввичу Никитину. Как и Алексей Кольцов, Никитин родился в Воронеже (на 15 лет позже), тоже прожил здесь всю жизнь (умер на 19 лет позже своего поэтического собрата), и могилы их находятся рядом.

Городские власти собирались установить в Воронеже памятник Никитину в 1899 году. Тогда в России готовились отметить столетие со дня рождения А.С. Пушкина. Скорее всего, отцы города надеялись, что при всеобщем по этому поводу всплеске общественно-культурно-литературной активности в стране можно рассчитывать на деньги из царской казны и на памятник знаменитому поэту-воронежцу, которому в том же году исполнялось 75 лет от рождения. Но то ли они поздно отправили свое ходатайство в царскую канцелярию, то ли оно где-то застряло надолго, но когда император Николай II наложил на нем свою разрешительную резолюцию, и пушкинский, и никитинский юбилеи давно прошли. К тому же казенных денег на памятник не нашлось, и царь лишь разрешил проведение сбора средств среди населения всей России. Тогда воронежцы решили приурочить открытие памятника к другому юбилею — 50-летию со дня смерти поэта. До этого юбилея, т.е. до октября 1911 года времени еще было много, неспешно стали собирать деньги, потом в столице объявили открытый конкурс на лучший проект памятника, по окончании которого отмеченные жюри три модели прибыли в Воронеж.

Воронеж должен был выбрать из них наилучший. Он и выбрал, но не тот, что занял в конкурсе первое место (его выполнил скульптор Д.Н. Малашкин). Воронежская городская дума на своем заседании 19 ноября 1909 года решила воздвигнуть в городе памятник, проект которого предложил молодой скульптор Иван Андрианович Шуклин, занявший в конкурсе второе место. В течение года после этого велись различные переговоры городских организаций со скульптором, уточнялись габариты и место установки памятника, пока, наконец, не был заключен официальный договор между городской управой и автором. Скульптор принимал на себя обязательства по исполнению фигуры поэта сначала из глины, а потом отлить ее в бронзе и установить на пьедестале, заботу об изготовлении которого должна взять на себя городская управа. Открытие памятника наметили на 16 октября 1911 года, — именно в этот день полвека назад Иван Саввич скончался. А местом для памятника выбрали Театральную площадь, которую еще называли площадью Солнечных часов из-за стоявших когда-то на ней первых в Воронеже уличных часов, бывших как раз солнечными. Первоначально на постаменте собирались высечь две строчки из никитинского стихотворения «Медленно движется время»:

Мертвые в мире почили,
Дело настало живым.

Но кому-то в Воронеже или в столице послышался в этих строчках революционный призыв, и надпись запретили. Написали только на лицевой грани:

ИВАНУ САВВИЧУ
НИКИТИНУ
1911 г.

Любопытствующий читатель может самостоятельно убедиться, что теперешняя надпись на постаменте несколько отличается от первоначальной.

Открытие памятника прошло торжественно, при большом стечении народа, с речами и духовым оркестром. На площади собрались тысячи воронежцев, гости из других губерний, из Москвы и Петербурга. Приезжие кинооператоры все это засняли на кинолентку, которая сохранилась до наших дней. Здесь же был автор

памятника, это был его первый и последний приезд в Воронеж. И никитинский монумент — его единственная работа в жанре монументальной скульптуры. Перед первой мировой войной И.А. Шуклин оказался за границей. Сначала вернуться на родину мешала война, потом революция. После окончания второй мировой войны он совсем собрался в Россию, оформил все нужные документы в советском посольстве в Париже, но внезапная смерть в 1958 году помешала этому. Между прочим, он почти наш земляк — родом из небольшой деревни под Курском.

В 1933 году городская администрация решила, что стоящий посредине неширокой улицы К. Маркса памятник мешает движению городского транспорта в центре города и его перенесли в Кольцовский сквер, где он простоял до 1973 года, после чего снова занял свое место на Театральной площади, названной тогда же именем Никитина. А чтобы он не мешал уличному движению транспорта, которое стало за прошедшие 40 лет намного интенсивнее, улицу К. Маркса, правда, не сразу после этого, сделали только пешеходной. Но, по мне, лучше бы памятник оставался в сквере. Задумчивая поза поэта со склоненной головой требует от окружающей обстановки тишины и умиротворенности. К памятнику, пока он стоял в сквере, можно было подойти и погрузиться вместе с Иваном Саввичем, покопаться в памяти и вспомнить заученные когда-то по школьным хрестоматиям его поэтические строчки. А сейчас к памятнику не подступишься даже для того, чтобы сфотографировать его. Несколько лет подряд его окружали разноцветные и довольно вместительные пивные палатки. В прошедшем году впервые палаток не наблюдалось — городские власти почувствовали проблему и запретили их установку. Зато теперь впритык к памятнику до поздней ночи стоят десятки автомобилей. И это при том, что улица К. Маркса закрыта для проезда автотранспорта, а от площади она отделена металлической оградой. А если взглянуть на проблему шире, почему бы мэрии и городской Думе не принять закон, запрещающий в радиусе 20 метров от любого памятника стоянку автомобилей, установку всевозможных киосков и лотков? Водоохранная зона вокруг водохранилища у нас четко обозначена по всему городу, а памятники тоже требуют охраны. Вы посмотрите, что делается летом около памятника Пятницкому у Дома офицеров, или у памятника Биму перед кукольным театром! А рядом с Пушкиным у оперного театра с наступлением тепла выставляют столики с едой, питьем и громкой поп- и рок-музыкой.

Воронеж недаром называют городом поэтов и любителей поэзии. Это подтверждают и наши памятники. Рядом с монументами Кольцову и Никитину стоят увековеченные в бронзе А.С. Пушкин, И.А. Бунин, С.А. Есенин и А.П. Платонов, который начинал свою литературную деятельность с поэзии, висят гранитные мемориальные доски в память о М.Ю. Лермонтове, А.В. Жигулине, А.Т. Прасолове, О.Э. Мандельштаме, А.А. Ахматовой и А.Т. Твардовском. В скором времени в городе может появиться памятник С.Я. Маршаку, уроженцу Воронежа.

Бюст Пушкина подарили городу воронежские скульпторы И.П. Дикунов и Э.Н. Пак. Открытие памятника прошло при огромном стечении публики в день 200-летия со дня рождения поэта. Можно считать удачным сочетание небольшого уютного сквера с памятником рядом с оперным театром и оживленного центра города. Стилизованные под старину скамейки вокруг памятника тоже способствуют созданию своеобразной поэтической ауры в этом скверике, который народ уже прозвал Пушкинским. Вот только не хватило фантазии у устроителей памятника при выборе надписи. Они привели хрестоматийные строки:

И ДОЛГО БУДУ ТЕМ ЛЮБЕЗЕН Я НАРОДУ,
ЧТО ЧУВСТВА ДОБРЫЕ Я ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ.

Во-первых, оборвав на полуслове пушкинский «Памятник», архитектор существенно принизил в глазах воронежцев значение великого поэта, который, как вы помните, ставил себе в заслуги, что он и свободу восславил, и «милость к падшим призывал». А во-вторых, этот текст, но в более полном изложении, уже не раз воспроизводился на постаментах пушкинских памятников, в том числе и на первом в мире, открытом в Москве в 1880 году. А представьте себе, что была бы вот такая, уникальная для Воронежа, надпись на памятнике:

*«Наконец увидел я воронежские степи
и спокойно покатился по зеленой равнине».*
А.С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум».

Памятник нашему земляку Ивану Алексеевичу Бунину тоже является подарком городу. Дарителем стал в 1995 году коммерческий банк «Воронеж» в лице его тогдашнего руководителя Г.И. Лунтовского. Московский скульптор А.Н. Бурганов изобразил писателя сидящим на поваленном дереве с собакой у его ног. При обсуждении памятника в Доме архитекторов, когда его только собирались привезти в Воронеж, многие из присутствовавших высказывались против собаки. Мне тоже кажется, что эта симпатичная собачка не очень уместна рядом с Буниным, который не был замечен на охоте, как И.С. Тургенев или Н.А. Некрасов, и у которого не было таких знаменитых четвероногих литературных героев, как Каштанка, Муму или хотя бы пудель Артемон. Ведь по законам жанра на памятнике не должно быть лишних деталей.

В последние годы проявился большой интерес к творчеству Андрея Платонова не только на его родине, но и во многих зарубежных странах. Его произведения переведены на иностранные языки, за рубежом созданы платоновские клубы и общества, объединяющие любителей и знатоков его творчества. Он родился в нашем городе в 1899 году, с 13 лет стал зарабатывать на жизнь своим трудом — работал в железнодорожных мастерских, в литейном цехе трубочного завода, помощником машиниста на паровозе. В 1918 году поступил в железнодорожный политехникум, где получил специальность электромонтера. Рано начал писать стихи, публиковался в воронежских газетах, в журнале «Железный путь». В двадцатых годах активно работал по своей специальности — строил электростанции, занимался мелиорацией земель в районах губернии. Потом уехал в Москву и занялся вплотную литературным творчеством.

В сентябре 1999 года в Воронеже прошло открытие единственного пока в мире памятника писателю Андрею Платонову. Перед этим был проведен творческий конкурс на лучший проект памятника. Городская комиссия по сооружению памятника выбрала для воплощения в бронзе проект местных мастеров И.П. Дикуннова и Э.Н. Пак, предложив им провести некоторые доработки в предложенный на конкурс проект. Они изобразили писателя шагающим по улице родного города в развевающемся от ветра пальто. Памятник хорошо смотрится, он украсил город. Статуя получилась выразительной, динамичной.

В Воронеже стоят несколько памятников из тех, которые называют необычными. Их необычность должна отражаться и на имидже Воронежа, его жителей, его руководителей. Но об этих памятниках мало кто знает за пределами Воронежа. Город Урюпинск из соседней Волгоградской области отметил себя возведенным недавно памятником козе, из пуха которой местные жители вяжут платки. А Петербург на весь мир прославился памятником Чижиху-Пыжику. У нас тоже есть, чем похвалиться.

К необычным памятникам следует отнести памятники Белому Биму у кукольного театра и котенку с улицы Лизюкова у кинотеатра «Мир», что стоит как раз на улице Лизюкова. В разных странах установлено около двух десятков памятни-



Памятник Андрею Платонову. 1999 год
Памятник Белому Биму. 1998 год
Скульпторы И. Дикунов, Э. Пак.



ков собакам, но все они увековечили конкретных и реальных четвероногих друзей человека. А наш Бим — литературный герой, придуманный, как известно, воронежским писателем Г.Н. Тропольским. А после выхода в свет великолепного фильма по его повести Бим стал еще и киногероем. Котенок Василий с улицы Лизюкова тоже является и литературным, и мультипликационным героем. Сначала рассказ о котенке, который натерпелся обид от дворовых собак и удрал от них в Африку, написал воронежский писатель В.М. Злотников. Но знаменитым котенок Василий стал после выхода на экраны мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова», созданного по этому рассказу Алексеем Котеночкиным, сыном известного режиссера, знакомого миллионам кинозрителей по фильму «Ну, погоди!». Памятник Биму, открытый в сентябре 1998 года, создала семейная пара И.П. Дикунов и Э.Н. Пак, а над памятником Котенку, открытие которого состоялось 5 декабря 2003 года, трудились кроме них еще и их сыновья — начинающие скульпторы Максим и Алексей. И Бим, и котенок, воплощенные в металле, нравятся воронежцам, особенно детворе.

Еще один необычный памятник создала в Воронеже война. Сорок с лишним лет тому назад городской совет официально признал памятником войны руины, оставшиеся от разрушенного здания областной больницы во время немецкой оккупации правобережной части Воронежа. Больничное здание было построено в предвоенные годы по проекту столичного архитектора Д.Н. Чечулина. В течение семи месяцев боев за Воронеж оно находилось в зоне активных боевых действий и оказалось сильно разрушенным. Восстанавливать его не стали, стены разобрали на кирпич. А оставшийся от здания искореженный железобетонный купол, опирающийся на многочисленные колонны, воронежцы прозвали Ротондой. За прошедшие с той поры годы не раз разрабатывались проекты по созданию мемориальной зоны, частью которой должна стать Ротонда, но вся-

кий раз эти планы не сбывались. Грустно об этом вспоминать, но много лет подряд Ротонда была похожа на обычные городские развалины с присущими таковым свойствами — мусором, прибежищем любителей выпить и бродячих животных и т.п. Теперь ситуация изменилась. К 60-летию Победы над фашизмом территория вокруг Ротонды благоустроена, появилась ажурная металлическая ограда по периметру. А перед Ротондой установили невысокую стелу на пьедестале, и слова, высеченные на ней, говорят, что это не просто забытые людьми развалины, а весьма необычный памятник. Между прочим, подобных руин, оставленных потомкам, как напоминание о жестокости войн, в мире не более десятка. Есть они в Берлине, Дрездене, в английском городе Ковентри, в Варшаве. А изображения развалин бывшей мельницы в Волгограде со сквозными отверстиями от снарядов в ее стенах обошли, наверное, страницы всех иллюстрированных изданий мира. К сожалению, наша Ротонда не так знаменита, хотя, на мой взгляд, по архитектурному изяществу, если позволено так говорить о развалинах, по трагической наглядности она превосходит все известные в мире аналоги.

В юбилейный для Воронежа год следует вспомнить о военных памятниках, поскольку на протяжении всех предшествующих четырех веков Воронеж грудью закрывал от врагов государственные рубежи. Да и сейчас волею судьбы он снова стал пограничным городом. В городе около 150 братских могил. И только единственный из воинских памятников, сооруженный на Площади Победы, не содержит захоронений, если не считать символического захоронения праха Неизвестного солдата. Открытие его состоялось в мае 1975 года, а проект его исполнили скульптор Ф.К. Сушков и архитектор Н.Ф. Гуненков.

Я отнес бы к категории необычных и памятник генералу И.Д. Черняховскому, хотя на первый взгляд ничего особенного в нем нет. Необычна его судьба. Прежде чем встать на постамент в центре привокзальной площади в Воронеже 9 мая 1993 года, он сорок лет стоял в центре литовской столицы Вильнюса.

Летом 1942 года Верховный Главнокомандующий советскими вооруженными силами И.В. Сталин назначил генерала Черняховского командующим 60-й армией, державшей оборону в правобережных окрестностях Воронежа. После воронежского сражения генерал Черняховский вместе со своей армией воевал на Курской дуге, освобождал Украину, где за форсирование Днепра заслужил звание Героя Советского Союза. В апреле 1944 года он стал командующим 3-м Белорусским фронтом и за освобождение Белоруссии получил вторую звезду Героя. 18 февраля 1945 года во время ожесточенных боев в Восточной Пруссии генерал армии Черняховский был смертельно ранен осколком разорвавшегося рядом вражеского снаряда. В эти дни на столе у председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина лежал готовый к подписанию Указ о присвоении Черняховскому воинского звания Маршал Советского Союза. Похоронили генерала армии Черняховского в центре Вильнюса, освобожденного от немецко-фашистских захватчиков незадолго перед этим войсками 3-го Белорусского фронта, и на могиле по постановлению правительства СССР в 1950 году установили памятник работы московских мастеров скульптора Н.В. Томского и архитектора Л.Г. Голубовского. Четырехметровую статую генерала установили на постамент в виде танковой башни. На лицевой грани постамена написали на литовском языке: «Генералу армии Черняховскому И.Д. от литовского народа». А 40 лет спустя власти от имени того же народа памятник демонтировали, а генерала из освободителя произвели в оккупанта. Прах генерала перевезли в Москву и захоронили на Новодевичьем кладбище. А статуя оставалась бесхозной. О вандализме литовских властей стало известно в Воронеже, и вскоре в Вильнюс отправилась для переговоров о передаче памятника Воронежу полномочная делегация во главе с начальником городского управления культуры И.П. Чухновым. Переговоры были непросты-



Ротонда
Памятник на площади Победы



Памятник генералу И.Д. Черняховскому.
Скульптор Н. Томский. 1950 год



ми, литовские начальники пытались выставить дополнительные условия, но, тем не менее, вскоре бронзовая статуя полковника пересекла государственную границу России и оказалась в Воронеже. Было это в конце 1991 года. Непросто было воронежским руководителям решить в то тяжелое в экономическом отношении время проблемы, связанные с сооружением памятника. Средства для этого нужны были немалые. В банке открыли специальный счет, куда стали поступать пожертвования от предприятий, организаций и частных лиц. В средствах массовой информации шла оживленная дискуссия о месте для памятника и, в конце концов, остановились на привокзальной площади, которая еще с конца 40-х годов носит имя Черняховского.

В последние десятилетия в России стали возводиться памятники деятелям православной церкви. Появился такой памятник и в Воронеже. Им стал многофигурный монумент святителю Митрофану, первому епископу Воронежской епархии после ее образования в 1682 году. В последние годы своего двадцатилетнего руководства епархией епископ Митрофан тесно сотрудничал с царем Петром, много раз приезжавшим в Воронеж по делам, связанным со строительством флота. Есть сведения, что он оказал царю и финансовую поддержку в этих делах. А 4 декабря 1703 года царь принял участие в похоронах Митрофана, скончавшегося 23 ноября.

Похоронили епископа в Благовещенском соборе. Собор не раз ремонтировался, гроб епископа при этом переносился с места на место, пока однажды, а случилось это 11 декабря 1831 года, не обнаружилось, что останки епископа Митрофана за прошедшие сто с лишним лет не истлели. В следующем году он был причислен к лику святых, мощи его были выставлены для всеобщего поклонения. По России быстро прошла молва о чудодейственных исцеляющих свойствах нетленных мощей святого Митрофана. Открытый вскоре в Воронеже Митрофановский монастырь, куда

вошел и Благовещенский собор, стал привлекать в город многие тысячи богомольцев со всех концов России. Русские монархи, посещавшие Воронеж, считали своим долгом первым делом приложиться к святым мощам.

Решение о сооружении в Воронеже памятника святителю Митрофану было принято руководством Воронежской и Липецкой епархии (уже после этих событий епархию преобразовали в Воронежскую и Борисоглебскую). Конкурса на лучший проект не проводили, а поручили работу над памятником семейному тандему скульпторов — И.П. Дикуну и Э.Н. Пак. Они предложили проект памятника, состоящего из центральной фигуры епископа на высоком постаменте и четырех скульптур ангелов во весь рост, расставленных по углам постамента. Архитектурную часть проекта памятника исполнил В.П. Шевелев. Он же является и автором проекта Благовещенского собора, который до сих пор строится в бывшем Первомайском сквере. Рядом с собором и установили памятник святителю Митрофану. Открытие памятника состоялось 23 мая 2003 года. Оно приурочено было к ежегодному Дню славянской письменности и культуры, местом проведения которого в том году избрали Воронеж.

Относительно недавно в Воронеже открыт памятник Сергею Есенину, открытие которого состоялось 25 октября 2006 года. Инициатором его сооружения был Е.И. Иванов — директор общественного музея Есенина в Воронеже. Ему удалось заинтересовать этой идеей известного актера Сергея Безрукова, исполнителя роли Есенина в прошедшем тогда по экранам многосерийном фильме о поэте. Актер не только приехал на открытие памятника, но и оказал материальную поддержку в сооружении его. Вторым спонсором стал известный воронежский предприниматель и меценат Владимир Бубнов. Московский скульптор вице-президент Академии художеств РФ Анатолий Бичуков безвозмездно передал городу гипсовую модель бюста Есенина своей работы, по которому в Москве изготовили бронзовую отливку.

Иногда приходится слышать, какова, мол, связь между Воронежем и Есениным, что послужило поводом для сооружения памятника ему в Воронеже. Действительно, Есенин не бывал в нашем городе, нет у него стихов про Воронеж. Но к творцам такого масштаба не стоит применять устоявшиеся принципы подхода — посетил, значит, достоин памятника или мемориальной доски. Пушкину, к примеру, в России установлено около тысячи памятников, в т. Ч. более сотни за Уралом, где не ступала его нога. Всенародная любовь к поэту — самый надежный повод к сооружению ему памятника. И лучшим доказательством этому служат те несколько тысяч воронежцев, которые пришли на открытие памятника Сергею Есенину.

В последние годы в городе появились один за другим сразу три новых памятника. Первый из них — памятник Оси-



Памятник Осипу Мандельштаму.
Скульптор Л. Гадаев. 2008 год

пу Мандельштаму. Воронежская литературная общественность давно поднимала вопрос о памятнике великому поэту, оказавшемуся в Воронеже не по своей воле в середине 1930-х годов. Но денег у городской казны не находилось. А тут вдруг случилась оказия — столичные власти отказались устанавливать памятник поэту, спроектированный московским скульптором Л. Гадаевым. Тогда скульптор предложил воронежским властям бесплатно свой проект. Так и появился в окраинном уголке Детского парка в сентябре 2008 года бронзовый Мандельштам.

Совсем недавно у музея-диорамы появился монумент «Город воинской Славы». Великолепный памятник! Теперь во всех городах воинской славы будут стоять одинаковые монументы. И Воронеж оказался первым.

Осталось нам в раздумье постоять у памятника Владимиру Высоцкому на бульваре по улице К. Маркса. То, что знаменитый актер, поэт и певец не бывал ни разу в нашем городе, оставим за скобками. Зато у нас много любителей его творчества. А один из них к тому же имел возможность подарить городу памятник своему кумиру. У памятника всегда многолюдно. Он прочно вписался в культурную ауру Воронежа, ставшего в числе двадцати других мест России, где есть памятник популярному и любимому актеру и певцу.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Отдельно следует поговорить о мемориальных досках. Это тоже памятники. Более того, зачастую скромная мемориальная доска несет в себе больше конкретной культурно-исторической информации, чем внушительных размеров памятник, она тесно связана с местом, где установлена, потому что начинается текст на ней со слов: «в этом доме..., на этой площади..., в этой школе...».

Первые две доски в Воронеже появились в 1911 году. Они посвящались И.С. Никитину, 75-летие которого отмечалось тогда в России. Одну из этих досок и сегодня можно увидеть на здании дома, где жил и умер поэт и где с 1924 года размещается дом-музей Никитина. Вторая доска погибла во время последней войны вместе со зданием, где И.С. Никитин держал в свое время книжный магазин-библиотеку.

Мемориальными досками увековечены в Воронеже места жизни и деятельности писателей А.В. Кольцова, И.С. Никитина, И.А. Бунина, А.П. Платонова, О.Э. Мандельштама, С.Я. Маршака, Г.Н. Троепольского, В.А. Кораблинова, А.И. Шубина, Ю. Янониса. Кратковременное пребывание в нашем городе таких известных деятелей литературы, культуры и науки, как М.Ю. Лермонтов, Г.И. Успенский, А.П. Чехов, В.В. Маяковский, Д.Д. Шостакович, А.А. Ахматова, академик С.В. Лебедев тоже отмечены мемориальными досками. Мемориальные доски выдающимся ученым и конструкторам, среди которых нобелевские лауреаты в области физики Н.Г. Басов и П.А. Черенков, профессор М.С. Цвет — основатель хроматографии, конструкторы ракетно-космических двигателей С.А. Косберг и А.Д. Конопатов, врачи Н.Н. Бурденко, К.В. Федяевский и А.Г. Русанов, ученый-космонавт К.П. Феоктистов подтверждают статус Воронежа как крупного научного центра с развитыми промышленностью и системой образования.

Семимесячная оборона Воронежа в 1942-1943 годах, когда линия фронта все это время делила город на две части — нашу и немецкую, отмечена несколькими мемориальными досками, обозначившими места расположения штабов Юго-Западного фронта, 100-й, 121-й, 206-й и 232-й стрелковых дивизий, городского комитета обороны, формирования добровольческого коммунистического полка под командованием полковника М.Е. Вайцеховского.

В 2000-м году городскими властями по ходатайству ветеранских организаций

было принято решение увековечивать установкой мемориальных досок память ушедших из жизни Героев Советского Союза, проживавших в Воронеже. Первая такая доска появилась в 2001 году. А всего на сегодняшний день в соответствии с этим решением установлено 65 досок Героям Советского Союза. Следует отметить, что среди наших истинных земляков, т.е. людей, родившихся в Воронеже, насчитывается 13 Героев Советского Союза. Двое из них — космонавт К.П. Феоктистов и летчик-испытатель В.И. Чечулин — стали Героями в мирное время, а остальные удостоены этого высокого звания за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны.



Мемориальная доска, посвященная художнице Елене Киселёвой

В 1984 году, когда вышла моя небольшая книга «Мемориальные доски Воронежа», в городе насчитывалось 67 мемориальных досок. Сегодня их — 237. И это, не считая так называемых информационных досок, устанавливаемых на первых и последних зданиях улицы и разъясняющих, в честь кого названа улица. В соответствии с законами философии количество неизбежно должно переходить в качество. А меня такой четырехкратный рост досок одновременно и радует, и огорчает. Радует активность граждан, творческих и общественных организаций. Радует отмена всевозможных партийно-государственных ограничений, действовавших многие десятилетия на этом поприще. И в то же время мне не нравятся десятки одинаковых мемориальных досок, различающихся только фамилиями и датами. Количественный рост всегда связан с явлением девальвации, идет ли речь о финансах или о ценностях иного порядка. Поэтому и приходят в официальные органы предложения об установке мемориальных досок директору школы, руководителю небольшого предприятия, депутату думы. Поэтому появилась явочным порядком без обсуждений и согласований на Театральной улице мемориальная доска Галине Старовойтовой, проведенной в Воронеже два командировочных дня.

Существует в Воронеже четкий порядок действий по установке мемориальных досок. Предложения муниципальных, коммерческих, общественных организаций или частных лиц направляются в городскую администрацию, откуда они попадают в городское управление культуры. При управлении уже много лет действует общественная комиссия по культурному наследию, в составе которой руководители и члены творческих союзов — писателей, художников и журналистов, профессиональные историки, инженеры, архитекторы. На комиссии скрупулезно обсуждаются все проблемы, связанные с каждым предложением — и сама целесообразность установки памятника или доски, тексты на них, эскизы и проекты. Решения принимаются большинством голосов открытым голосованием. И в то же время состав комиссии является в значительной степени своеобразным срезом современного общества. Это отражается иногда на ее работе, приводит к оживленным дискуссиям и взаимоисключающим предложениям, отражающим политические пристрастия и вкусы членов комиссии. Вспоминаются недавние длительные дебаты в связи с установкой мемориальной доски, посвященной приезду в Воронеж в 1936 году поэтессы Анны Ахматовой. Инициаторы установки доски решили поместить в ее центре изображение окна с тюремной решеткой, что, по их мнению, должно символизировать преследование властями и правоохранительными органами и самой Анны Андреевны, и членов ее семьи. С этой тю-

ремной экзотикой не согласилось большинство комиссии (а большинство определилось поименным голосованием), считая ее, прежде всего, оскорбительной для Воронежа, не имеющего отношения к репрессиям великой поэтессы, ее мужа и сына. Между прочим, на мемориальной доске О. Мандельштаму, к которому как раз и приезжала в Воронеж Ахматова, когда он был здесь в ссылке, нет никаких тюремных аксессуаров. Однако решением мэра был утвержден вариант доски Ахматовой с решеткой. Видимо, у него свое видение проблемы, или другие советчики — ведь решения комиссии носят рекомендательный характер для руководства мэрии. Некоторые люди, глядя сейчас на эту доску, думают, что ранее в этом здании поликлиники у Петровского сквера располагалась тюрьма.

Последнее время появилась необходимость говорить не только о появлении в городе мемориальных досок, но и об их исчезновении. И дело не только в хулиганстве и вандализме. Пропажа досок стала приметой времени перехода к российскому неокapитализму в воронежском исполнении. Наши предприниматели решили, что, приватизировав или получив в аренду здания с историческим прошлым, они получили одновременно право и на приватизацию истории. Вот вам несколько примеров.

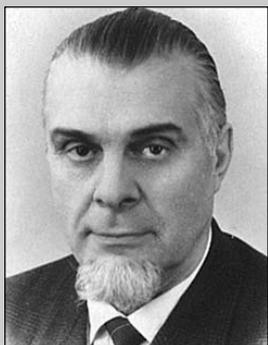
Владелец кинотеатра «Спартак» при реконструкции здания снял с фасада гранитно-бронзовую мемориальную доску, рассказывающую о событиях октября 1917 года, а на ее место повесил рекламный щит в богатой раме, расписывающий прелести кофейни при кинотеатре. И, в самом деле, зачем современному хозяину постоянное напоминание о «русском бунте», а кофейня приносит прибыль. А в моем представлении он недалеко ушел от тех пацанов, которые ломиком вырвали недавно чугунную мемориальную доску со стены железнодорожной поликлиники.

На доме-памятнике, где жил и умер наш великий земляк Алексей Кольцов (проспект Революции, 46) о Кольцове 35 лет напоминала воронежцам великолепная мраморная доска. Новый арендатор решил устроить витрину во всю ширину здания, и доска там оказалась лишней. Около двух лет городское управление культуры требовало найти место для доски Кольцову, пока, наконец, ее не укрепили на проезжей части у въезда во двор. С фасада соседнего дома год назад сняли в преддверии перестройки магазина мемориальную доску писателю А.И. Шубину. Предусмотрят ли для нее место в обновленном фасаде дома, пока неизвестно.

При реставрации бывшего дома Вигеля на улице Вайцеховского пропала чугунная доска, сооруженная еще в 1925 году в честь революционных событий 1905 года. При ремонте бывшего губернаторского дома (пр. Революции, 22), проведенного несколько лет назад, с фасада здания исчезли две мемориальные доски. Одну недавно обнаружили в какой-то кладовке и вновь установили, а следы второй затерялись.

Недалеко ушли от таких приватизаторов руководители торговых, развлекательных и иных организаций, устанавливающих рядом с мемориальной доской какую-нибудь затейливую вывеску или рекламу. На доме №26/28 по проспекту Революции в десяти сантиметрах от доски Героя Советского Союза А.К. Сувору прилепили кричащую вывеску игорного клуба. Через год после установки на здании главпочтамта доски М.Ю. Лермонтову рядом с нею прибили кондиционер, и теперь на фотографиях у многочисленных любителей поэзии Михаила Юрьевича рядом с художественно исполненной доской красуется неказистый кондиционер.

Думаю, давно пришло время принять местный закон, запрещающий даже временное снятие мемориальной доски без разрешения городской администрации и размещение чего-либо постороннего в радиусе трех метров от мемориальной доски. Объект памяти — священное место, и загромаждать его всякого рода повседневными деталями оскорбительно по отношению к нашей общей истории.



Николай Владимирович Троицкий (1900—1984) родился в Воронеже. Знаменитый архитектор, педагог, краевед, профессор Воронежского инженерно-строительного института. С 1943-го по начало 1950-х годов главный городской архитектор, возглавивший восстановление разрушенного в войну Воронежа. Спроектировал ряд зданий, которые по праву называют жемчужинами города. Автор мемуаров и книг о Воронеже.

Николай Троицкий

СЕРДЦУ ЖИТЕЛЕЙ ОН ДОРОГ И СЕЙЧАС

Я начал писать «Облик будущего Воронежа», когда стоило вести речь про то, чтобы как можно скорее переселить жителей из подвалов, землянок, трущоб. В каждый свободный час мы, архитекторы, перекраивали облик города, помня совет лучших отечественных и зарубежных зодчих — каждый град должен иметь свое лицо. Начальство вытрясло из меня душу: «Ты, Николай Владимирович, больно не раздумывай! Не жалей этих дворянских и купеческих развалюх. Они только на разборный кирпич годны!» «Да, — соглашался я, — кирпич для нас сегодня материал стратегический. И никто не вправе поколебать твердый план его заготовки из безнадежных развалин. Но может ли спускаться план на разборку останков исторических зданий? Нашего Кольцовского театра, например? Не еднужды играли в его стенах великие актеры прошлого — Шепкин, Мочалов, Комиссаржевская. Стены те помнят короля русской драматургии Островского. Сломать нашего Кольцова — это то же самое, что сломать Большой театр в Москве!» Удалось нам отстоять и полукружье развалин довоенного здания Управления дороги. Не в том суть, что я его когда-то проектировал, а в том, что это тоже наша история,

пусть даже не стоить давняя. Отсюда ведь «Золотое сечение» города начинается!

Из беседы корреспондентов газеты «Коммуна» с Н.В. Троицким.

Обогнув выступающее полукружье угловой части здания Управления железной дороги, мы попадаем на главную парадную улицу Воронежа — проспект Революции.

Как шумно и весело здесь в этот вечерний час! По широким тротуарам, под кронами старых тополей и молодых лип, постепенно заменяющих зеленых ветеранов, воспетых еще И.С. Никитиным, двинутся несчетные потоки воронежцев.

Воронежцы любят проспект Революции. Любят его сады и скверы, театры и кино, его магазины и кафе, его вечернее оживление. Для жителей города проспект Революции — это примерно то же, что для пензенцев — Невский проспект, а для москвичей — улица Горького. Погулять по проспекту в вечерние часы съезжается молодежь из самых отдаленных районов города.

Зайдем в Петровский сквер. Нам не удастся найти места на скамьях, поставленных вдоль его аллей; хотя нет здесь ни эстрады, ни аттракционов, все занято. Чудесно разрослись в сквере деревья. Между раскидистыми дубами на центральной площадке высится на гранитном пьедестале статуя Петра I.

...От Петровского сквера проспект хорошо просматривается в обе стороны.

К северу он кажется большой аллеей парка — так много зелени подходит к его границам! Первомайский сад, деревья перед восстановленными и реконструированными зданиями больницы, декоративные посадки сирени, туи и елей и густолиственные листья вокруг старинного здания бывшей гимназии, сейчас переданного технологическому институту, делают эту часть проспекта Революции очень живописной.

...Копьцовский сквер был небольшим и узеньким островком зелени, и в том конце его, что напротив кинотеатра «Спартак», возвышалась капанча и стояли конюшни пожарной команды Мещанской полицейской части.

Но и тогда это был городской центр, так как фасадами на сквер стояли: двухэтажное здание городской думы, два кинотеатра, одноэтажный банк и один из пяти четырехэтажных домов города — жилой «доходный» дом купца Петрова. Это было довольно грубое по архитектуре здание постройки 1911 года, но оно завершалось полукруглым фронтоном с большим панно из майоликовых плиток, изображающих Петра I со свитой, отправляющего в поход корабль.

Считалось, что панно создано известным художником М.А. Врубелем, и оно действительно было очень интересным и ценным.

...Эти особенности Воронежа — его живописный внешний вид, богатейшие природные условия, внутренний простор улиц и площадей — при дальнейшем росте города будут не только сохранены, но и широко использованы, подчеркнуты и развиты.

Из книги Н.В. Троицкого «Вот он, наш город».





Семен Ариевич Косберг (1903—1965) родился в городе Слуцке Минской губернии. Инженер, эксперт в области авиационных и ракетных двигателей. Доктор технических наук, Герой Социалистического Труда. В Воронеже как руководитель ОКБ жил с первых послевоенных лет. Под его руководством разработана III ступень ракеты, с помощью которой появилась возможность развить 2-ю космическую скорость. Внес неоценимый вклад в осуществление первого в мире полета человека в космос.

Семен Косберг

МОТОР, КАК ЧЕЛОВЕК, ПОНИМАЕТ, ЧТО ТАКОЕ «НАДО»

Вот, приставили вас к взлетной технике, так и сделайте так, чтобы она не помапась.

Совет Косберга работникам парковых аттракционов, измеряющих силу ударом молотка.

Война — годы страшного перенапряжения, когда Косберг, один из генералов тыла, из всего многообразия служебной терминологии: могу — не могу, получается — не получается, успею — не успею, знал только одно слово: «Надо».

*Из книги Я. Голованова
«Дорога на космодром»*

Мотор, как человек, понимает, что такое «надо», стискивает зубы и петит, несмотря ни на что.

С.А. Косберг, 1942 год

Двухступенчатый ракетоноситель С.П. Королева успешно вывел на орбиту три первых искусственных спутника Земли. Однако дальнейшее изучение космического пространства было невозможно без третьей ступени, которая должна была завершить разгон корабля до второй космической скорости.

...По своим техническим эксплуатационным характеристикам каждый из этих двигателей обеспечивал достижение качественно нового развития отечественной ракетной техники.

С помощью ракетоносителя «Восход» осуществлены первые запуски автоматических межпланетных станций «Пуна», «Венера», «Марс»...

Из речей С.А. Косберга

Отклонение от нормы — это норма. Хуже, когда сначала все идет гладко.

Ради достижения цели действуй так: выгонят в одну дверь — заходи в другую. Не теряй своего достоинства, ходи по ковру, а не сбоку.

Фразы Косберга, ставшие афоризмами.

Косберг: «Почему работаете без противогазов?»

Шенкин, бригадир испытателей камеры сгорания: «Сюда вообще войти без противогаза нельзя, даже главному конструктору».

Косберг (бросив сердитый взгляд на теплячку одного из испытателей): «Моряки, я знаю, народ смелый. Смелые нам сейчас нужны как никогда. Но бесшабашных нам не надо».

*Из диалога С.А. Косберга с испытателями
копцевых камер сгорания в начале 1950-х годов*

Слушай, давай я тебе брюки сконструирую. Разве на тебе брюки? Мешок!

*Из разговора С.А. Косберга с разволнованным
молодым конструктором на космодроме*

Отвечающий за тормозную систему «Востока» Мишин постепенно седел на моих глазах все 108 минут гагаринского полета.

Из воспоминаний С.А. Косберга о дне 12 апреля 1961 года

«За третью ступень...»

*Самый первый автограф Ю.А. Гагарина
на газете «Волжская коммуна» от 13 апреля 1961 года
с сообщением ТАСС о полете человека в космос,
подаренный С.А. Косбергу*

«Поздравленьем длинным, нудным, не хотим отягощать
Просто, папа, мы Вас любим, и пора Вам это знать».

*Поздравление С.А. Косберга отцами КБХА с новым, 1965 годом.
За четыре дня до смерти*

«Шофера ни в чем не винить...».

*Первые слова С.А. Косберга после автокатастрофы
у Вогрэсовского моста*





Владимир Николаевич Глазев родился в 1960 году в селе Нелжа Березовского района Воронежской области. Доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Воронежского государственного университета. Автор 110 работ по истории России XVI-XVIII вв., истории Воронежа и Воронежского края.

Владимир Глазев

НЕ ХОТЕЛ «СИДЕТЬ В ИЗБЕ»

(Основатель Воронежа
воевода Семен Сабуров)

Ныне существующий город Воронеж был основан 425 лет назад как крепость на южных российских рубежах. Строительством укреплений руководил воевода Семен Федорович Сабуров — яркая и примечательная личность в российской истории.

Воевода принадлежал к видному московскому боярскому роду. Несколько веков Сабуровы служили московским государям, ходили в походы, участвовали в дипломатических переговорах, занимались обустройством Руси. Три рода — Сабуровых, Годуновых, Вельяминовых — происходили из семьи костромичей Зерновых, известной с начала XIV века. Дед первого воронежского воеводы Семен Иванович Сабуров Вислоух в конце XV века получил от Ивана III поместье в Новгородской земле. От него пошло самое значительное ответвление рода Сабуровых. Отец С.Ф. Сабурова Федор Папа, по деду и отцу первый воронежский воевода носил родовые прозвища Вислоухов и Папин.

Широкую известность роду принесла женитьба великого князя московского и всея Руси Василия III на Соломонии Сабуровой. Соломония не стала матерью наследника престола и великий князь развелся с ней после двадцатилетнего супружества. Некоторое время после этого Сабуровы оставались в тени.

Новое возвышение рода пришлось на конец XVI в. — начало XVII в., когда Сабуровы входили в число аристократических фамилий. Это было связано с возвышением Бориса Годунова, который при царе Федоре (1584-1598) являлся фактическим правителем государства, а в 1598 году взшел на престол как царь Борис. Родственники Годуновых Сабуровы иногда писались в документах как Сабуровы-Годуновы, что подчеркивало их связь с влиятельным правителем. В свою очередь Борис Годунов охотно признавал родство с Сабуровыми. В грамоте крымскому хану Борис Годунов назвал своего посла в Крым Семена Федоровича Сабурова «братом».

Русские дворяне начинали службу с 15 лет. В этом возрасте «новик» Семен Сабуров выступил в свой первый поход. Боевое крещение Семен получил на полях сражений Ливонской войны. Как командир дворянской сотни в 1573 году он сражался со шведами, с сообщением о взятии шведской крепости ездил в Старицу к Ивану Грозному, был пожалован наградой — соболями и дорогой тканью. За заслуги Сабуров получил город Белая под Смоленском в наместничество (наместника содержало — «кормило» население). Затем он служил воеводой в разных крепостях Северо-Запада России.

Во второй половине 1580-х годов Семен Сабуров носил чин московского дворянина. К числу московских дворян принадлежал брат Семена Верига Федорович Сабуров. Семен Федорович имел поместья в Московском, Ржевском, Новоторжском уездах, но не считался богатым землевладельцем как иные московские дворяне.

В 1585 году Семен Сабуров — вновь служил под Смоленском. В том же году он получил приказ прибыть в Москву. В столице той осенью рассматривался вопрос об основании на южной границе новых крепостей. Они предназначались для защиты от нападений крымских татар, а также отрядов из Речи Посполитой. России необходимо было держать под контролем путь на нижний Дон к донским казакам и в турецкий Азов.

Обстановка на южной границе России в 1585 году была тревожной. В июле в Москве была получена отписка головы Романа Вердеревского о том, что на него у Богатого затона (район современного города Лиски) напали подданные Речи Посполитой — черкасы. В ответ против черкас было направлено войско во главе с орловским воеводой. Оно состояло из трех полков: большого из Орла, передового из Мценска, сторожевого из Михайлова. Войско передвигалось по левому берегу Дона и имело задачей «черкас с Дона согнать». Из Данкова на судах вниз по Дону был направлен отряд казанских стрельцов и казаков. Напряженность в районе Поля создавало и Крымское ханство. В октябре 1585 года крымские татары напали на Рязанский уезд, против неприятеля посылались войска из Тулы.

Неспокойная обстановка на южной окраине вызвала царский указ и приговор Боярской думы об основании Воронежа. В конце ноября С.Ф. Сабурову было выдано предписание ехать на южную окраину и на берегу реки Воронеж, вблизи ее впадения в Дон, построить новую крепость. Ему в помощь были назначены головы В.Г. Биркин и И.Г. Судаков-Мясной. Место крепости предстояло выбрать руководителям строительства. В низовьях реки Воронеж в те времена не располагалось русских городов, сел, деревень. Тем не менее местность была хорошо известна жителям Рязанского и Тульского краев. Здесь охотились, ловили рыбу, собирали мед.

Город Воронеж строился зимой 1585-1586 года. Крепость возводили присланные из Рязьска, Данкова, Переславля Рязанского крестьяне, набранные на службу в новый город стрельцы, плотники. С.Ф. Сабуров набирал на службу в новый город «вольных людей», в том числе донских, волжских, яицких казаков. В 1585-1586 годах сооружался главный храм Воронежа — деревянный Бла-



Сооружение дрезвоземляных укреплений русского города.
Миниатура Лицевого летописного свода. 70-е гг. XVII века. Прорисовка.

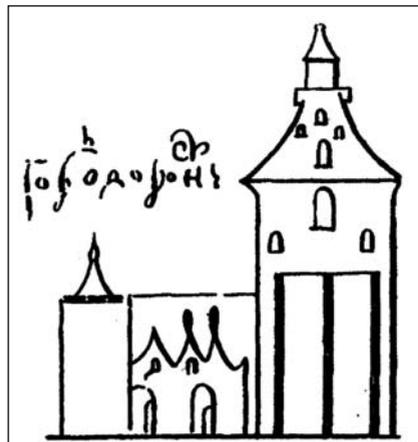
Поместная конница в походе.
Из книги С. Герберштейна «Записки о Московии». XVI век.

говещенский собор. В слободах служилых людей строились приходские церкви. Постоянными жителями города стали священники.

Воевода С.Ф. Сабуров, головы В.Г. Биркин и И.Г. Судаков-Мясной осуществляли общее военное и административное руководство. Непосредственно возведением деревянной воронежской крепости руководил городской мастер, знаток сооружения укреплений из бревен. Имени первого воронежского зодчего мы, к сожалению, не знаем. Стены и башни рубили плотники, набранные по южнорусским городам. Через девять лет, в 1594 году, работами по восстановлению Воронежа после черкасского разорения руководил мастер Илья Катеринин. За два года до этого Катеринин и не названный по имени мастер из Владимира строили Елец. Возведением деревянной крепости в Валуйках руководил городской мастер Якуш Долматов.

Город Воронеж получил название по реке. Специального решения по этому поводу не принималось. В царском указе и боярском приговоре предписывалось построить город «на реке Воронеж». Возведенный город в документах стал именоваться Воронежем. Среди городов «на Поле», построенных в конце XVI века, только одному особым указом было присвоено имя. Возведенная в 1599 году самая южная крепость в месте слияния рек Оскола и Северского Донца стала называться Царев Борисов в честь царя Бориса Годунова.

Следует подчеркнуть тот факт, что город Воронеж начал строиться зимой, на дальней лесостепной окраине Российского государства. С одной стороны, зимнее строительство имело преимущества. Использовался санный путь для перевозки леса, река была покрыта льдом. К тому же крымский хан редко совершал зимние набеги, зимой строить крепость было безопаснее чем летом. С другой стороны, зимнее строительство в незаселенной местности было сопряжено с тяжелыми испытаниями. Мужество, выдержка, терпение наших далеких предков вызывает глубокое уважение.



Город Воронеж. Начало XVII века.

Рисунок одной из башен Воронежской крепости, найденный среди бумаг XVII века.

Деревянная воронежская крепость располагалась в районе современного главного корпуса ВГУ. Она включала два кольца укреплений: город и острог. Город, в узком смысле слова, — это ядро крепости, самое защищенное стенами и башнями, кремль не каменный, а деревянный. Второе кольцо дубовых стен, охватывавшее более широкую площадь, называлось острогом.

После основания города С.Ф. Сабуров был отозван в Москву. Его служба продолжалась. В Поволжье он строил другую крепость — Цивильск, участвовал в подавлении восстания местных народностей. Первый воронежский воевода выполнял царское поручение в другом пограничном городе Ливнах, основанном одновременно с Воронежем. В 1588-1589 гг. Семен Федорович служил в далеком Орешке — городе на северо-западной окраине России. После начала русско-шведской войны в феврале 1590 года воевода С.Ф. Сабуров во главе русских полков штурмовал Иван-город. Подвергая опасности свою жизнь, не зная страха, воевода вел ратников в атаку и крепость была взята.

Семен Федорович с рвением относился к военной службе. Его стихия — ратное дело, руководство служилыми людьми, строительство крепостей. В этом он знал толк. Работа чиновника, составление бумаг, разбор тяжб не привлекали воеводу. Поэтому С.Ф. Сабуров отказался от назначения возглавить особое ведомство — Рязанский судный приказ. С его слов — не хотел «сидеть в избе».

4 апреля 1591 года Семена Федоровича Сабунова ждало повышение — он стал окольниким. Окольничий — второй по значимости после боярина чин в Российском государстве, дающий право на участие в заседаниях Боярской думы.

Летом 1591 года к Москве с войском подошел крымский хан Казы-Гирей. Семен Федорович Сабуров руководил артиллерией, участвовал в преследовании неприятеля. Но уже в сентябре того же года окольниким Сабунов был послан воеводой в Новгород — прифронтовой город русско-шведской войны. В декабре как воевода передового полка он штурмовал Иван-город.

Ратные заслуги С.Ф. Сабунова были замечены главой государства. Воеводу приглашают участвовать в придворных церемониях. В июне 1592 года на крестинах дочери царя Федора царевны Федосьи окольниким С.Ф. Сабунов сидел за одним столом с патриархом, митрополитами и боярами. В следующем году на День

ангела государя ел за праздничным столом в царских палатах, присутствовал на царском обеде в Девичьем монастыре.

В 1595 году С.Ф. Сабуров был назначен воеводой в Чернигов. В 1598-м царем Борисом Годуновым направлялся в поход против предполагаемого нападения крымского хана. В том же году С.Ф. Сабуров выполнял ответственное поручение выбранного на царство Бориса Годунова — ездил в Смоленск принимать присягу новому царю у жителей города.

Несмотря на нежелание сидеть в приказах Сабуров все-таки получил чиновничье назначение — в 1599 году он возглавил Владимирский судный приказ, но на короткое время. Царь направил окольного С.Ф. Сабурова на воеводство в главный город недавно присоединенной Сибири Тобольск. Перед выездом Годунов принимал у себя посланного в Сибирь воеводу. Впервые за Урал направлялся администратор столь высокого ранга. Тобольск при Сабурове стал центром военно-административного округа — Тобольского разряда. В Тобольске в 1600-1601 году С.Ф. Сабуров умер, находясь на службе. Детей он не оставил, вдова Настасья наследовала поместья мужа.

Семен Федорович Сабуров выделяется из ряда воронежских воевод, возглавлявших город в первое столетие его существования. Руководство строительством крепости, набором в нее служилых людей, их устройством на новом месте — дело, выходящее за рамки обычного городского воеводства. При назначении основателя крепости правительство не могло не учитывать его личные качества, опыт, организаторские способности. Необходимо признать, что выбор воеводы для возведения Воронежа оказался удачным.

К сожалению, в Воронеже, в отличие от других городов, нет памятника или памятного знака в честь основателя города. Идея возвести памятник воеводе С.Ф. Сабурову пока далека от практического воплощения. На мой взгляд, такой памятник украсил бы наш город и расширил список его достопримечательностей.





Александр Николаевич Акиншин родился в 1955 году в селе Козловка Бутурлиновского района Воронежской области. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Доцент кафедры истории России ВГУ. Автор свыше 300 работ по историческому краеведению и генеалогии. Дважды лауреат Воронежской областной премии им. Е.А. Болховитинова. Живет в Воронеже.

Александр Акиншин

«ОБЯЗЫВАЮСЬ ДОЛГОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ...»

(Дмитрий Бегичев —
губернатор и писатель)

Только два дореволюционных воронежских администратора представлены в фундаментальном Словаре русских писателей XIX века — Дмитрий Никитич Бегичев и Дмитрий Михайлович Позняк. Но вице-губернаторство последнего в 1890-1893 годах не оставило заметного следа в истории нашего города. Чем же примечателен именно Д.Н. Бегичев, статья о котором вошла также в новейшее издание «Большой российской энциклопедии», не говоря уже о давних Брокгаузе и Ефроне и «Русском биографическом словаре»?

Дмитрий Никитич Бегичев родился 17 сентября 1786 года в селе Никитское Ефремовского уезда Тульской губернии и принадлежал к старинному дворянскому роду, ведущему свое происхождение от татарского мурзы Беги-ча, выехавшего из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Донскому. Первоначальное образование Дмитрий получил дома, под руководством отца, и в десятилетнем возрасте был определен в Пажеский корпус. В 1802 году выпущен корнетом в Александрийский гусарский полк, однако служить там не стал, а перешел актуариусом в Коллегию иностранных дел. В 1804 году Дмитрий Бегичев вернулся на военную службу в качестве адъютанта командира Чугуевского казачьего полка генерала Андрея

Семеновича Кологривова, своего двоюродного дяди. Бегичеву довелось участвовать в сражениях при Аустерлице (1805) и Фридланде (1806), выполнять ответственные и опасные поручения.

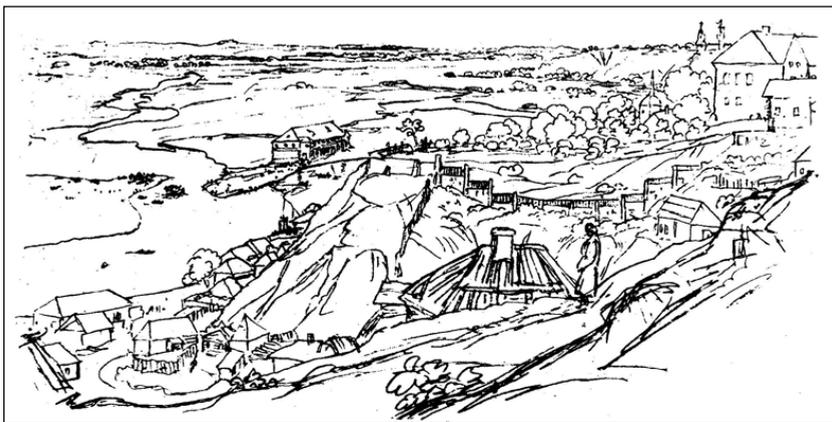
В 1808 году штабс-ротмистр Дмитрий Бегичев вышел в отставку, став вольным московским баринином. «Гроза двенадцатого года» призвала его вновь на службу. Бегичев назначен правителем канцелярии генерал-аншефа А.С. Кологривова, формировавшего в Тамбове кавалерийские полки. С 1813 года участвовал в боевых действиях в составе лейб-гвардии Гусарского полка, где служил вместе с братом Степаном Бегичевым и его близким другом Александром Грибоедовым.

17 августа 1817 года Д.Н. Бегичев был переведен полковником в Иркутский пехотный полк, 12 февраля 1819 года назначен дежурным штаб-офицером 2-го пехотного корпуса, а в ноябре того же года Дмитрий Никитич окончательно расстался с военной службой. Как раз в последние годы службы и сразу после отставки, в 1817—1820 годы, он часто встречался с Пушкиным в петербургских театральных кругах.

В отставке Бегичев провел десять лет, живя в Москве и в подмосковной деревне Якши и занимая незначительные должности по дворянским выборам. 28 января 1830 года по предложению московского генерал-губернатора Арсения Закревского Дмитрий Никитич Бегичев был назначен воронежским гражданским губернатором с производством в чин статского советника. 2 марта он прибыл в город и вступил в исполнение своих обязанностей. В это время, как отмечал в своей статье В.В. Литвинов (1914), «особенно часто начали проявляться чудеса и повсеместно оглашаться чудесные исцеления от нетленных мощей Святителя Митрофана», что вызвало в Воронеж приток богомольцев. Летом 1831 года, когда приток богомольцев был особенно велик, началась эпидемия



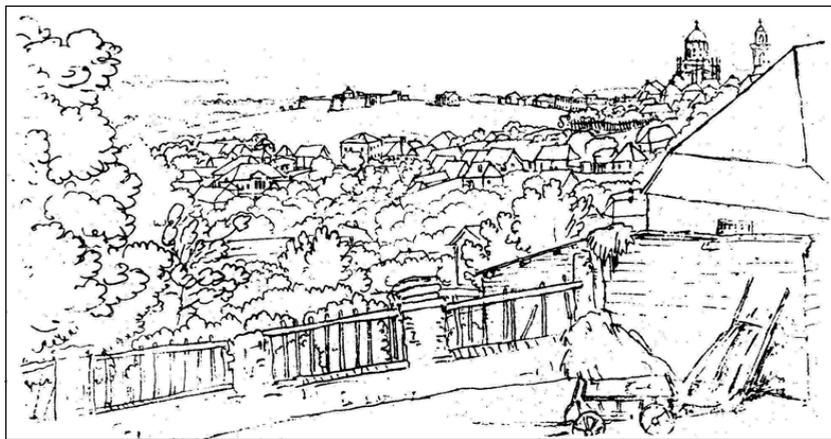
Дмитрий Николаевич Бегичев



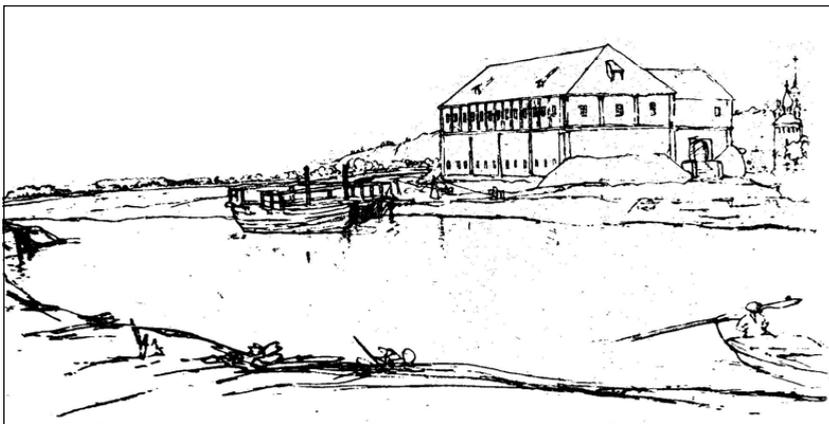
Вид с Острожного бугра. 5 июля 1837 года.
Рисунок В.А. Жуковского, сопровождавшего наследника престола,
будущего императора Александра II, в его поездке по России

холеры. Ежедневно она уносила по триста-четырееста жертв. В таких чрезвычайных обстоятельствах Бегичев, возглавивший губернский комитет для борьбы с холерой, проявил себя деятельным администратором. Щедро расходуя собственные средства, он сумел склонить к пожертвованиям многих купцов и дворян и на эти средства очень быстро устроил холерную лечебницу на 200 человек. Презрев опасность, он почти ежедневно посещал больницы и вновь организованное за городом холерное кладбище. Узнав о появлении особого элексира, способного уберечь от болезни, он содействовал его распространению, написав об этом отдельную брошюру (Воронеж, 1831) и поместив заметку в «Санкт-Петербургских ведомостях». Осенью 1831 года воронежское дворянство обратилось к Бегичеву с благодарственным адресом и решило по подписке собрать деньги на изготовление портрета Д.Н. Бегичева, который предполагалось установить «на вечные времена» в зале дворянского собрания. В ответном письме губернатор отметил: «Приемлю с чувством живейшей признательности сей столь лестный для меня отзыв ваш и господ уездных предводителей, но обязываюсь долгом справедливости изъяснить, что единственно только благонамеренное содействие, ревностное усердие и неутомимые труды почтеннейшего сословия дворянства способствовали и открыли мне возможность исполнять обязанность мою в сию бедственную эпоху».

Оценило заслуги губернатора и правительство. 27 февраля 1832 года за усердие по прекращению холеры Д.Н. Бегичев был пожалован из Государственного казначейства на 12 лет по тысяче рублей серебром ежегодно. 9 марта 1832 года он произведен в действительные статские советники (генеральское звание на гражданской службе). Вскоре стараниями архиепископа Антония (Смирницкого) в Воронеже были открыты мощи святителя Митрофана. На торжественную церемонию 16 сентября 1832 года в город приезжал император Николай I и на губернатора легла забота об охранении порядка на улицах и в храме. По этому поводу Бегичевым были изданы особые распоряжения, печатные экземпляры которых до революции сохранялись в губернском музее, а текст воспроизведен в приложении к уже упомянутой статье Литвинова. Визит любого монарха, тем более Николай I, не мог обойтись без неожиданностей: царю не понравилось местоположение семинарии (пр. Революции, 29) и он велел перевести ее в другое место. Затеялась обширная переписка, петербургский архитектор Аполлон Феодосиевич Щед-



Вид на острог и Покровскую церковь. 6 июля 1837 года
Рисунок В.А. Жуковского



Цейхгауз. 6 июля 1837 года.
Рисунок В.А. Жуковского

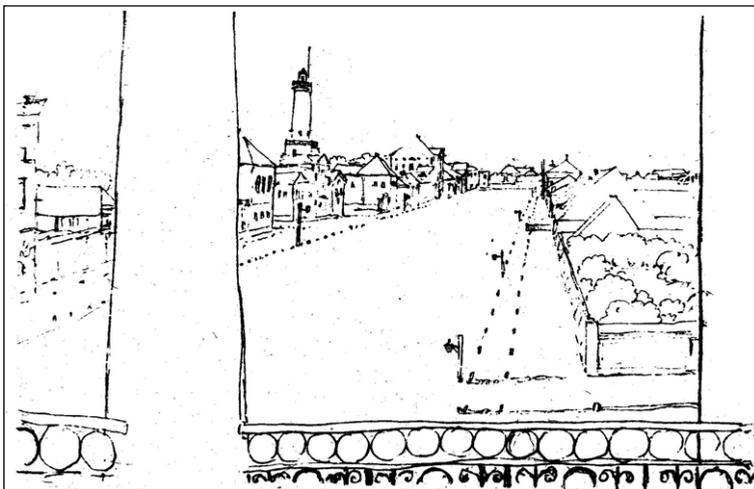
рин (1796—1847) даже выполнил чертежи нового здания, но недостаток средств вынудил все оставить на своих местах.

Воронеж не сулил спокойной жизни губернатору. Летом 1833 года в губернии разразилась засуха, которая вызвала недород и голод. Цена за четверть ржи дошла до 30 рублей ассигнациями. Д.Н. Бегичеву пришлось использовать личные связи, чтобы добиться ходатайства министра внутренних дел графа Дмитрия Блудова о выделении Воронежской губернии одного миллиона рублей в качестве субсидии на закупку продовольствия. Ему удается убедить, а во многих случаях и заставить помещиков взять на себя заботу о прокормлении крепостных крестьян. Из письма Бегичева к его давнему приятелю Владимиру Федоровичу Одоевскому (сентябрь 1833 года) видно, что наибольшую тревогу у него вызывали огромные вотчины графов Бутурлиных, Воронцовых, Шереметевых, графини Орловой: что делать, когда в этих имениях «начинается тревога»?

В этом же письме он дает общую оценку своего губернаторства: «Признаюсь, под несчастливым созвездием вступил я в теперешнее мое звание: прожив так долго в покойном, независимом состоянии, вдруг попал в такую ужасную кутерьму. Не знаю, чего не было в продолжение почти четырехлетнего управления моего губерниею, которую я нашел в прелестнейшем во всех отношениях беспорядке; три раза холера, оцепление и карантин, неизбежным последствием коих было неповиновение и бунты, дурной урожай сряду два года, несколько рекрутских наборов и проч. Недоставало только голоду и тот со всеми ужаснейшими последствиями своими посетил нас»¹. Однако властям удалось не допустить массового голода, при этом губернатор затратил на продовольствие только триста тысяч рублей из выделенного миллиона, а остальные вернул в государственное казначейство казну. Все мемуаристы, кстати, отмечают безукоризненную честность Дмитрия Никитича, не только не взявшего ни копейки из казны, но и употреблявшего собственные средства на общественные нужды.

В 1833 году Д.Н. Бегичев как губернатор подписал «Статистические сведения о Воронежской губернии», сохранившиеся в Военно-историческом архиве. В губернии тогда проживало 1 131 169 человек (в самом Воронеже — около 40 тысяч человек), на всех приходилось 13 больниц и 16 врачей, 19 светских училищ и

¹ Письма Д.Н. Бегичева к В.Ф. Одоевскому опубликованы воронежским литературоведом А.Д. Китиной в 1984 году.



Большая Дворянская. 7 июля 1837 года.
Рисунок В.А. Жуковского

40 учителей, 1 книжная лавка и 1 типография, 26 тысяч грамотных (то есть умеющих читать и писать).

С именем Д.Н. Бегичева связана инициатива сооружения памятника Петру Великому, который предполагалось открыть на Острожном бугре, а в стоявшем на острове цейхгаузе устроить храм во имя св. Митрофана, отведя особую комнату для музея в память царя-кораблестроителя. Предложения были сформулированы Бегичевым и в апреле 1833 года направлены в Министерство внутренних дел. Проект был утвержден Николаем I 15 мая 1834 году, цейхгауз приобретен в собственность города. С просьбой о помощи в собирании экспонатов петровской эпохи ко многим выдающимся лицам, в том числе к воронежцу по рождению Григорию Никаноровичу Оленину, зятю директора Публичной библиотеки А.Н. Оленина. Из столицы губернатору были присланы разные живописные и гравированные портреты, предназначавшиеся для музея. Из Военно-топографического депо Главного Штаба передали подлинные отиски со всех хранившихся там гравированных досок петровского времени — более 1200 гравюр. С осени 1834 года начались ремонтные работы, которые велись довольно успешно, их приостановил отъезд Бегичева. Забегая вперед, скажу, что памятник Петру I, совершенно иной, чем планировался прежде, был открыт только в 1860 году, а музей в цейхгаузе не был создан вовсе. Присланные в Воронеж гравюры оказались со временем в местной Публичной библиотеке, затем в Губернском музее и, наконец, в Художественном музее имени И.Н. Крамского. В минувшем году они опубликованы в альбоме-каталоге «Петровская гравюра».

Дмитрий Никитич увлекался беллетристикой. В 1832 году, укравшись под псевдонимом «степного дворянина, приезжающего на зиму в Москву», он издал нравописательный роман «Семейство Холмских» с подзаголовком «Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян». Объемный, в шести частях, роман переиздавался в 1833 и 1841 годах; особой популярностью он пользовался в Воронеже, где узнавались события, да и авторство ни для кого не было секретом. По словам племянницы Бегичева, Елизаветы Соковниной, в одном из отрицательных персонажей легко узнавался губернский предводитель дворянства Семен Алексеевич Викулин (ок. 1775—1841) (сюжет был передан ав-

тору двоюродным братом персонажа, И.П. Бехтеевым). Отрывки из романа, прочитанные Николаю I генерал-адъютантом А.Ф. Орловым во время пребывания в Воронеже, вызвали у царя «гомерический хохот». С.А. Викулин, сын откупщика, чья принадлежность к столбовому дворянству не могла не вызывать сомнений, вынужден был подать в отставку. Безусловно, роман был интересен для современников, но его художественный уровень не давал надежд на переиздания после смерти автора. Попытка Юрия Акутина переиздать «Семейство Холмских» в серии «Литературные памятники» успехом не увенчалась. Воронежская губерния отразилась и в позднейшем произведении Д.Н. Бегичева под названием «Провинциальные сцены» (1840). В жанре модной сегодня «истории повседневности» были написаны две части книги «Быт русского дворянина в разных эпохах и обстоятельствах его жизни», стилизованные под воспоминания «соседа-дворянина» (М., 1851).

Бегичев с приязнью относился к Алексею Кольцову, старался — насколько это было в его силах — разрешать денежные тяжбы, которых прасольская семья вела немало. Известно, что губернатор подарил поэту экземпляр «Семейства Холмских» с автографом. Кольцов ответил стихотворением «Благодетелю моей родины», написанным уже после отъезда Бегичева из Воронежа, в 1840 году. Стихотворение, прямо скажем, не шедевр кольцовской лирики. Вот заключительная строфа из него:

О, много раз — несчастных, бедных
Вас окружала пестрая толпа.
Когда вы всем, по силе мочи,
С любовью помогали им,
Тогда, с благоговеньем тайным,
Любил глядеть я молча,
Как чудно благодатным светом
Сияло ваше светлое лицо.

В письме к В.Г. Белинскому Кольцов говорит об этом сочинении: «Эту песню родня Бегичева — живет в Воронеже и во многом мне помогает — просила для Бегичева что-нибудь написать, я и написал. Ему она не понравилась; если не полюбит и Бегичеву, — будет лучше; но если она даже дурна и печатать ее будет нельзя, то скажите, — несмотря ни на что, я ее удержу дома. Лучше пусть сердятся, чем грязнить лицо». Стихотворение было в том же году напечатано в журнале «Сын Отечества», но текст его подвергся переделке и сокращению Н.А. Полевым.



На берегу реки Воронеж. 6 июля 1837 года.
Рисунок В.А. Жуковского



Мельница Тулинова. Шлюз Петра Великого. 6 июля 1837 года.
Рисунок В.А. Жуковского

Бегичев помогал не только Кольцову. Он взял на себя опеку над именем и семьей помещика Н.А. Шатилова — тот был женат на сестре композитора А.А. Алябьева и находился в ссылке вместе с Алябьевым по обвинению в убийстве карточного партнера полковника Т. М. Времева. Дмитрий Никитич очень благожелательно относился к сосланным в Воронеж полякам, оказывал им всемерную помощь, принимал у себя дома — об этом свидетельствует публикуемый с продолжениями на страницах научного сборника дневник Михала Ромера.

Наш город Дмитрий Никитич покинул в апреле 1836 года, получив назначение обер-прокурором одного из московских департаментов Сената, в 1840 году он стал сенатором в чине тайного советника. В 1844 году был назначен попечителем московского Дома трудолюбия, принимал активное участие в управлении женскими учебными заведениями.

Расстаться с Воронежем навсегда Бегичев не мог: здесь были похоронены его сын Владимир, умерший в четырехлетнем возрасте, и две племянницы, Александра Семеновна Бегичева и Любовь Павловна Яблочкова. Но самое главное — осталась младшая сестра Варвара (1788—1866), в монашестве Смарагда, состоявшая в течение трех десятилетий настоятельницей Покровского девичьего монастыря. По словам уже упоминавшейся Елизаветы Соковниной, Дмитрий Никитич довольно часто навещал сестру. Другая сестра, Елизавета Никитична (1777-1843), в замужестве Яблочкова, тоже отдала дань беллетристике: в 1831 году она выпустила исторический роман «Шигоны». Между прочим, ее внук, Павел Николаевич Яблочков, электротехник и изобретатель, считается «отцом электрического освещения».

Умер Д.Н. Бегичев 12 ноября 1855 года и похоронен в Москве, в Новодевичьем монастыре, где уже покоились его дети Дмитрий, Никита, Василий и Елизавета, умершие младенцами. Десять лет спустя, в декабре 1865 года, там же была похоронена его жена, Александра Васильевна, родная сестра поэта-партизана Дениса Давыдова. В Художественном музее им. И.Н. Крамского сохранился ее портрет воронежского периода работы Н. Пожарова.





Вячеслав Александрович Овчинников родился в 1936 году в Воронеже. Композитор, дирижер, общественный деятель, народный артист РСФСР. Окончил Московскую консерваторию. Автор четырех симфоний, опер «Маскарад», «На заре туманной юности», балетов «Война и мир», «Песнь Песней», многих ораторий, романсов, музыки более чем к 40 кинофильмам. Обладатель многих всероссийских, всесоюзных и международных наград.

Вячеслав Овчинников

ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО МУЗЫКА

Родился я в 1936 году в Воронеже, красивом русском городе с давними культурными традициями, в семье офицера и донской казачки. Во время войны наша семья была отправлена в эвакуацию, мы жили в Сибири и на Дальнем Востоке. Вернувшись в Воронеж, первое время жили под лестницей, т.к. уцелевших помещений, пригодных для жилья, фактически не осталось. Стать композитором мечтаю еще с детских лет. Заниматься музыкой я начал в 1945 году, уже закончив первый класс общеобразовательной школы, что по музыкальным понятиям довольно поздно. Музыкальное обучение было платное, но мои родители умудрялись не только содержать четверых детей, но еще и выделять из своих более чем скромных сбережений деньги на наши занятия. Музыкальную школу я быстро обогнал, начал переходить через классы и закончил ее досрочно. Однажды по распределению из Москвы к нам приехал Володар Петрович Бронин, выпускник Консерватории и ученик Давида Ойстраха, который убедил моих родителей в том, что я должен продолжать обучение в столице. К тому времени я уже давно писал собственную музыку, которая часто исполнялась взрослыми музыкантами.

— Поступив в консерваторию, я стал учиться у прекрасного педагога Семена

Семеновича Богатырева. Это был человек удивительно огаренный. Он занимал должность декана сразу четырех факультетов. После его смерти на эти места пришлось искать четырех человек. Он умер, когда я учился на пятом курсе и заканчивал я уже у Хренникова. Вместе со мной к нему перешли и остальные из класса Богатырева. Потом, в годы обучения в аспирантуре, Тихон Николаевич был моим руководителем по классу свободного сочинения. Тихону Николаевичу я очень многим обязан, он постоянно меня защищал, но назвать его своим учителем я все же не могу.

— Учась еще на пятом курсе, я выиграл конкурс на авторство музыкальной части этого фильма < «Война и мир» >. Был такой тайный конкурс, куда пригласили только лауреатов Пенинских премий. Соревновались Шостакович, Кобалевский с обработкой музыки Прокофьева к опере «Война и мир», Хренников с Хачатуряном хотели сделать пополам один «французскую», другой «русскую» часть. У меня к тому времени уже был удачный опыт работы в кинематографе. Я написал музыку к дипломным работам Андрона Кончаповского («Мальчик и голубь») и Андрея Тарковского («Каток и скрипка»), а также к фильму Тарковского «Иваново детство», который стал первым отечественным фильмом, получившим в 1962 году «Золотого льва» — высшую награду на Международном кинофестивале в Венеции. Бондарчук знал мои работы, и, хотя он сам тогда еще не был окончательно утвержден в качестве режиссера, его пожелания учитывались. Он и привлек меня к этому отбору.

Параллельно с «Войной и миром» мне пришлось работать над «Андреем Рублевым» Тарковского (1966), «Первым учителем» Кончаповского (1965), «Долгой счастливой жизнью» Шпаликова (1966). Это был период, когда я буквально жил на «Мосфильме» (не имея тогда еще собственной квартиры в Москве). Но даже когда она появилась, я почти там не обитал — так был занят. Обо мне даже была статья в «Советской Кulture», которая называлась «Добровольное заключение на «Мосфильме». У меня были апартаменты на студии. Я был единственным человеком, который имел свою монтажную. И я всегда, параллельно с режиссером, обязательно делал свой звуковой вариант фильма, который чаще всего побеждал... Скажу кратко — с Бондарчуком никому не сравниться. Это была копосальная личность с потрясающей силой характера. Даже те, кто ставил свет на съемках, были проникнуты патриотическим пафосом. Многие работали бесплатно. Что и говорить, до выхода «Войны и мира» непьзя было произнести слово «русский». Всегда говорили — «советский». И то, что Тарковский позволил себе размышлять на «русскую» тему, пусть и с отрицательным знаком, было уже после того, как «Война и мир» это право завоевала. Вот ради такого результата русские пьют и стараются.

— Вся моя жизнь — это музыка, с ней я не расстаюсь никогда.

Из интервью сайту «Православие.ru».





Мария Николаевна Мордасова (1915—1997) родилась в деревне Нижняя Мазовка Тамбовского уезда Тамбовской губернии. Певца, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда. Собирательница и автор песен, частушек. Песни из ее репертуара записаны на пластинки, вошли в сборники, среди которых «Когда Мордасова поет», «Русские народные песни и частушки, записанные от М.Н. Мордасовой».

Мария Мордасова

ЧАСТУШКИ

ДОНСКИЕ ДЕВИЧЬИ СТРАДАНИЯ

Ох, застрадаю тоном, тоном
Под Воронежем, над Доном.

Припев: Ой, ра-ра-ра-ра, рай-ра.

Ох, погам гопос вгопь по Дону,
Может, сердце твое трону.

Припев.

Ах, бирюзовые глазенки
Завпекли меня на зорьке.

Припев.

Ох, называет картиночкой,
Земляничкой, мапиночкой.

Припев.

Ой, маманя, я тоскую,
Отвези меня в донскую.

Припев.

Ох, болит сердце, грудь пыпает,
А он ничего не знает.

Припев.

Ах, так непьзя, запетка, депать —
Ко мне ходить, а к другой бегать.

Припев.

Ах, проводи меня, Митроня,
Ох, нас с тобой никто не тронет.

БАРЫНЯ-РАССЫПУХА

Пошла плясать,
Дайте мне кругу —
Два гектара ярового,
Три гектара пугу.

Припев: Барыня, барыня,
Сударыня-барыня.
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

Пошла плясать,
Сама себя показать.
Заглядепись игроки —
Искры сыпят каблуки.

Припев.

Я пою да все пою,
А плясать стесняюсь,
Зато в поле за троих
Одна управляюсь.

Припев: Барыня, барыня,
Сударыня-барыня,
Сударыня-барыня,
С Воронежа барыня.

Ай, кум Пронька,
Ты гармонь тронь-ка.
А я, кума Попька,
Пройдусь попегоньку.

(Проигрыш)

Гармонист в гармонь играет,
Гармонист мотив ведет.
В поле Поля не задремлет,
В клубе спляшет и споет.

Припев: Барыня, барыня,
Вот какая барыня,
Барыня, барыня,
Из колхоза барыня.

У моего Ванечки
Во кармане прянички.
Меня Ваня — целовать,
А я прянички — жевать.

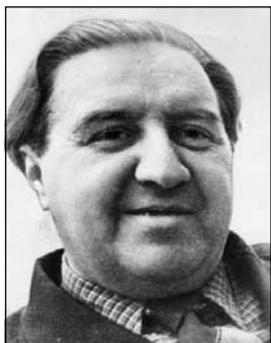
Припев.

Я работы не боюсь.
Потому собой горжусь.
На уборке, скажу вслух,
Обгоняю всех подруг.

Припев: Барыня, барыня,
Сударыня-барыня,
Сударыня-барыня,
С Воронежа барыня!

Я частушки петь кончаю
И сажуся в решето.
До свиданья, уппываю
За частушками еще.

Припев: Барыня, барыня,
Сударыня-барыня,
Барыня, барыня,
Из колхоза барыня.



Николай Алексеевич Задонский (1847—1990) родился в городе Задонске Воронежской губернии. В 1930-х годах им созданы пьесы, которые ставились на сценах Москвы, Ленинграда, Воронежа. Автор историко-документальных хроник «Мазапа», «Денис Давыдов», «Смутная пора», «Донская либерия», «Кондратий Булавин», «Жизнь Муравьёва», а также нескольких сборников исторических и мемуарных этюдов.

Николай Задонский

ДОНСКИЕ ВЕЧЕРА

Этюды

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Весной 1380 года чуть южнее нынешнего Воронежа стали скапливаться татарские конники. Отсюда до самого Крыма и Золотой Орды лежали привольные ковыльные степи, где издавна хозяйничали воинственные кочевники. Проезжавший в те годы эти места митрополит Пимен записал: «Бяше бо пустыня зело всюду, не бе бо видети тамо ничто же, ни града, ни села; нигде бо видети человека, точию пустыня велия и зверей множество».

А путь на север преграждали дремучие леса. Они сплошной стеной стояли по обоим берегам верхнего Дона и его притокам — Тихой Сосне, Хопру, Воронежу, Тешеву. Татары лесов опасались: не было там разворота для ордынской конницы — в непроходимых лесных чащобах укрывались бежавшие из разоренных татарами селений русские люди. Они были неуловимы и беспощадны. Редко какой татарский наездник возвращался живой из лесу.

Хан Мамай, решив наказать непокорного московского князя Дмитрия Ивановича, думал обойти леса стороной и выйти к Москве через рязанские земли.

Но кто мог знать замысел хитрого и коварного Мамаю? Не сократит ли он дорогу, приказав, как некогда Батый, рубить и выжигать просеки в лесах?

Осторожный московский князь, узнав о сборах хана Мамая, приказал немедленно послать на верхний Дон, да на Воронеж, да на Тихую Сосну лучших воинов-разведчиков. По свидетельству летописца, они должны были «стеречи за татарами и под орду ехать языка добывать и истину уведать Мамаева хотения».

Как же добирались московские воины до татарской орды? Конный лесной путь шел из Москвы к Дону через Елец. Донская переправа находилась близ устья Тешева. Отсюда по левому берегу Дона, лесными тропами, воины пешком достигали устья Воронежа за два дня.

Так, верной службой Московскому государству, начиналась задонская дорога — самый ближний выход в степные ордынские владения.

После знаменитой Куликовской битвы, где была одержана решительная победа над войсками Мамая, земли и леса, расположенные по верхнему Дону и Воронежу, становятся достоянием Москвы. Татар все настойчивее оттесняют на юг. В 1494 году московский царь Иван III передает в удельное владение князю Федору Рязанскому «Воронеж верхний, Тешев весь и в Дону реце жребий с прочими доходы по старине». Спустя еще почти сто лет на реке Воронеж закладывается пограничный сторожевой город Воронеж, который связывается задонской дорогой с городком Тешевом¹, возникшим при впадении одноименной речки в Дон, а отсюда через Елец и Тулу — с Москвой.

В Тешеве и близ него, на Галичских горах, стоят стрелецкие конные сторожевые посты. Татарские наездники еще рыщут по придонским землям, приходится быть начеку. В 1659 году большая татарская орда, прорвав сторожевую линию под Чертовиком и Усманью, добралась до Карачуна, в сорока верстах от Тешева. Десятки селений были сожжены, тысячи русских людей погибли.

А городок Тешев продолжал расти. Еще в 1610 году беглые московские монахи Кирилл и Герасим, учтя выгодное расположение городка, строят здесь с помощью стрелецкого головы Филиппа Тюнина небольшой деревянный монастырь. Приезжих становится все больше. Появляются заезжие двory и конюшни, где содержатся лошади для «государевой службы». Монахи берут в свои руки весьма доходный перевоз через Дон, строят мельницы, захватывают рыбные промыслы и пойменные сенокосы, бойко торгуют хлебными припасами и фуражом.

Московское правительство, стремясь упорядочить связь с донскими окраинами, поощряет охочих людей заниматься ямщиной. Условия были соблазнительны. Ямщики освобождались от разных государственных повинностей, от подушной подати и от рекрутства, наделялись землей и лугами и получали денежное жалованье по десяти рублей в год — огромные по тем временам деньги. Но стать ямщиком мог далеко не всякий. Надо было представить «поручную запись» других ямщиков в трезвости и надежности, надо было иметь известные средства, чтобы за свой счет «держат на ямскую гоньбу по три мерина добрых со всякою гоньбою рухлядью». А добрый мерин стоил тогда около четырех рублей. Следовательно, в ямщики попадали лишь зажиточные крестьяне.

Ямской стан закладывается на полдороге от Тешева до Воронежа (ныне деревня Ямань), а в 1624 году по указу царя Михаила Федоровича устраивается Ямская слобода в Воронеже, близ Воскресенской церкви (где Каменный мост). В слободе поселили семерых ямщиков из Ельца и троих из Брянска. Места под двory им отмерили, лес и камень на постройку дали, а когда пришли ямщики сено косить на отведенный для них луг, там встретили их городские стрельцы, закричали:

— Эй, ямщина толстозадая, поворачивай назад, пока не бита!

Минка Пупынин, староста ямщицкий, попробовал возразить:

¹ Тешевом он продолжал именоваться до 1779 года, когда был переименован в уездный город Задонск.

— Сенокос сей, господа стрельцы, нам самим воеводой отведен...

Стрельцы схватились за самопалы, угрожающе надвинулись:

— Ничего не ведаем! Лугами сими наши сотники стрелецкие владеют, а вы свои луга в иных местах ищите...

Ямщики почесали в затылках. Может, и впрямь местом ошиблись. С воеводским подъячим, отводившим сенокос, были тут после изрядной попойки, запомнили лишь, будто близ трех береговых лозинок ихняя делянка. Лозинки-то вот они, а делянка, возможно, где-то рядом... Зашли ямщики с другой стороны, а там монахи сено косят. Стали ямщики с ними спорить, монахи закричали:

— Убирайтесь отсель, сатанинское отродье, луг сей за Успенским монастырем писан...

Тогда пошли ямщики к подъячему, который им сенокос отводил, потрепали его малость за бороду, он признался:

— Воевода Иван Васильевич Волынский и товарищ его Степка Стрешнев игумену Успенского монастыря, да попу Дмитровскому, да стрелецким сотникам ваши угоды пропили... Надо царю челом бить...

Минка Пупынин оказался малым дошлым. Добрался до царя Михаила Федоровича, добился возврата отведенной ямщикам земли. Но воевода в отместку стал жалованье задерживать. Опять пришлось ямщикам челобитную в Москву посылать, откуда вскоре получена была строгая царская грамота: «Воронежским ямщикам дать наше жалованье тотчас все сполна, не волоча, чтоб за нашим жалованьем у воронежских ямщиков ямская гоньба не стала и волокиты и убытков не чинили и челобитья б их впредь не было».

Ямщики того времени возили главным образом государеву почту и посылаемых правительством по казенным надобностям чиновников. Частные лица ездили редко, ибо каждая поездка была сопряжена с огромными трудностями. Свободного выезда из Воронежа не разрешали. Желаящий ехать должен был подать на имя царя челобитную, в которой указывалось место, срок и цель поездки, а также представить поручительство нескольких добрых горожан, что ему «ни в Немцы, ни в Орду, никуда не съехать». Только после этого выдавалась проездная грамота — своеобразный паспорт того времени. В архивах сохранилось одно из прошений о выезде, поданное воронежскими торговцами яблоками Львом Пономаревым и Марком Талуйковым: «Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец, пожалуй нас, сирот своих, вели, государь, нас с Воронежа отпустить до Коротояку и до Рыбного с яблоками. Царь-государь, смилуйся, пожалуй».

Задонская дорога тех времен хотя и была несколько расчищена, расширена, однако по-прежнему пролежала среди девственного лесного массива до самого Воронежа. И это обстоятельство вскоре сделало езду небезопасной, ибо леса не пустовали...

Близ лесных родников селились бежавшие от «проклятых никониан» раскольники. Бесперывно двигались на юг толпы крепостных мужиков, спасавшихся от тяжелой боярской кабалы. В оврагах копали землянки «гультаи и воровские люди», промышлявшие дорожным разбоем. Они нападали не только на обозы, но и на ездивших с воинской охраной служилых людей. Старинные документы свидетельствуют о любопытном случае, когда воронежский воевода в течение целого года не осмеливался отослать в Москву собранные с населения налоги, опасаясь, что «государева казна попадет в руки разбойников». Но вот однажды произошло событие, последствия которого решительным образом преобразили жизнь верхнедонского края и вместе с тем, необычайно подняв значение задонской дороги, изменили существовавшие здесь порядки...

ДОРОГА СТРОИТСЯ

Воронеж при Петре I сделался большим и шумным городом. Помимо корабельных верфей здесь находились литейный и лесопильный заводы, канатная и парусная фабрики, смолокурные, столярные, кузнечные и множество иных заведений, занятых выполнением государевых корабельных подрядов. Трудились тысячи согнанных сюда крепостных людей. Днем и ночью стучали топоры, визжали пилы. Воронеж строил морскую силу России.

Но вскоре после успешного Азовского похода случилась беда. Пятнадцать военных кораблей, построенных из сырого дерева на воронежских верфях, при спуске на воду грузно осели, затонули и начали летом загнивать в обмелевшей реке.

Царь Петр встревожился. Необходимо спасти корабли, а главное, принять меры, чтобы беда не повторилась вновь. Петр в 1702 году послал в Воронеж взяттого им на службу опытного английского инженера Джона Перри. Тот устроил в устье реки шлюзы, и, когда вода поднялась на несколько футов, затонувшие корабли с помощью блоков были поставлены на сушу. Петр остался доволен работой Джона Перри. Вызвал его к себе, спросил:

— А можно ли, устроив еще несколько шлюзов, сделать реку Воронеж судоходной на всем протяжении от города до Дона?

Джон Перри утвердительно кивнул головой:

— Можно, государь.

— И чтоб по ней могли свободно проходить мои восьмидесятипушечные корабли? — пытливо взглянув в лицо англичанина, добавил Петр.

— Можно, государь, — спокойно повторил Джон Перри. — Вполне удобоисполнимо, хотя и нелегко... Много народу нужно.

— Народ будет, — пообещал Петр. — Я указал всем губернаторам и воеводам собирать по человеку со ста дворов и гнать сюда... О прочем, что потребно, господин адмирала Апраксина спрашивай. И приступай к делу не мешкая! Работы были завершены в течение одного года. Шлюзы сделали шириной в 43 фута и такой глубины, что они вполне обеспечивали необходимый подъем воды для прохождения восьмидесятипушечных кораблей. Сооруженные из местного камня дамбы выдерживали самый сильный напор весеннего паводка. Кроме того, были устроены шлюзы для спуска весенних вод. Мелководный Воронеж превратился в широкую и глубокую судоходную реку, по которой легко, под распущенными парусами плыли тяжелые военные корабли.

Как видно, первый опыт шлюзования реки Воронежа, несмотря на примитивную технику того времени, совершенно оправдался. Джон Перри описал это в своей книге «Состояние России при нынешнем царе», изданной в Лондоне в 1716 году². И думается, изучение опыта шлюзования реки Воронежа может иметь некое практическое значение и теперь.

Книга Джона Перри ценна и в другом отношении. Обычно иностранцы, путешествовавшие в стародавние времена по российским землям, не вникая в существовавшие тогда крепостнические отношения, писали, будто русские ленивы, грубы, тяжелы на подъем, невежественны. Джон Перри, пробывший в России при Петре I четырнадцать лет, высказывает иное мнение.

Джону Перри часто приходилось видеть «простолюдинов, сидящих в праздности на улицах или в домах своих», но, как он убедился, это происходило не от ленивости народа, а потому, что занятие каким-либо промыслом порождало бесчисленные своевольные поборы и притеснения со стороны господ и чиновников, «про-

² На русском языке книга издана в 1871 году Обществом истории и древностей российских при Московском университете.

стой народ утрачивает всякую охоту к промыслу и занимается им лишь настолько, насколько потребно для удовлетворения своих нужд». Джону Перри пришлось тесно соприкасаться с огромными массами народа, занятого на государственных работах, и он утверждает, что люди эти по природе своей трудолюбивы, способны, смыслены, но страшный крепостнический гнет заставляет их «скрывать свои способности и притворяться невежественными».

Однажды в Воронеже, где сооружался снаряд для выкачивания воды, Джон Перри приказал мастеру-голландцу, служившему под его началом, выбрать из русских плотников наиболее искусных для самой ответственной и трудной работы. Мастер назвал несколько плотников. Джон Перри удивился:

— Я знаю этих плотников, но никогда не видел, чтобы они выделялись чем-нибудь из среды других.

— А я видел однажды, — возразил мастер, — как они действовали инструментом, и залюбовался... У них золотые руки!

— Почему же, однако, они нигде и ничем не выказывают своего искусства?

— Им нельзя этого делать, — пояснил мастер. — Если станет известно, что они люди искусные и способные, то их уже не оставят в покое, постоянно будут давать работы по приказанию чиновников или дворян, у которых они находятся в рабстве. Они не смогут уже распоряжаться своим временем и не будут притом получать никакого вознаграждения, а вместо того, если ими останутся недовольны, за труды свои будут получать удары.

Все оказалось действительно так, как говорил мастер. Тогда Джон Перри отправился к адмиралу Апраксину, чтобы выхлопотать для наиболее способных работников вознаграждение, хотя бы по копейке в день, чтобы тем поощрить и прочих. Адмирал Апраксин, выслушав англичанина, усмехнулся:

— Не было до сих пор примера, чтобы из царской казны выдавались людям деньги за исполнение их обязанностей в деле, на которое они отправлены. Но взамен этого растут в России батоги, и если люди не исполняют требуемых от них работ, то их следует за это бить!

Джон Перри, записав этот ответ Апраксина, справедливо замечает: «Если все это взять в соображение, то нельзя удивляться тому, что русский народ... при всяком удобном случае готов возмутиться и принять участие в самых варварских жестокостях в надежде избавиться от рабства, которое наследственно тяготит его». Так трудился крепостной люд всюду: и на строительстве кораблей, и на сооружении шлюзов, и на дорожных работах, о которых необходимо сказать особо.

Большой приток народа в Воронеж, непрерывный подвоз строительных и продовольственных грузов, небывалое расширение почтовых отправок — все это заставило правительство заняться приведением в порядок основной дороги, соединявшей Воронеж с Москвой и центральными губерниями. На всем протяжении от Москвы до Воронежа была произведена расчистка, устроены мостки через овраги, загатированы болота и топи, поставлены высокие, окрашенные красной краской верстовые столбы, на которых указан 1701 год, время установки столбов, и расстояние до Воронежа и ближних окрестных мест. Дорога с тех пор стала называться столбовой. А по обеим сторонам ее высадили свыше двухсот тысяч деревьев: они помогали в зимнюю метельную погоду не сбиваться с пути. Для удобства проезжих Петр приказал через каждые двадцать верст построить «царевы дома», или кабаки, где можно было погреться, закусить и выпить.

Именно такой описал дорогу голландский живописец Корнилий де Бруин, проезжавший в Воронеж вместе с Петром в начале 1703 года. И еще он отметил: «Мы видели огни по всем селениям, через которые проезжали, так как крестьяне сто-

яли у своих ворот с пучками зажженной соломы для выражения их радости приезде царя. Огни эти производили ночью приятное впечатление»³.

Вероятно, так оно и было. Сомнительно в этих записках лишь радостное чувство крестьян, ибо производимое ими благоустройство дороги было делом столь тяжелым, что «выражение чувств» при проезде знатных путешественников вряд ли могло быть радостным.

Архивные документы рисуют довольно мрачную картину дорожной крепостной повинности.

Людей на дорожные работы сгоняли из ближних и дальних селений без различия пола и возраста, «лишь бы лопату в руках держали», иной раз попадали в партию и старики, и подростки, и бабы с грудными детьми. Партия обычно работала две-три недели, затем сменялась, но бывало и так, что людей задерживали на более длительные сроки. Вот тут приходилось «трудникам» особенно туго. Работали они на своих харчах, состоявших из ржаного хлеба, капусты, лука и кваса, но харчей всегда было в обрез, люди постоянно недоедали, и всякая задержка на дорожном строительстве приводила к настоящим голодовкам. А за бегство, за плохую работу, за ропот и возмущение нещадно пороли. Тяжелые земляные работы особенно мучительны бывали в холодную дождливую погоду: тогда начинались повальные простудные и эпидемические болезни — сотни безвестных тружеников зарыты в придорожных могилах.

Шли годы, менялась жизнь, а дорожная повинность по-прежнему оставалась едва ли не самой тяжелой из всех других крепостных повинностей.

В конце мая 1818 года в Воронеж по старой задонской дороге ехал император Александр I. Только что прошли обильные дожди, зеркальные лужи прикрыли дорожные рытвины и кочки, царскую тяжелую карету изрядно потряхивало и обдавало фонтанами воды. Император болезненно морщился. Его раздражали и эта неприятная езда, и обряженные в новые рубахи бородатые мужики, выставленные полицией для встречи в придорожных селениях. Императору, побывавшему недавно в европейских землях, вспоминались гладкие, прекрасно вымощенные, обсаженные каштанами и тополями дороги, веселые кирпичные островерхие домики с палисадниками, кокетливые пейзажи в белоснежных чепчиках. Все там, в Европе, было императору мило, а здесь, в стране, которой он правил, ненавистно.

В Бестужеве, на полпути от Задонска до Воронежа, была короткая остановка. Сменяли лошадей. Воронежский губернатор Николай Порфирьевич Дубенский, сопровождавший государя, осмелился заметить:

— Как жаль, ваше величество, что несносная погода лишает ваше путешествие всякой приятности...

Император посмотрел на него злыми глазами.

— Надо дороги исправлять, а не о приятностях размышлять, — сказал он резко. — Почему я вижу лишь глазеющих бездельников и нигде не вижу работающих на дороге мужиков?

— Губернию в прошлом году посетил сильнейший недород, ваше величество, — ответил Дубенский, — я не считал возможным посылать голодающих...

— Напрасно! Мои мужики выносливы, — произнес император. — Что они дома сосут, то могут сосать и на больших дорогах... И потом, — добавил он, — этот кавказский тракт весьма важен, следует мостить его камнем, как это делают немцы...

— Слушаю, ваше величество! Будет исполнено, — заверил губернатор, привыкший без рассуждений исполнять волю монарха.

³ Корнилий де Бруин. Путешествие через Московье. М., 1873.

Однако на этот раз губернатор попал впросак. Воронежские инженеры, производя обследование дороги и подсчитав расходы по устройству шоссе от Воронежа до Задонска, составили такую смету, что губернатор схватился за голову. Думал обойтись обычной повинностью, помощью дворянства и купечества, а теперь стало ясно, что помимо того потребуются огромные средства, сотни тысяч рублей, и без субсидии правительства ничего не выйдет. Но казна была пуста, и рассчитывать на субсидии трудно...

Вызванный губернатором для совета городской голова Мещеряков, осведомившись о стоимости шоссе, крикнул:

— Эх, сколько деньжищ-то нужно на каменную дорожку! Всех воронежских кушцов хоть с торгов пускаяй — столько не сыщешь. Откажись от затеи, батюшка Николай Порфирьевич!

— Нельзя, — вздохнул губернатор. — Я самому государю слово дал...

— Ну, ежели так... тогда одно остается... у графа Аракчеева милости искать...

Царский всесильный фаворит при желании мог, конечно, оказать помощь, губернатор знал это, только очень уж противно было обращаться к свирепому, грубому и невежественному временщику. А пришлось, иного выхода не было.

Аракчеев, выслушав губернатора, покрутил сизым носом, пошевелил отвислыми губами, просипел:

— Надо было прежде все обдумать, сударь мой, а потом уж перед государем выхваляться!.. Ничего для вас не могу. Честь имею!..

Дубенский заболел от огорчения и вышел в отставку. Вопрос о шоссеной дороге отложили еще на добрых тридцать лет. Не под силу была «шоссейка» воронежскому дворянству и купечеству.

Лишь в середине века, когда обострилась борьба русских войск с кавказскими горцами и назревала война с турками, а дорога на юг приобретала особое значение, царское правительство отпустило необходимые средства.

Работы продолжались несколько лет. Наживались, богатели подрядчики и приказчики, надрывался, стонал крепостной народ. Никакой механизации тогда не существовало, все делалось вручную. В зыбких известковых шахтах ломали кирками камень, чугунными трехпудовыми бабками вбивали камень в дорогу, тачками перевозили сотни тысяч тонн земли и песка.

1 февраля 1859 года «Воронежские губернские ведомости» объявили, что «шоссе от Воронежа до Задонска окончено сооружением и открыто для езды».

Вскоре, однако, выяснилось, что Задонское шоссе не имеет надлежащей прочности. Известковый камень быстро разрушался, требовался постоянный ремонт, и работы на шоссе не прекращались.

Помню хорошо, как ремонтные рабочие в холщовых портах и в лаптях, напрягая мускулы, крихтя и охая, трамбовали тяжелыми бабками каменные заплаты. Получали они за это в день, на своих харчах, сорок копеек. И обязательно грыжу.

Участковые врачи, осматривая совсем еще молодых мужиков с явными признаками этой болезни, сразу догадывались о причинах.

— На шоссеной дороге, что ли, работал?

И ответ следовал весьма красноречивый:

— На ней на самой, на шахе на каторжной... А вот когда асфальтировалось Задонское шоссе, я встретился с двумя молодыми парнями, работавшими на больших машинах-катках. Один из них, высокий, сероглазый, с лихо взбитым чубом, недавно окончил специальные курсы, другой, чуть постарше, темноволосый крепыш, имел десятилетнее образование. Они неплохо зарабатывали, хорошо питались, много читали, а вечерами надевали шелковые рубашки и парадные костюмы, шли в соседнее село смотреть кино и танцевать с девушками. Я спросил их:

— Значит, живется вам неплохо?

Тот, который постарше, пожал плечами:

— Так себе... хвалиться нечем... Товарищ его, тряхнув чубом, добавил:

— Занятие наше, в общем, чепуховое и скучноватое...

— А чем же, собственно говоря, вы недовольны?

Парни охотно пояснили:

— Ползаем по дороге, словно черепахи... Кругом лес, поле да небо... Автолавка приезжает редко, иной раз без папирос сидим. В городе и веселей, и культурней, там и театры, и стадионы... А тут что?

Претензий, в общем, высказали немало, и, вероятно, многие из них были справедливы, но я, слушая их, думал о другом.

С необычайной отчетливостью оживали в памяти работавшие когда-то здесь за сорок копеек в день деды таких вот ребят; я пытался мысленно сравнить век минувший и век нынешний и чувствовал, как трудно найти между ними точки соприкосновения. Слишком велико различие внешнего и внутреннего облика дедов и внуков. Одно было несомненно: молодые собеседники мои не знали прошлого своего отечества, не знали, как трудились их предки, иначе собственный их нынешний труд, облегченный сильными и умными машинами, представлялся бы им не будничным, скучным занятием, а деянием глубокого исторического смысла и значения.

ЖИВОТИННОВСКИЙ ОБРАТ

С тех пор, как началось в Воронеже корабельное строение, как нахлынули сюда государевы начальные и мастеровые люди да иноземцы, для воронежских ямщиков настала беспокойная жизнь. Они содержали по цареву указу тридцать лошадей, и прежде этого хватало, езда была редкая, но теперь ямской староста Костка Астафьев не успевал подавать лошадей всяким чиновным господам, курьерам и офицерам. Ямщикам дома и ночь поспать не удавалось — постоянно в гоньбе, лошади телом опали, а от воеводы в Ямскую слободу каждый день дьяк жалует, старосте наказывает: давай лошадь тому, давай другому, да смотри, чтобы ехать борзо, господа знатные, строгие, и скулу свернуть, и в ухо заехать не постесняются!

А вскоре ямщиков ожидала и худшая напасть. Начальные всех чинов люди, не желая терпеть никакой задержки, стали сами наведываться в слободу. И разговор у них с ямщиками короткий:

— Запрягай да подавай, пока не бит!

Ямщики от непрошенных гостей начали укрываться. Воевода Д.В. Полонский, проведав о том, приказал:

— Брать на правез ямщицких женок да взбадривать их хорошенько розгами, небось хозяева отыщутся...

В Ямской слободе поднялся крик и визг несусветный. Стрельцы хватали женок, тащили их «на правез». Ямщики, жалея баб, выходили из укрытий, принимали удары батогов на свои спины, и если в разгоне были ямские лошади, то за свои кровные деньги брали коней у соседей — отвезти до ближнего яма начального человека. А тот зачастую и установленных прогонов не платил.

Костка Астафьев о всех этих беззакониях написал челобитную государю: «Воронежский воевода во всякие посылки и многим начальным людям и иноземцам ямщиков с подводами отдает без твоего, великого государя, указу и без московских подорожен, а указных у нас на яму тридцать лошадей. И как-де те тридцать лошадей бывают все в гоньбе, то сверх тех указных лошадей берут у нас лишние многие подводы под всяких чинов людей без прогонов, и с тех лишних подвод бьют нас на правезе; а как ямщики бывают все в гоньбе, и без них те подводы

правят на женах их. И те лишние подводы дают ямщики, нанимая дорогою ценою без прогонов, и от того они оскудели и одолжали многими долгами и лошадыми опали».

Петр строжайше приказал воронежскому воеводе притеснения ямщиков прекратить и сверхуказных тридцати лошадей «без прогонов лишних подвод с них, ямщиков, ныне и впредь иметь не велел».

Однако этот указ лишь озлобил воеводу против строптивых ямщиков. Их стали преследовать на каждом шагу, донимать не мытьем, так катаньем, а жалобы на «озорничество, чинимое во взятии подвод, и несносные ямщикам с побоями обиды» приказные дьяки не разбирали.

Что оставалось делать ямщикам? Некоторые из них, «обезлошадев и разорясь», бежали. Другие продолжали ямскую службу и с «обидчиками» разделялись по-свойски.

В двадцати двух верстах от Воронежа, в животинновском лесу, задонскую дорогу пересекает поросшая редким кустарником глубокая балка, уходящая в обе стороны от дороги. Место глухое, издавна облюбованное лихими людьми для разбойных нападений; говорили старики, будто здесь некогда сам знаменитый атаман Кудеяр с кистенем похаживал.

И вот спустится ямщицкая тройка в балку, а тут ее поджидают:

— Вылезай, барин, приехали!

Расправа у дорожных молодцов, находившихся в тайном сговоре с ямщиком, была короткой, а следы попробуй отыщи, коль проезжий никаких подорожных ямскому старосте не являл!

Но чаще дело кончалось одним грабежом, причем дорожные молодцы для виду вязали и ямщика. А когда трясущегося от страха проезжего вытаскивали из повозки, начинали раздевать да обирать, ямщик слезно упрасивал:

— Побойтесь бога, молодцы, не берите греха на душу, не губите человека хорошего, безвинного!

И рад-радешенек бывал проезжий, ежели разбойники, смилостивившись, отпускали его живым.

Ямщик Афонька Ерохин, как видно из старых приказных дел, принимал участие в четырех подобных ограблениях, пока не был уличен, схвачен, бит, клеймен и сослан на каторгу.

Впрочем, сговор ямщиков с дорожными грабителями был явлением кратковременным. Оно прекратилось, как только правительство пресекло самовольство проезжих, ввело обязательное предъявление подорожных и прописку на почтовых станциях.

Однако овраг в животинновском лесу долгие годы продолжал считаться гиблым местом.

В прошлом веке кроме ямщиков, служивших при почтовых станциях, существовали в Воронеже и Задонске, как, впрочем, и в других местах, ямщики вольные. Они имели тройки рысистых лошадей, хорошие экипажи, обслуживали богатых любителей быстрой езды. Словно птица, летит, бывало, по зимнему первопутку вольная тройка! Вихрится снег, звенят колокольцы, на облучке саней ковровых в суконном синем кафтане и надетой набекрень шапке малинового цвета лихой молодец ямщик, и, кажется, никакой черт ему не страшен, не становись никто на дороге, сомнут, растопчут горячие, бешеные кони! А как только покажется мостик через животинновский овраг, забеспокоится ямщик и встанет, шапку поправит, крепче вожжи подберет да присвистнет:

— А ну, быстрее выносите, милые!

Неспокойно было здесь и в первые советские годы, когда нагоняли страх на проезжих дезертиры и недобитки из колесниковских и антоновских банд. Как-то

раз ехал я из Задонска в Воронеж на паре исполкомовских лошадей, правил которыми пожилой опытный кучер Минаич. Дела были спешные, и я надеялся вечером быть в городе, но сильные метели последних дней попортили дорогу, образовалось много глубоких ухабов, это затрудняло езду, и мы подъехали к животинновскому лесу, когда уже начало темнеть.

Минаич огляделся по сторонам и произнес со вздохом:

— Не успеем овраг проскочить... Придется, видно, у Ивана Тимофеича заночевать...

Я запротестовал:

— Да ты что, Минаич! Время еще не позднее, лошади добрые, а на всякий случай и револьвер у меня...

— Вот разве игрушки этой вашей испугаются! — с презрительной усмешкой отозвался Минаич. — Нет, вы меня послушайте!.. Или Ивана Тимофеича спросите, вон, кстати, и он, легок на помине.

С правой стороны шоссе, на веселой полянке, окруженной лесом, виднелись бревенчатая контора и конный двор: тут прежде происходила смена лошадей под дилижансы. А у конторы с ружьем за плечами стоял человек высокого роста, с круглой курчавившейся черной бородкой и чуть выпуклыми живыми глазами. Это и был Иван Тимофеевич, бывший конторщик владельца дилижансов Копенкина, а ныне лесной сторож и заядлый охотник, знавший всю окрестность как свои пять пальцев.

Я был знаком с Иваном Тимофеевичем, мы повидались как хорошие приятели. Он сказал:

— Дело, конечно, случая, может быть, вас овражные и не остановят, а только последнее время озоруют они сильно... На той неделе ехавшего в Рамонь милиционера убили, а вчера хлевенских кооператоров дочиста ограбили. Лучше всего оставайтесь ночевать.

Мы так и поступили. И не мы одни. Часа через два просторная, хорошо натопленная горница была до отказа набита проезжими. Общий разговор, естественно, сосредоточился на дорожном разбое. Народ в прежние времена вообще любил потолковать на эти темы, а тут и случай самый подходящий, наслушаешься такого, что ночью не спится, хотя нелегко заснуть и по другой причине: в горнице душно, чадно от тяжелого махорочного дыма, подвешенная к потолку семилейная керосиновая лампа еле просвечивает, а спящие впопалку на полу люди оглушают богатырским храпом.

Выехали мы на следующий день рано, ясное морозное небо лишь начинало румяниться, а когда подъехали к знаменитому оврагу, увидели страшную картину. Метрах в ста от мостика лежали окоченевшие трупы двух неизвестных. Они были в одном окровавленном холщовом солдатском белье. Вытопанная множеством ног полянка, побуревшие кровавые пятна и до неузнаваемости изуродованные каким-то холодным оружием лица убитых свидетельствовали о том, что люди упорно сопротивлялись и, вероятно, кого-то из бандитов поранили: на лесной тропе, уходившей в глубь леса, виднелся красный след.

Что же за трагедия разыгралась здесь этой ночью и кто были погибшие? Был потом слух, будто так жестоко расправились бандиты с посланными к ним для слежки агентами уголовного розыска, однако ничего более достоверного узнать не удалось.

А картина запечатлелась крепко. И до сих пор, проезжая животинновским лесом, любясь чудесной спокойной красотой его, невольно вспоминаешь о былых дорожных разбойных делах и радуешься, что все это в безвозвратном прошлом.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

От Задонска до Москвы около пятисот километров. Покойный мой отец помнил, как задонские купцы и торговцы ездили в былое время, когда не проходила еще железная дорога через Елец, за товаром в Москву. Ездили большей частью зимой по санному пути. Собиралось несколько хозяев, составлялся большой обоз из крестьянских подвод, нанятых в соседних деревнях. В Москву, чтоб покрыть частично дорожные расходы, везли окорока, сало, мед, холстину и мороженых бирючков. Перед отъездом служили молебен о благополучном пути. Дорога дальняя, ведь тащится обоз чуть не две недели, мало ли что может случиться в дороге. В Москве стояли еще дней десять, а в общем все путешествие туда и обратно длилось почти полтора месяца.

Я впервые поехал в Москву с отцом в 1910 году. И помню все смутно, словно сквозь сон. По старинной привычке брали с собой большой чайник, хлеб, продукты. «В Москве втридорога за все дерут», — говаривал, бывало, отец. Брал он, на всякий случай, с собой револьвер. Мать обыкновенно запикивала его в чемодан, а чемодан привязывали к задку тарантаса или саней. Ведь до Ельца сорок верст приходилось ехать затемно, а ну как повстречается на дороге лихой человек!

Из Ельца через Тулу ехали мы по железной дороге. Впервые услышал я тогда гудок паровоза, перестук колес, обычную железнодорожную суету. Все это меня страшно взбудоражило, и я не спал в вагоне всю ночь. В Туле вошли в вагон лоточники:

— Вот тульские пряники! Кому тульских пряников?

Я с вождением смотрел на невиданное лакомство. Но отец крепко спал и не любил, чтобы его будили, а у меня денег не было, и мне оставалось завистливо поглядывать на счастливых, покуповавших пряники. Какой-то старичок седебородый, сжалившись надо мной, спросил иронически:

— Что, хлопец, очень хочется пряничка? Ну, ладно, вот тебе гривенник, а мы с отца твоего взыщем, когда проснется...

Москва оглушила меня непривычным шумом и звоном, выкриками многочисленных торговцев-разносчиков, поразила скоплением стоявших на вокзальной площади извозчиков, или «ванек», как их называли. Извозчики сразу окружили пассажиров тесным кольцом, перебивая друг друга, хватая их за рукава, приглашали:

— Пожалуйте, ваша милость! Вам куда угодно?

— Садитесь ко мне, ваше степенство, не пожалее! Доведем в любой конец за полтинничек!

Мохноногая лошаденка, запряженная в городские двухместные санки, плелась ленивой рысцей, санки поминутно ныряли в уличные ухабы, до Замоскворечья мы ехали чуть ли не час. Тут обычно останавливались задонские торговцы на одном из постоянных дворов, где были, впрочем, и номера для приезжающих.

Тогдашняя Москва совсем не походила на теперешнюю красавицу-столицу, с ее широкими асфальтированными проспектами, со сверкающими всюду зеркальными витринами магазинов и прекрасным освещением. Тогдашняя Москва даже в центре была сильно загрязнена и скудно освещалась керосиновыми фонарями. А в торговых кварталах, где находились склады и лабазы, грязь и вонь от стока нечистот стояли страшнейшие, об окраинах города и говорить нечего — там о чистоте и порядке никто не заботился.

Более или менее ясно видятся мне Красная площадь, стоявший у торговых рядов памятник Минину и Пожарскому, Иверская часовня с толпой нищих у входа, Кремль, колокольня Ивана Великого, знаменитые Царь-пушка и Царь-колокол.

А более всего, пожалуй, запечатлелось в памяти посещение известного книгоиз-

дателя Ивана Дмитриевича Сытина. На Пятницкой улице стояло огромное трехэтажное здание, причем верхние этажи были заняты, кажется, редакцией газеты «Русское слово», чем тогдашние московские остряки не замедлили воспользоваться.

— Вот оно, наше трехэтажное русское слово! Мне неизвестно, где и когда отец познакомился с Иваном Дмитриевичем, но помню, что встретились они как давнишние знакомые. Я, войдя в магазин, сначала оробел, глаза разбежались от обилия великолепных красочных книг, я почти не слышал, как отец меня представил:

— Это сын мой Николай...

Иван Дмитриевич ласково погладил меня по голове, спросил:

— Читать-то любишь, молодой человек?

— От книг не оторвешь, — ответил за меня со вздохом отец.

— Это хорошо, — улыбнулся Иван Дмитриевич. — Книга всему научит. Только от плохих подальше держись, а хорошие, сделай милость, читай, сколько хочется, кроме пользы ничего не будет...

И тут же поинтересовался:

— Ты где же учишься?

— В духовном училище, — покраснев, не зная почему, произнес я. — У нас других нет...

— В Ельце, говорят, частная гимназия открывается. Хотим осенью туда определить, — добавил отец.

— Это правильно, — кивнул головой Иван Дмитриевич. — Попов в России без него хватит, а куда лучше, ежели врачом или инженером будет... Образованные люди всюду требуются.

Иван Дмитриевич подозвал к себе пожилого усатого приказчика и приказал:

— Ну-ка, Тимофеич, займись молодым человеком. Подбери ему книжек, какие позанятней, а я с его родителем побеседую...

Тимофеич привел меня в отдел юношеской литературы.

— Вот, извольте поинтересоваться... Это графа Толстого рассказы... Это романы Чарской на исторические сюжеты... Это Диккенс Чарльз, знаменитый английский писатель...

Я до книг был жаден, они были моими лучшими друзьями. В мире моих детских грез я видел себя только сочинителем. Не прошло и часа, как на полке выросла большая стопка книг. Я отобрал чуть ли не добрую сотню. И чувствовал себя счастливым.

Но в это время отец, выйдя из кабинета Ивана Дмитриевича и увидя все, что я выбрал, замахал руками:

— Куда, куда столько! Ну, две или три книжки... А это что ж такое, целый склад! Мы и не донесем и убирать их некуда, с нами один чемодан только...

Мое счастье оказалось призрачным. Тщетно пытался Тимофеич напомнить отцу, что эти книги — подарок от Ивана Дмитриевича, тщетно смотрел я на отца умоляющими, полными слез глазами. Он был упрям и безжалостен.

Москва словно потонула в густом и непроницаемом тумане. Дальнейшее пребывание в ней потеряло для меня всякую привлекательность. Но, приехав домой, я долго еще не расставался с одной из сытинских книжек, ярко и красочно изданной и иллюстрированной. Это был «Принц и нищий» Марка Твена.

...В советское время впервые я был в Москве в августе или начале сентября 1923 года. Я по-прежнему редактировал тогда задонскую газету и не шутя считал себя поэтом-имажинистом, выпустил две книги стихов. Воронежские комсомуровцы относились к поэтическим моим опусам доброжелательно, хотя и справедливо упрекали в подражании Сергею Есенину.

В те времена существовала такая мода — присоединиться к какому-нибудь литературному направлению. У нас в Воронеже были и футуристы, и акмеисты, и даже какие-то «ничегоки». Ну, а мы с Борисом Дерптским объявили себя имажинистами и выступили даже с неким глупейшим манифестом, в котором, если память не изменяет, имелись такие строки:

Швыряйте камни и плюйте в небо,
Оно для вас не создано.
Вам нужно золото, вам нужно хлеба,
Так плюйте в небо все равно.
Вы не чета нам, поэтам, парящим
В лунных проулках пугающих неб.
Наш бог вознесенный — Вадим Шершеневич,
А ваш — черный хлеб...

И что-то еще в таком же задиристом, бесшабашном тоне.

— Вадим Шершеневич — наш великий теоретик, — говорил мне Борис.

Я ехал в Москву с рекомендательным письмом к Шершеневичу от воронежских имажинистов. Разумеется, были и другие, более конкретные цели моей командировки.

И вот я в Москве. Как много здесь изменилось за последние годы! Отгремела гражданская война, попытки империалистов задушить нас в тисках разрухи и голода провалились. Москва стала столицей первой в мире социалистической державы. Город чистился и прихорашивался. Планировались новые крупные строительства, и кое-где уже виднелись их очертания. Новая экономическая политика была в разгаре. Возникали частные предприятия, открывались рестораны. Начинаясь эпоха мирного строительства.

Первая афиша, обратившая на себя мое внимание, извещала о выступлении поэта Сергея Есенина в Большом зале Политехнического музея на Лубянке.

В те времена с именем поэта было связано немало всяких скандальных историй, до которых публика всегда падка, и билеты были давно распроданы. А мне познакомиться с Сергеем Есениным хотелось невероятно. Тогда я решил использовать свою записку к Шершеневичу, полагая, что он-то, конечно, на вечере должен присутствовать. И не ошибся. Контроль меня пропустил, и я оказался в большой, примыкавшей к сцене комнате, где толпилось много всякого люда. Большинство этой свиты составляла молодежь явно богемного вида. Тут находились имажинисты, выступавшие вместе с Есениным, и наиболее близкие ему поклонницы и поклонники, какие-то выложенные юноши с подведенными глазами, с прилизанными, блестящими от бриллиантина волосами и накрашенные девицы с папиросами в зубах. В комнате было шумно, душно, накурено.

А чуть поодаль, в старинном кресле, откинув голову на высокую спинку, полулежал Сергей Есенин. Я никогда не видел его, но сразу узнал по пышным, волнистым, с золотистым оттенком волосам, которые беспорядочно спадали на усталое, мертвенно-бледное лицо с полузакрытыми глазами. Вокруг него хлопотали, кто-то пробовал пульс, кто-то давал нюхать какой-то порошок. Я спросил первого попавшегося на глаза молодого человека:

— Скажите, пожалуйста, можно ли мне видеть Шершеневича?

— Сделайте одолжение, — вежливо произнес тот и крикнул: «Вадим, тебя спрашивают!..»

Высокий худощавый Вадим Шершеневич, сын известного московского профессора-юриста, встретил меня приветливо. Я коротко сказал о себе, передал рекомендацию. Шершеневич бегло прочитал, спросил:

— Тебе, вероятно, Есенина послушать хочется?

— Очень, — признался я, — и, если возможно, познакомиться с ним.

— Ну, первое устроим, это в наших силах, а вот второе... отложить придется. Видишь, в каком он состоянии...

— А как же он выступать будет?

— Отойдет. Привычка, — пожал плечами Шершеневич. — Сережа себя держать в руках умеет, когда требуется.

Вадим достал из кармана небольшой блокнот, что-то написал, протянул мне:

— Передай старшей контролерше, она устроит... Относительно же знакомства... приходи в наш клуб, знаешь «Стоило Пегаса»? В среду, или, нет, лучше в четверг, часов в двенадцать, пока народ еще не собрался...

Я поблагодарил и вышел. Контролерша устроила мне место где-то далеко от сцены, но я был рад и этому.

Выступление поэта задерживалось. Переполненный зал шумно выражал нетерпение. Наконец на сцену неуверенной походкой вышел Сергей Есенин. Он начал рассказывать о своей заграничной поездке, как полетели они с Айседорой Дункан через Кенигсберг в Берлин, сколько было с ними багажа, как встретили их в Париже. Говорил он скучно, невнятно, бессвязно.

В зале послышались выкрики:

— Оставьте воспоминания, Есенин, не выходит у вас!

— Довольно болтать! Читайте стихи! Стихи! И вдруг Есенин, махнув рукой, улыбнулся такой простой, подкупающей, чудесной, улыбкой:

— Верно, не могу я прозой. Лучше буду читать стихи.

Я не помню, в какой последовательности он их читал, но помню отлично, что я был совершенно заворожен его стихами и мастерским чтением. Время исчезло, я видел лишь Есенина, слышал только его чуть хриловатый, неповторимый певучий голос:

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я педил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!».

Словно живой вставал передо мной в этих стихах предводитель деревенских ребятишек, озорник и забияка Сережа, и такой огромной жизненной правдой, искренностью были полны эти стихи, так притягательна была их сила, что у меня защемило сердце. А Есенин, понизив голос чуть ли не до полусшепота, заканчивал:

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»

Стихи взяли за живое, видно, не одного меня. Долго не смолкали в зале аплодисменты. Есенин стоял, опустил голову, потом вздохнул, взметнул золотистыми кудрями и, словно продолжая раздумье над жизнью, начал читать другое:

Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым...

Зал затих настороженно. Чарующая простота и внутренняя сила этих стихов властно захватили всех. Я видел, как сидевшая невдалеке от меня пожилая женщина достала платок и поднесла к глазам.

Все мы, все мы в этом мире тленны.
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветать и умереть.

Последнюю строфу произнес Есенин с такой страстностью и трагическим пафосом, что у меня долго еще звучали в голове эти стихи, и я никак не мог отделаться от мысли, что они схожи с реквиемом и по содержанию, и по музыкальности, и по особой задушевности исполнения.

...Клуб имажинистов «Стойло Пегаса» на Тверской представлял собой довольно тесное помещение с небольшой эстрадой и расписанными декадентской живописью стенами. Я пришел туда в назначенное время и застал там Есенина в компании Шершеневича, Анатолия Мариенгофа, Петра Орешина и еще каких-то клубных администраторов. Есенин был в темно-сером заграничном костюме и белой шелковой рубашке с мягким воротничком, выглядел он на этот раз хорошо, только тень усталости лежала на лице и васильковые глаза его казались чуть воспаленными.

Вся компания пила кофе и вела разговор на сугубо меркантильные темы. Один из администраторов что-то бойко отсчитывал на счетах, а чуть в стороне сидела стайка скучающих девиц и о чем-то шушукалась, поглядывая изредка на Есенина.

Вероятно, мой приход был некстати, я и сам это почувствовал и застеснялся. Но Шершеневич тут же поднялся и громко представил:

— Познакомься, Сережа... Это твой почитатель поэт-имажинист из Воронежа... Знакомьтесь, товарищи!

Я назвал себя. Есенин дружески пожал мне руку, улыбнулся:

— Я видел ваш воронежский журнал «Сирена». Его Владимир Нарбут издавал... Занятный журнальчик, только бестолковый!

— А у вас в Воронеже сколько имажинистов? — заинтересовался Мариенгоф.

Я ответил.

— Ну-ка, прочитай что-нибудь свое, — неожиданно сказал Есенин.

Предложение заставило меня замяться, я к чтению стихов не приготовился.

— Давай, брат, читай, — вставил Петр Орешин. — Ты же не красная девица, нечего жеманничать...

Делать было нечего. Я прочитал несколько мелких стихотворений, которые считал лучшими, а также наш «Манифест». Шершеневич, услышав упоминание о себе, звучно расхохотался:

— Нет, это у вас здорово!.. «Наш бог вознесенный — Вадим Шершеневич»! Что скажешь, Сережа?

Есенин поморщился:

— Озоруют ребята. Что тут хорошего... И не остроумно!.. А в стихах твоих, — обратился он ко мне, — есть хорошие строчки. Но до настоящего мастерства далеко. Упорно работать нужно. И так стихи писать, чтобы они душу человеческую жгли и выворачивали, никого спокойным не оставляли. Не можешь так писать, — лучше не пиши совсем!

— Слишком строгие требования предъявляешь, — сказал Мариенгоф. — Имажинизм — новейшее направление в поэзии, не всем еще наши теоретические положения достаточно ясны...

Есенин, взглянув на Мариенгофа, вспылил:

— А мне на кой черт эти новейшие направления нужны? Я русский поэт и гор-

жусь этим, а ничем иным. Я пишу, как бог на душу положит, а не притягиваю строки по вашим схемам и теоретическим положениям...

Мариенгоф покраснел. Шершеневич, опасаясь, что ссора может принять дурной оборот, вмешался:

— Сережа, ты не забыл, что мы сегодня приглашены к Воронскому?

Есенин поднялся. Скучающие девицы последовали его примеру, одна из них пискнула:

— Есенин, а стихи читать разве не будете? Есенин доброжелательно и вежливо отозвался:

— Сегодня не буду, девушки... Завтра вечером приходите!

...Спустя два или три дня я встретился в каком-то ресторане с Петром Орешиним. Мы дружески повидались, разговорились. Я спросил:

— Не знаю, верно ли, а кажется, у Есенина с Мариенгофом какие-то нелады?

— Да, какая-то кошка между ними пробежала, я тоже заметил, — подтвердил Орешин. — Я ведь не первый год Сережу знаю... Самобытный, огромный талант! А вот некоторые друзья его... — он круто сломал разговор. — А ты что, вправду в имажинисты определился или добрые люди причислили?

— Вернее последнее...

— Вот, я так и предполагал, — сказал Орешин. — Не похож ты на имажиниста... Сергей хорошо Мариенгофу ответил: на кой черт ему, талантливому поэту, литературные кривлянья? Вся эта богемная мошकारа мешает ему... И он это сам сознает, хотя сил иной раз не хватает расстаться с ней...

— Так что же такое по-твоему имажинизм?

— Затея, обреченная на бесславное существование, не больше!

...Возвратился я домой в сквернейшем настроении. То, что я увидел и услышал в Москве, тяжелым камнем легло на душу. Ведь в какой-то степени я верил, что имажинизм — нужное, интересное направление. Теперь все приходилось переоценивать. Свои поэтические способности — тоже. С мнением Сергея Есенина я не мог не считаться. И с тех пор стихи писать я перестал.





Александр Дмитриевич Конопатов (1922—2004) родился в селе Киевском Краснодарского края. Член-корреспондент АН СССР, действительный член РАН, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. В 1965—1993 гг. — руководитель КБХА, преемник легендарного С.А. Косберга. Под его непосредственным руководством решен ряд сложнейших технических задач в области космонавтики, создан первый в стране мощный кислородно-водородный двигатель для ракеты «Энергия». Почетный гражданин Воронежа.

Александр Конопатов

ВОТ ПРИВЕЗ ТЕБЕ КОНФЕТ

Вот что я недавно нашла в его записях: «Я никогда не жалел, что два года проучился в строительном. Высшая математика, физика, гравитика, начертательная геометрия и другие предметы, на мой взгляд, преподавались там более широко и глубоко, чем в других вузах. Это привело к тому, что конструкторское бюро, где я стал работать после института, поручило мне, и я охотно взялся за организацию проектно-расчетных работ».

...В его записях есть фраза, полностью характеризующая его: «Я должен вам сказать, что большинство из нас учились охотно и не только по долгу перед родителями и Родиной, но, я бы сказал, от потребности».

...Те люди, кто был свидетелем полета Гагарина в космос, вряд ли когда забудут ощущения, какие они тогда испытали. Нас переполняло чувство гордости за страну. Видели бы вы, как люди в едином порыве вышли на улицы приветствовать это известие.

...Александр Дмитриевич рассказывал, что Косберг во время запуска присутствовал на Байконуре, а сам он оставался за главного на предприятии. Когда все благополучно закончилось, Семен Ариевич позвонил с космодрома в Воронеж и сказал, что бы собрался вместе с женой в Москву.

Телефонограмму он получил утром, а в 17-00 Александр Дмитриевич и Екатерина Васильевна уже были в Кремле.

Родителей приглашали практически на все торжественные собрания после полетов. Все пригласительные билеты, на многих из которых есть автографы С.П. Королева, космонавтов, папа хранил.

...Как он сам вспоминал, военные шутили над ним: мол, вам хотели дать Героя Советского Союза, но в мирное время эту награду не вручают, вот и ограничились Героем Соцтруда. А дело было так: разрабатывали двигатели, которые устанавливались на межконтинентальные ракеты стратегического назначения. При этом пускались они со стартера. У Александра Дмитриевича были идеи и разработки бесстартерного пуска, поскольку стартер снижал надежность срабатывания. Ракета могла взлететь, а могла и нет. За счет своего волевого характера и целеустремленности ему на уровне ЦК КПСС удалось настоять и доказать нецелесообразность этих ракет и запретить их производство.

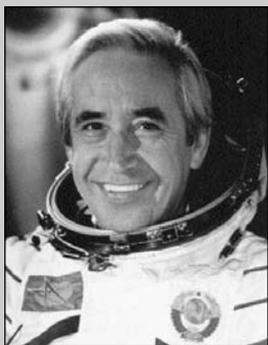
В разработки Конопатова мало кто верил, в том числе и известный ракетчик Владимир Чепомей. Но Александру Дмитриевичу в силу его характера удалось убедить всех в своей правоте. И порядка трехсот ракет были переоборудованы. На это ушло не меньше года работы. А было ему в ту пору всего лишь 43 года.

...Всю жизнь папа был очень интересным, эрудированным, высокообразованным человеком. Люди тянулись к нему и он с удовольствием общался с ними. В детстве он много времени проводил со мной. Каждые выходные в Рыбачьем, где мы тогда жили, устраивались какие-нибудь праздники. Когда на предприятии началась основная работа по подготовке полетов в космос, я как раз пошла в школу. Папа тогда мне говорил: «Вот сейчас немного разберусь с делами и прыгну к тебе в школу, на родительском собрании посижу». Но так ни разу и не пришел. Работа была для него на первом месте... Очень любил маму, из каждой командировки, даже однодневной, привозил ей какие-то подарки. Бывало, вернется из Москвы, куда мотался по 60 раз в год, и скажет маме: «Папчик, я только успел в министерский буфет забежать. Вот привез тебе конфет».

...Осталось огромное количество писем, фотографий, сувениров, поздравительных адресов. Хотелось бы собрать все это воедино, дабы ничего не потерять. Думаю, что нам помогут решить вопрос с созданием музея, ведь папа очень много сделал не только для КБХА, но и для города. К тому же был Почетным гражданином Воронежа.

*Из воспоминаний об отце дочери А.Д. Конопатова
Елены Александровны*





Константин Петрович Феокистов (1926—2009) родился в Воронеже. Участник Великой Отечественной войны. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, доктор технических наук. Член-корреспондент Международной академии астронавтики. Один из создателей первого искусственного спутника Земли, первый гражданский космонавт и первый конструктор, опробовавший свое «детище» в деле. Впервые в истории полетов экипаж, в состав которого он входил, отправился в космос без скафандров.

Константин Феокистов

ЛУЧШЕ ВОРОНЕЖА НЕТ ГОРОДА НА ЗЕМЛЕ

Хорошо помню, как в четвертом классе заявил своему однокласснику Коле Морозову: «В 1964 году полечу на Пуну». Тут уж явно проявилось мое тщеславное желание похвастать «великим» замыслом. Откуда такая определенность насчет 1964 года? Почему именно на Пуну? Может быть, потому, что в это время вышла на экран картина о полете на Пуну? Точное название кинокартины не помню. Но, кажется, там в числе действующих лиц был Циолковский и демонстрировался великопепный старт пунной ракеты по наклонной эстакаде! Как раз тогда я и сделал «железный» расчет: закончить школу (шесть лет), пять лет на институт и еще лет пятнадцать-семнадцать на исследования, проектирование, постройку корабля и подготовку к полету.

Верность этой детской идее хранилась недолго. Уже в седьмом классе изменил первому выбору. Показалась заманчивой идея передачи электроэнергии без проводов, которую почерпнул, наверное, в каком-нибудь фантастическом рассказе.

Я записался в энергетический кружок городского Дворца пионеров. Для начала руководитель кружка предложил попробовать сделать генератор с постоянным магнитом. Но руки у меня оказались не-

важные — нужный зазор между ротором и статором никак не получался. Энергетиком так и не стал, но время, проведенное в кружке, хорошо запомнилось. Руководитель кружка, инженер, умел находить с нами общий язык, интересовываться. Правда, когда я рассказал ему о своей идее, разочаровывать он меня не стал, посмотрел на меня как-то нехорошо и в дальнейшем относился ко мне настороженно. Сейчас мне кажется, что, поглядывая на меня, он подумывал, а не зря ли тратит время на этого занугу.

В кружке двое из ребят — Владька Маликов и Вовка Саенко — были из нашей школы и жили недалеко от меня. Вместе занимались, вместе поздним вечером возвращались глинной дорогой домой и обсуждали все подряг: от навыков работы с напильником до устройства Всепенной. Устройство Всепенной занимало меня и раньше. До сих пор так и вижу компанию мальчишек, сидящих на большом мусорном ящике во дворе моего дома и, задравши лица в петнее веселое небо, обсуждающих вопрос: а что там, за облаками? Главной в наших спорах и беседах была уверенность: можно сделать, построить все, что захочется. Только нужно хорошо подготовиться, овладеть всем, что уже достигнуто в выбранном направлении.

...Но перед самым окончанием школы, в библиотеке, мне попалась на глаза книга известного немецкого инженера и изобретателя Макса Вапье «Полет в мировое пространство». Из этой книги все было достаточно понятно, но более серьезно и увлекательно. Стало мне, как показалось тогда, значительно яснее, что предстоит сделать, чтобы космический корабль полетел. Когда делошло до выбора профессии, уже твердо решил идти в авиационный институт. Это, как мне казалось, было ближе всего к моей цели.

*Из книги К.П. Феоктистова
«Траектория жизни. Между вчера и завтра»*

Полет в космос — не прогулка. Работать совсем нелегко. Но главное, что к прежним полетам космонавтов, их наблюдениям мы добавляем немало нового. Работа экипажа «Восход», безусловно, расширит представление о космосе.

Скажу вам, что Земля очень красивая с космической высоты. Воздушная корона, окружающая Землю, особенно прекрасна тогда, когда она подсвечена Пуной. Грандиозно зрелище полярного сияния. Такого с Земли никогда не увидишь.

Очень красив горизонт. Он как бы состоит из различных слоев, окрашенных в редкостные цвета. Может быть, это чем-то напоминает нашу земную радугу после дождя. В шутку мы называли атмосферу «споеным пирогом».

*Из беседы специального корреспондента ТАСС
с К.П. Феоктистовым 15 октября 1964 года на Байконуре*

За последние годы я много поездив по стране, и скажу, что лучше нашего Воронежа нет города на Земле... Да, да, я имею в виду те самые три березы на рудине, к которым всегда неудержимо тянет.

*Из интервью космонавта 23 октября 1970 года
для воронежского историко-литературного сборника «Собеседник»*



СЛОВА ТЕРПЕНИЯ И ВЕРЫ

Иван Щёлоков

МОЙ КОЛЬЦОВ

По берегам степной речушки Красной,
Где тальники, обрывы, резеда,
Зачем ищу, спустя два века, страстно
Следы того, кто здесь гонял стада?

Можайское, Запрудское... А выше,
Туда, к истоку, птицей из-под ног
Степного ветра в травяном затишье —
Село мое родное Красный Лог.

Простор, простор течет под роговицу
И вдохновеньем обжигает грудь.
Хоть пей и пей его, а не напитокъ,
А коль напьюсь — мне больше
не вздохнуть!

Что, если правда: от Смычкова лога
К Дурному логу он, сам-друг Кольцов,
Околицей, нехоженой дорогой
Шагами мерил край моих отцов?!

Ночь бугаем сопела в зыби мрачной.
И языком костра с горячих губ
Стада созвездий слизывали смачно
Кольцовских песен неземную глубину.

Я вглядываюсь в дальний свет востока.
И глазу нет предела от глубин.
И вольный ветер над речной осокой
Проносит голос с дремлющих равнин.

Анатолий Абрамов

* * *

Один Кольцов у храма дни и ночи.
Такая, видно, у него судьба.
Не говорит, не стонет, не пророчит.
Лишь провожает каждого раба.

Раба Господня, раба Христова
И каждого, кто с верою в ладу.
И здесь он выше самого Толстого.
И мир его — в Раю, а не в Аду.

Сергей Попов

* * *

А эта улица — к реке.
Шаги сердцебиенью в такт.
И ветка тополя в руке.
Ни для чего. А просто так.

Ни от чего не отстаю.
И ничего не тороплю.
А просто праздничность свою
Несу речному кораблю,

Травой заросшим островам,
Голодным птицам у моста...
У всех у нас свои права
На заповедные места.

Тревоги, света легкий сплав
Едва ли где-то повторим.
Не оттого ль несхожа явь
Здесь с отражением своим?

Так проясняет смутный день
В себе глубокая вода.
Не потому ли с площадей
Приводят улицы сюда?

Нина Тюрина

КОМУ ЖЕ?

Всем телом ощущаешь вечность,
Пока идешь от Драмы вниз.
Так — от запястий до предплечий
Протяжен ветер.

Протяни
Чуть дальше линию ладони,
Перехитри колоду карт...
Я назову себя женою.
Я кару выберу сама —
Земную, сладкую, простую,
Забыв про черный, липкий страх.
И ты возьмешь меня, слепую,
И ветер,
Ветер в волосах.

Лилия Гущина

* * *

Уходили пешие,
Уезжали конные.
Взгляды безутешные,
Женские, иконные.

Веснами зелеными,
Зимами суровыми
Расставались женами,
Вековали вдовами.

Дальняя сторонка
Зашивала травами
То кольчугу звонкую,
То шинель шершавую.

С пулями и стрелами,
Темные и русые,
Под листвою прелою,
Под землею грустною.

Разливались вешние,
Остывали сонные,
А они все прежние —
Пешие да конные.

Александр Голубев

В СТАРОМ ВОРОНЕЖЕ

Пучеглазый мужик на площади
бил жену кулаками всласть.
Пахло дегтем, храпели лошади,
тычась мордами в коновязь.

От хмельного слегка икая,
он угрюмо кипел лицом:
«Люди добрые, тварь такая...
Нонче утром пристиг с купцом».

А она, в золотинках пота,
озирала толпу в упор
и искала вокруг кого-то,
кто бы этот унял позор.

И когда паренек в поддевке,
что на рынок щеглов принес,
вдруг наотмашь заехал ловко
мужу грозному в рыхлый нос —
поднялась она и, без слова,
мимо лошади без седла —
непокорную сраму голову
к тихой улочке понесла.

Шла, побитая и босая,
мимо дворников и господ,
шла, как пьяная, спотыкаясь,
и смотрел на нее народ.

А у парня в железной клетке,
грустно крылья поджав свои,
на сухой, подневольной ветке
пел щегол о большой любви.

Виктор Будаков

НЕ В ГОСТЯХ

Он в весенних пел степях,
Сам он был, как степь, свободный,
Был что звук самой природы,
У народа — не в гостях.

Но сужался жизни круг,
И дышать все тяжелее.
И о ком, о ком жалел он:
Где любимая? Где друг?

Горло сдавливала боль,
Задышался он, как в петле,
Был обманчив мир и светел,
Словно первая любовь.

Где летает соловей?
Белый цвет спадает с вишен,

Зреют грозы, песня тише,
И внимает сердце ей.

Может, снова он в степях,
Чистый звук, поэт народный,
Словно звук самой природы,
У народа — не в гостях.

Леонид Шаповалов

* * *

Налит Дон до дна осенней синью,
И, ночами травы серебря,
Перед полуденною теплыню
Отступают козни сентября.

Может быть, покинет душу тяжесть,
Может, хлынут слезы, как река,
Может быть, серебряною пряжей
Вспыхнут в чаще сети паука.

В затиши, за сгорбленным сараем,
Бабье лето село на крыльцо.
И его земным недолгим раем
Мы согреем душу и лицо.

Может, красоты я той не стою,
Но, как знак единства и родства,
Кажется мне рыбкой золотою
По воде плывущая листва.

Александр Ромахов

* * *

Оказалось, что вовсе не лень мне
Отыскать закоулок такой,
Вспомнить — солнце легло на колени
Этой рыжей,

что рядом со мной
Примостилась в гремящем трамвае,
И куда мы, зачем — нипочем!
А в раскрытые окна из мая
Лепестки наметает и пчел.
И еще долгий день не растрочен;
Синь в глазах ее,

синь — в лапах лип...

И давно поджидает Рыбачий
И Березовой Рощи отшиб...

Александра Никулина

* * *

Кружить по городу подворотнями,
Живыми петлями в ритме осени,
Как будто что-нибудь вправду отняли,
И за углом равнодушно бросили.

Кружить мучительно, как на вертеле,
Кружить упрямо, как листьям высохшим
Крутить пародию на бессмертие
В холодном воздухе, в небе выцветшем.

Чтоб оборвался мой танец лиственный
В том самом месте, в том самом времени,
Где ты проходишь, один-единственный,
Ради которого — все кружения.

Зоя Колесникова

* * *

Я вчера бродила у акрополя,
надписи надгробные прочитывая,
ветры теребили листья тополя,
как играли облачными титрами.
Светлыми серебряными нитями
окружили всю земную сферу
песни и Кольцова, и Никитина,
где слова терпения и веры!

Анна Жидких

СПУСК К РЕКЕ

По мандельштамовской кривой,
По каменному коридору
Иди-бреди, пока живой,
Бренчи шагами Командора.

Вокруг — тоска, внизу — река,
Ты — плоть от плоти этой страсти:
Словцо, горчащее слегка,
И нота, черная отчасти.

Римма Лютая

ВОРОНЕЖСКИЕ СНЫ

Ночи зимние, глухие
обступили спящий город
и метельные, лихие
принесли с собой напевы...
Разметали белый поллог
по окраинным заборам
и остались здесь надолго,
и восцарствовали гордо.

Позабеленные выси
закачались в поднебесье,
на сиреневых перинах облаков
окоченели...

Обожженные морозом,
беззащитные березы
простирать устали мысли
к небесам,
с бессильным гневом —
под седым холодным снегом
наготу свою укрыли
и забылись,
и застыли...
И о времени забыли.

А поземка, как блудница,
рыщет в поисках ночлега
и в пустынных переулках задыхается от бега...
Полутемные глазницы
на привычных лицах зданий
затуманивает вязью белолистных очертаний...

Видно, быть теплу не скоро:
под метельные напевы
спит под снегом белый город,
спит под снегом...

Галина Умывакина

* * *

За снегом еле виден
и временем сокрыт,
поэт Иван Никитин,
задумавшись, сидит.

Как грозные вериги,
знак быта и души, —
у ног своих две книги
бок о бок положил.

Потомок благодарный,
Гляди из тьмы веков:
здесь толстый том амбарный
над книгою стихов.

Затем, что голи русской
постылого двора
неласковая муза
товаркою была,

затем, чтоб сквозь преграды
событий, судеб, лет
мы знали — это рядом:
работник и поэт.

Лев Коськов

ПЕТР I

На все века неукротим и зол,
Он указывает вдаль движеньем львиным —
Ботфорты, шпага, бронзовый камзол
И голова в помете голубином.

И молодо над ним — на все века, —
Крылатых убедительней викторий,
Как дым сражений, тают облака
И важные дубы шумят, как море.

Людмила Кузнецова

* * *

На том и стоим — русским духом питаюсь,
славянские корни в века проросли.
А там — кто их знает? — с чьей ветвью сплетаясь,
они те сплетенья до нас донесли.

А как же иначе осмыслить виденья,
идущие клинописью изнутри:
в татарском шатре у меня на коленях
наследник — дитя золоченой Орды.

А эти в ночи половецкие пляски,
летающие стрелы, степной травостой

и капли стекающей крови с повязки
у воина с сжатой в руке берестой.

Неведомый пращур, откуда ты будешь?
Не с вала ль Азовского, взята Петром?
Турецко-османские связи разрубишь,
оставив потомкам щемящий надлом,

который со старого желтого фото
то взглядом горячим, то смолюю волос
прольется в мое отдаленное сходство
с нездешней отвагой средь русских берез.

Вера Часовских

ВСЕ РАСТЕТ

Зноем дышит синяя река,
Тягостно... Но стоит оглянуться:
Там уж громоздятся облака,
Что на нивы русые прольются.
Народится много красоты,
Мир преобразится тут же, сразу,
И должны бы вырасти цветы
Для давно пустой стеклянной вазы.
В комнате от них такой уют,
Радость и любовь приходят с ними.
Как цветы, во все века растут
Дети те, что явятся святыми.
В их сердцах греховный жуткий мрак
Попран розовато-тихим светом.
Свет растет, и мне расти бы так
И не знать,
Самой не знать об этом.

Александр Нестругин

* * *

Сеют смуту в умах
Всех мастей мудрецы.
А на русских холмах
Зацвели воронцы!

Как и встарь, как всегда —
И глядят на восток...
Не стоптала орда
Богатырский цветок!

Не стоптала орда,
Не сгубила вражда.
Он глядит на меня —
И судьба, и родня!

Заревая родня
Русской крови крутой —
На дозорных холмах,
Во кольчуге густой!

Во кольчуге густой,
Опушенно-литой,
Что надежно плелась —
Как славянская вязь!

Михаил Болгов

* * *

Разрослась жизнь наша вековечная,
неохватная, высокая и стройная.
Для нее и — отложив продольную —
развожу я песню поперечную.

Развожу по умыслу и по сердцу
всяко слово обоюдоострое,
чтоб ходила песня, как по маслу,
да во стволу сыром не заедала.

И гляжу я, запрокинув голову,
вижу: гнезда птицей покидаются.
Стукну в ствол — гудит, как будто колокол,
чую: корни кулаком сжимаются.

Повалю. Уж никуда не денется —
грянет оземь, ветви выворачивая,
а я пот утру, пойду гулять и тешиться,
словно встарь — да на пиле играючи.

Алексей Ряскин

ДОРОГА

Солнце вышло,
Не надев своей светлой облачной короны.
Оно смотрит вниз,
Сидя на своем небесном престоле.
А там внизу овраг, мельница и глупые коровы,

И старая дорога от стога сена
До пшеничного поля.

Дорога знает и смысл жизни, и тайну смерти.
Она помнит все:
И о том, что уже было,
И о том, что еще только будет.
И следы, которые на ней оставляли
И ангелы, и черти,
Дорога умело смешивает со следами,
Которые на ней оставляли люди.

Дорога равнодушно отпускает
Бегущие в прошлые дни,
Ведь ей известно,
Что жизнь обречена на бесконечное кружение.
Дорога просто лежит и смотрит в небо,
Распахнувшееся над ней,
Она знает, что где-то там
Спрятано ее звездное отражение.

И если радугу можно сравнить с песней тихой,
Которая неспешно течет
Из небесных краев в края эти,
То дорогу можно сравнить с огромной книгой,
В которой можно прочесть обо всем,
Что есть на свете.

Ей кажется глупым людское желание
Уснуть и забыться,
Она смеется над человеком,
Бегущим то к веселью, то к боли.
Ведь дорога знает,
Какая бездна тайн может вдруг открыться,
Пока ты идешь по ней
От стога сена до пшеничного поля.

Учредитель: Управление культуры Воронежской области.

Рег. № 331 Министерства печати и информации Российской Федерации.

Рассылку журнала осуществляет цех экспедирования печати Воронежского главпочтамта: 394068, г.Воронеж, ул.Лизюкова, 2, ЦЭП.

Во всех случаях полиграфического брака в журнале обращаться в ГУП ВО «Воронежская областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова».

Редакция вступает в переписку только с авторами, материалы которых приняты к публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Авторы присылаемых материалов обязаны сообщить редакции: домашний адрес с почтовым индексом; день, месяц, год своего рождения; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; банковские реквизиты (название местного банка) СБ РФ: корсчет, БИК, расчетный счет, ИНН; в назначении платежа указывается номер филиала и лицевой счет клиента.

Редакция убедительно просит авторов присылать электронную версию своих произведений с обязательной распечаткой текста. Рукописи без распечатки не принимаются. Параметры набора: 14-й кегль через 1,5 интервала, отчетливо читаемый.

Корректор Кобелева Л.В.
Художник Зибров Ю.А.
Компьютерная верстка Вовчаренко И.К.

Адрес редакции: 394036, г.Воронеж, пр.Революции, 3а.
Телефоны: директор-главный редактор — 253-14-50, ответственный секретарь, отдел поэзии — 253-11-28, отдел прозы — 253-14-09, производственный отдел — 253-11-34, бухгалтерия — 253-13-77.
Факс: 253-11-34.

Электронная почта: podiem1@box.vsi.ru, podiem@mail.ru
Сетевая версия журнала «Подъём»: <http://www.podiem.vsi.ru>
Электронный архив журнала с №1, 2001 г. по №6, 2008 г.: <http://www.pereplet.ru/podiem>

Сдано в набор 16.08.11. Подписано в печать 29.08.11. Формат 70x100 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2.

Перспективный тираж 3000 экз. Заказ 1706.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ГУП ВО
«Воронежская областная типография —
издательство им. Е.А. Болховитинова»:
394071, Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а.